Лев Толстой

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

Л.Н. ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 12

8Р40247

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84Р1
Т53

Издание выходит
под общей редакцией
С. А. Макашина
и Л. Д. Опульской

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича

Т 4702010100—1503 1503—87
080(02)—87

© Издательство «Правда», 1984.
(Составление. Иллюстрации.)
© Издательство «Правда», 1987.
(Составление с изменением.)

Ленинская
Центральная
Библиотека
№ 10

URGANCH DAVLAT
INV. № 94908
KUTUBXONASI

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ВИНОКУР, ИЛИ КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ЗАСЛУЖИЛ

Комедия

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Мужик *(пашет, глядит вверх)*. Вот и полдни, пора отпрягать. Но, вылезь! Заморилась, сердечная. Вот завернусь оттуда, последнюю борозду проеду, да и обедать. Спасибо, догадался, с собою краюшку хлеба взял. Домой не поеду. Закушу у колодца, вздремну, а буланка травки покушает. Да с богом опять за работу. Рано отпашусь, бог даст.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Выбегает чертенок к кусту.

Чертенок. Ишь добрый какой! Все бога поминает. Погоди ж ты, и черта помянешь. Унесу у него краюшку. Хватится, станет искать. Жрать захочется, обругается и черта помянет. *(Берет краюшку, уносит и садится за куст, выглядывает, что будет делать мужик.)*

Мужик *(выхлестывает гужи)*. Господи, благослови! *(Выводит лошадь, пускает, идет к кафтану.)* Страсть проголодался! Краюшку большую баба отрезала, а гляди, всю съем. *(Подходит к кафтану.)* Нету! Должно, я ее кафтаном накрыл. *(Поднимает кафтан.)* И тут нет. Вот что-то! *(Трясет кафтан.)*

Чертенок *(из-за куста)*. Ищи, ищи, она вот она! *(Садится на нее.)*

Мужик *(поднимает сволока, еще трясет кафтаном).* Чудо, право, чудо! Никого не было, а нет краюшки. Кабы птицы расклевали, крошки бы были. А то и крох нет. Никого не было, а унес кто-то.

Чертенок *(поднимается, заглядывает).* Сейчас меня помянет.

Мужик. Видно, так и быть. С голоду не помру. Унес, так унес. Пускай ест на здоровье!

Чертенок *(плюется).* Ах ты, проклятый мужик! Ему бы надо ругаться, а он говорит: на здоровье! Ничего с ним не сделаешь.

Мужик укладывается спать, крестится, зевает и засыпает.

(Выходит из-за куста.) Вот и толкуй старшой! Старшой все говорит: мало ты в ад ко мне мужиков водишь. Гляди-ка, купцов, господ да попов сколько каждый день прибывает, а мужиков мало. Как его обротаешь? Не подобьешься к нему никак. Уж чего же лучше — последнюю краюшку украл. А он все не обругался. И не знаю, что теперь делать! Пойду доложусь. *(Проваливается.)*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

АД

На главном месте сидит старшой черт. Писарь чертов сидит внизу, за столом с письменными принадлежностями. Стражи стоят по сторонам. Направо — пять чертенят разных видов; налево у дверей — привратник; один франтоватый чертенок стоит прямо перед старшим.

Франтоватый чертенок. Всей добычи моей за три года 263753 человека. Все теперь у меня во власти.

Старшой. Хорошо. Благодарю. Проходи!

Франтоватый чертенок проходит направо.

(К писарю.) Устал я. Много ли там еще осталось дела? От кого и от кого получили отчет и от кого еще осталось получить?

Писарь (*считает по пальцам и указывает по мере счета на стоящих направо чертенят. Когда называет какого чертенка, то тот кланяется*). От боярского беса получен отчет. Всех забрал 1836. От купеческого получен, 9643. От поповского получен, 1517. От монашеского получен, 112. От судейского получен, 3423. От бабьего сейчас тоже получен, всех 263753. Баб 186315, девок 17438. Только два и остаются: приказный да мужицкий.

Старшой. Ну, уж, видно покончить нынче. (*Привратнику.*) Пускай!

Входит приказный чертенок, кланяется старшому.

Ну, что? твои дела как?

Приказный чертенок (*все смеется, потирает руки*). Мои дела, как сажа бела. Добыча такая, что с сотворения мира и не запомню.

Старшой. А что, али много забрал?

Приказный чертенок. Не в счете дело. Счетом хоть и немного, всего 1350 человек, да хороши ребята. Такие ребята, что заместо чертей отвечать могут. Сами лучше чертей людей смущают. Новую моду я им завел.

Старшой. Какую же такую новую моду?

Приказный чертенок. А вот какую: прежде были приказные при судьях, людей обманывали. А теперь я их научил особо от судей быть. А кто денег больше даст, за того он и хлопочет. И так хлопочут, что где и делать нечего, дела заводят. Много лучше чертей людей мутят.

Старшой. Погляжу, проходи!

Приказный чертенок проходит вправо.

(*Привратнику.*) Впусти последнего!

Входит мужицкий чертенок с краюшкой, кланяется в ноги.

Мужицкий чертенок. Не могу больше жить, приставь в другое место.

Старшой. Куда приставить, что ты городишь? Встань, говори толком. Давай отчет, много ли ты за эту неделю мужиков забрал?

Мужицкий чертенок *(плачет)*. Ни одного!

Старшой. Что? Ни одного! Как ни одного? Что же ты делал? Где же ты болтался?

Мужицкий чертенок *(хныкает)*. Не болтался я; все время из кожи вон бился, да ничего сделать не могу. Вот у одного из-под носу последнюю краюшку украл, и то не обругал, а велел съесть на здоровье.

Старшой. Что?.. Что... ты бормочешь? Высморкайся да расскажи толком, а то ничего от тебя и не разберешь.

Мужицкий чертенок. Да вот пахал мужик; и знаю я, что у него с собой одна краюшка, и больше есть нечего. Украл я у него краюшку. Надо бы ему обругаться, а он что же? Говорит: кто взял, пусть съест на здоровье. Вот я и краюшку принес. Вот она.

Старшой. Ну, а другие-то что ж?

Мужицкий чертенок. Да все такие же,— ни одного не забрал.

Старшой. Да как же ты смеешь с пустыми руками ко мне ворочаться? Да еще краюшку какую-то вонючую принес; что ты надо мной смеяться вздумал? А? Что ты в аду даром хлеб есть хочешь? Другие стараются, хлопочут. Вот ведь они *(показывает на чертенят)*, кто 10 000, кто 20 000, кто вон 200 000 доставил. Из монахов — и то 112 привел. А ты с пустыми руками пришел да еще какую-то краюшку принес. Да мне басни рассказываешь! Болтаешься ты, не работаешь. Вот они у тебя и отбились от рук. Погоди ж, брат, я тебя выучу.

Мужицкий чертенок. Не вели казнить, вели слово молвить! Тем чертям хорошо, с боярами ли, с купцами ли, с бабами ли. Там дело известное: покажи боярину шапку соболью да вотчину, прямо его и обратал и веди, куда хочешь. Тоже и купца. Покажи ему денежки да раззадорь завистью,— и веди, как на аркане, не вырвется. А с бабами дело тоже известное. Наряды да сласти — тоже делай с ней что хочешь. А вот с мужиками повозись. Как он с утра до ночи на работе, да и ночи захватит, да без бога дела не начнет, так к нему как подъедешь? Отец, уволь ты меня от мужиков, замучался я с ними. И тебя прогневил.

Старшой. Врешь, лентяй. На других указывать нечего. Оттого они и купцов, и бояр, и баб забирают,

что знают, как их обходить, новые штуки придумывают. Вот приказный совсем новое колено сделал. И ты придумай. А то краюшку украл, хвалится. Вишь, хитрость какая! Обсыпай их сетями, в какую-нибудь да попадется. А как ты болтаешься да дал им ходу,— они, твои мужики, силу забрали. Стали уже и краюшки не жалеть. Если они такую повадку возьмут да еще баб научат, так они вовсе от рук отобьются. Придумывай. Растягивайся, как знаешь.

Мужицкий чертенок. Не знаю, что и придумать. Отмени ты меня. Не могу больше.

Старшой *(с гневом)*. Не можешь! Что ж я сам, что ли, за тебя работать пойду?

Мужицкий чертенок. Не могу.

Старшой. Не можешь? Погоди ж. Эй! давайте сюда прутьев, порите его!

Стражи хватают чертенка и секут его.

Мужицкий чертенок. Ой! ой! ой!

Старшой. Придумал?

Мужицкий чертенок. Ой, ой! не могу придумать.

Старшой. Порите еще.

Секут.

Придумал?

Мужицкий чертенок. Придумал, придумал!

Старшой. Ну, рассказывай, что придумал?

Мужицкий чертенок. Придумал такую штуку, что всех в свои руки заберу. Позволь только мне в работники к мужику наняться, а рассказать мне наперед дела нельзя.

Старшой. Ну, ладно, только помни, что, если ты в три года краюшку не заслужишь, я в святой воде выкупаю тебя.

Мужицкий чертенок. Через три года все мои будут.

Старшой. Ну, хорошо. Через три года сам приду посмотреть.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Амбар. Стоят воза с хлебом.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Работник-черт.

Работник насыпает с воза, мужик носит мерками.

Работник. Седьмая.

Мужик. Сколько четвертей?

Работник *(смотрит на двери метки)*. Верно двадцать шесть четвертей да на двадцать седьмую седьмая мерка.

Мужик. Не войдет вся, уж полно.

Работник. Разгреби хорошенько.

Мужик. И то. *(Уносит мерку.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

Работник *(один, снимает шапку, рога выставляются)*. Теперь не скоро выйдет. Немножко рога расправить. *(Рога расправляются.)* Да разуться, а то при нем нельзя. *(Вынимает ноги из сапог, видны копыта. Садится на порог.)* Вот уж третий год идет. Приходит дело к расчету. Хлеба девать некуда. Только и осталось, что последнюю штуку научить. А тогда приходи сам старшой смотреть. Будет что показать. Заплатит он мне за краюшку.

Подходит сосед.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Работник прячет рога.

Сосед. Здорово!

Работник. Здорово!

Сосед. Где хозяин?

Работник. Да пошел разгрести в закроме, не входит вся.

Сосед. Эка благодать у хозяина твоего. И сыпать некуда. Мы и то дивимся все, какой у твоего хозяина второй год хлеб родится. Как будто ему кто сказывает. То, летось, сухой год — в болоте посеял; у людей не родилось, а вы полно гумно наставили. Нынче мочливое

лето — догадался же он на горах посеять. У людей попрел, а у вас обломный хлеб. И зерно-то, зерно! *(Трясет на руке и берет на зуб.)*

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Мужик *(выходит с пустой меркой)*. Здорово, кум.

Сосед. Здорово. Да вот толкую с работником твоим, как угадали вы, где посеять. Весь народ тебе завидует. Хлеба-то, хлеба что набрал. В десять лет не съешь.

Мужик. Вот спасибо Потапу. *(Показывает на работника.)* Его счастье. Послал я его летом пахать, а он возьми да в болоте вспаши. Я его ругал. Да уговорил он меня посеять. Посеяли — и вышло к лучшему. А вот и нынче опять угадал, на горах посеял.

Сосед. Да точно знает, какой год будет. Да, набрал же ты хлебца.

Молчание.

А я вот пришел к тебе осьминку ржицы попросить. Дошел весь, на лето отдам.

Мужик. Что ж, возьми.

Работник *(толкает мужика)*. Не давай.

Мужик. Будет толковать-то, бери.

Сосед. Спасибо, сбегаю за мешком.

Работник *(в сторону)*. Все не бросает старую повадку — дает. Не во всем меня слушает. Ну, дай срок,— перестанет скоро давать.

Уходит сосед.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Мужик *(присаживается на порог)*. Отчего же доброму человеку не дать?

Работник. Дать-то — дашь, да назад не возьмешь. Долги давать — под гору кидать, а собирать — на гору вытягивать. Так-то старики говорят.

Мужик. Не замай. Хлеба много.

Работник. Так что ж, что много?

Мужик. Не то что до новины, а и на два года хватит. Куда же его?

Работник. Как куда? Да из хлеба из этого я тебе такое добро сделаю, что ты и целую жизнь радоваться будешь.

Мужик. Что ж ты сделаешь?

Работник. Да питье сделаю. Такое питье, что если сил нет, силы прибавится; если есть хочется, сыт сделаешься. Если сон не берет, заснешь сейчас; если скучно, весело станет. Если заробел, смелости даст. Вот какое питье сделаю!

Мужик. Врешь!

Работник. Вот то-то врешь! Так же не верил, как я тебе велел хлеб сначала в болоте, а потом на горах сеять. Теперь узнал. Так же и про питье узнаешь.

Мужик. Да из чего же его делать будешь?

Работник. Да вот из самого из хлеба этого.

Мужик. А не грех это будет?

Работник. Вона! Какой же тут грех? Все на радость человеку дано.

Мужик. И где ты, Потап, такого ума большого набрался? Смотрю я на тебя, человек ты не мудреньский, работящий. Вот два года живешь, ты и не разувался, никак, ни разу. А все-то ты знаешь. Как ты до всего дошел?

Работник. Да бывал повсюду.

Мужик. Так и силы от него, от питья-то, прибудет?

Работник. Вот увидишь,— все от него хорошее.

Мужик. Так как же делать-то будем?

Работник. Делать его не хитро, когда знаешь. Только надо котел достать да чугунов два.

Мужик. А на вкус-то она приятная?

Работник. Сладкая, как мед. Отведаешь разок, ты с ней век не расстанешься.

Мужик. Ой ли? Пойду к куму, у него котел был. Надо попытать.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Театр представляет сарай, в середине стоит замазанный котел на огне с чугуном и краном. Мужик и работник.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Работник (*держит стакан под краном, пьет вино*). Ну, хозяин, готово.

Мужик (*сидит на корточках, глядит*). Вот штука-

то! Из теста вода пошла. Что ж это ты воду прежде спускаешь?

Работник. Это не вода, это она самая и есть.

Мужик. Что же светлая? Я думал, она будет красная, как пиво. А это ровно вода.

Работник. Да ты понюхай дух-то.

Мужик *(нюхает)*. Ух, духовитая! Ну-ка, ну-ка, как она во рту-то будет, дай отведать. *(Рвет из рук.)*

Работник. Погоди, прольешь. *(Завертывает кран, сам пьет, пощелкивает языком.)* Поспела! На, пей.

Мужик *(пьет сначала чуть-чуть, еще, еще и выпивает всю. Подает стакан)*. Ну-ка еще. С малости вкуса не разберешь.

Работник *(смеется)*. Аль полюбилось? *(Наливает еще.)*

Мужик *(пьет)*. Ну, штука! Надо бабу позвать. Эй, Марья, иди. Готова! Иди, иди, что ль!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Баба и девочка и прежние.

Баба. Ну, чего? Что орешь?

Мужик. Да ты вот отведай, чего мы накурили. *(Подает.)* Понюхай, чем пахнет.

Баба *(нюхает)*. Вишь ты!

Мужик. Пей!

Баба. Как бы чего от нее не было?

Мужик. Пей, дура!

Баба *(пьет)*. И то хороша!

Мужик *(захмелел немного)*. То-то хороша. Да ты погоди, что будет. Потап сказывал, что от нее вся усталь из тела выходит. Молодые старыми сделаются... то, бишь, старые молодыми сделаются. Вот я всего два стаканчика выпил, и то все кости расправились. *(Куражится.)* Видишь? Погоди, мы с тобой, как каждый день ее пить станем, опять молодые будем. Ну, Машенька! *(Обнимает ее.)*

Баба. Ну тебя! Ты и то одурел от нее.

Мужик. А, то-то! Говорила, что мы с Потапом хлеб губим, а мы какую штуку спроворили. А? Говори, хороша?

Баба. Да как же не хороша, коли старых на молодых переделывает. Вишь, ты какой веселый стал! И мне весело стало. Подтягивай! И... и... и... *(Поет.)*

Мужик. То-то. Все молодые, все веселые будем.

Баба. Надо свекровь звать, а то она все ругается да скучает. И ее переделать. Она помолодеет, добрее будет.

Мужик *(пьяный)*. Зови мать, зови сюда. Эй ты, Машка! Беги, бабку зови да и деду вели идти. Скажи, я велю, чтобы слезал с печи. Что он валяется! Молодым сделаем. Ну, живо! Чтобы одна нога здесь, другая там. Стреляй!

Девчонка бежит.

(Бабе.) Ну-ка еще по стаканчику!

Работник наливает и подносит.

Мужик *(выпивает)*. То сверху помолодила, в языке, потом в руки прошла. Теперь до ног дошла. Чую, ноги помолодели. Вишь, сами пошли. *(Начинает выплясывать.)*

Баба *(выпивает)*. Ну-ка ты, мастер, Потапушка, заиграй!

Потап берет балалайку, играет. Мужик и баба пляшут.

Работник *(играет на авансцене и смеется, подмигивает на них. Перестает играть, они всё пляшут)*. Заплатишь мне за краюшку; готовы молодцы — не отвертятся. Пускай посмотрит.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Входит свежая старуха и старый, белый старик и прежние.

Старик. Что вы, очумели, что ли? Люди работают, а они плясать.

Баба *(пляшет и бьет в ладоши)*. Их, их, их! *(Припевает.)* Согрешила перед богом. Один бог без грехов!

Старуха. Ах ты, паскудница! Печь не убрана, а она плясать!

Мужик. Ты, матушка, погоди. Что у нас тут сделалось! Старых на молодых переделываем. Вот, на! Выпей только! *(Подает.)*

Старуха. Воды-то и в колодце много. (*Нюхает*). Чего же ты туда напустил? Вишь, дух-то какой!

Мужик и баба. Да ты выпей!

Старуха (*пробует*). Ишь ты! А не помрешь от нее?

Баба. Вовсе оживешь. Совсем молодая станешь.

Старуха. Ну! (*Пьет.*) А хороша! Лучше пива. Ну-ка, батюшка, покушай и ты.

Дед садится и качает головой.

Работник. Оставьте его. А вот бабушке еще стаканчик надо. (*Подносит бабушке.*)

Старуха. Как бы чего не сделалось? Ой, жжет она! А тянет.

Баба. Выпей. Почуешь, как она по жилам пойдет.

Старуха. Ну уж, видно, попытать. (*Выпивает.*)

Баба. Что, дошла до ног-то?

Старуха. И то доходит. Вот она, тута! И то легкость от нее. Ну-ка еще! (*Выпивает еще.*) Важно! И то совсем молодая стала.

Мужик. Я тебе и говорил.

Старуха. Эх, старика моего нет! Поглядел бы он еще разок, какая я молодая была.

Работник играет. Мужик и баба пляшут.

(*Выходит в середку.*) Разве так пляшут? Я вот покажу. (*Пляшет.*) Вот как. Еще этак да вот так. Видали?

Дед подходит к котлу и выпускает наземь вино.

Мужик (*замечает это и бросается к деду*). Что ж ты это, злодей, наделал? Добро такое упустил! Ах ты, старый хрен! (*Толкает его и подставляет стакан.*) Все упустил.

Дед. Зло это, не добро. Хлеб тебе бог зародил себя и людей кормить, а ты его на дьявольское питье перегнал. Не будет от этого добра. Брось ты эти дела. А то пропадешь и людей погубишь! Это, думаешь, питье? Это — огонь, сожжет он тебя. (*Берет лучину из-под котла, зажигает.*)

Разлитое вино горит. Все стоят в ужасе.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Изба мужика. Один работник с рогами и копытами.

Работник. Хлеба много, девать некуда, а вкус-то уж он в нем разобрал. Теперь опять накурили и в бочку слили и от людей спрятали. Даром поить людей не будем. А кого нам нужно, того попоим. Нынче вот я научил его стариков-мироедов позвать, попоить их, чтобы они его от деда отделили, ничего бы деду не дали. Нынче и срок мой вышел, три года прошло, и дело мое готово. Пускай сам старшой приходит смотреть. Не стыдно и ему показать.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Из-под земли выходит старшой.

Старшой. Ну, нынче срок! Заслужил ли краюшку? Я тебе обещал прийти сам посмотреть. Обротал мужика?

Работник. Обротал совсем. Сам посуди. Сейчас вот сюда соберутся. Садись в печку, смотри, что они делать будут. Останешься доволен.

Старшой *(лезет в печку)*. Посмотрим.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Входит хозяин и четыре старика; сзади баба. Садятся за стол.

Баба накрывает и ставит студень и пироги. Старики здороваются с работником.

1-й старик. Что ж, много еще питья наделал?

Работник. Да накурили сколько нужно. Что ж добру даром пропадать?

2-й старик. И хороша удалась?

Работник. Еще лучше той.

2-й старик. И где ты научился?

Работник. По свету ходишь — всему научишься.

3-й старик. Так, так — дошлый.

Мужик. Кушайте!

Баба подносит.

Баба *(приносит графин, наливает)*. Просим милости!

1-й старик *(пьет)*. Будьте здоровы. Ах, хорошо! по суставам пошло! Ну, питье!

То же делают три старика друг за другом. Старшой вылезает из устья печи, работник становится с ним рядом.

Работник *(старшому)*. Смотри теперь, что будет. Я бабе ногу подставлю, она прольет стакан. То он краюшки не пожалел,— посмотри теперь, что за стаканчик вина будет.

Мужик. Ну, баба, наливай еще, подноси чередом: куму, а потом дяде Михайле.

Баба *(наливает и идет вокруг стола, работник подставляет ей ногу, она спотыкается и проливает стакан)*. Ай, батюшки, пролила! И тебя же тут нелегкая принесла!

Мужик *(на бабу)*. Экая косолапая чертовка! Сама как безрукая, а на людей говоришь. Ишь, добро какое на пол льешь!

Баба. Да ведь ненароком.

Мужик. То-то ненароком. Вот дай встану, я те научу, как вино наземь лить. *(На работника.)* Да и ты, проклятый, около стола чего вертишься? Иди ты к черту!

Баба вновь наливает и подносит вино.

Работник *(подходит к печи и говорит старшому)*. Видишь: то последнюю краюшку не пожалел, а теперь за стаканчик чуть жену не прибил и меня к тебе, к черту, послал.

Старшой. Хорошо, очень хорошо. Хвалю!

Работник. Погоди еще. Дай они всю бутыль выпьют — посмотри, то ли еще будет. И теперь гладкие слова, масленые, говорят, а вот сейчас так начнут друг к дружке подольщаться, что все, как лисицы, хитрые сделаются.

Мужик. Так как же, старички, как же вы мое дело рассудите? Жил у меня дед, кормил я его, кормил, а он теперь сошел к дяде и хочет свою часть дома взять — дяде отдать. Рассудите, как лучше. Вы люди умные. Без вас мы как без головы. Уж против вас во всей деревне нет людей. Вот хоть бы Иван Федотыч, ведь и люди говорят, что первый человек. А я тебе, Иван Федотыч, правду говорю: больше отца-матери люблю. А Михайла Степаныч — старинный друг.

82-40247

KUTUBXO

Хамзинская Центральная Библиотека ф № 10

1-й старик *(к хозяину)*. С хорошим человеком и говорить хорошо,— ума наберешься. Так-то с тобой. Ведь против тебя не найдешь человека.

2-й старик. Потому умный и ласковый; за то и люблю.

3-й старик. Уж как я тебя жалею, что и слов нет. Я нынче бабе говорю.

4-й старик. Дружок, истинно дружок.

Работник *(толкает старшого)*. Видишь! Всё врут. Как врозь, так друг дружку ругают. А теперь, видишь, как подмасливают, как лисицы хвостами виляют. А всё от питья.

Старшой. Хорошо питье! Очень хорошо. Коли они так врать будут, все наши будут. Хорошо, хвалю.

Работник. Погоди, дай другую бутыль выпьют, то ли еще будет.

Баба *(подносит)*. Кушайте на здоровье.

1-й старик. Не много ли будет? Будьте здоровы! *(Пьет.)* С хорошим человеком и выпить лестно.

2-й старик. Нельзя не выпить. Будьте здоровы, хозяин с хозяюшкой!

3-й старик. Дружки! здравствуйте!

4-й старик. Вот так брага! Гуляй! Всё сделаем. Потому во всем моя воля.

1-й старик. Твоя-то — не твоя, а как постарше тебя скажут.

4-й старик. Старше, да глупее. Поди ты корове под хвост.

2-й старик. Чего ругаешься? Эх ты, дура!

3-й старик. Он верно говорит. Потому хозяин нас угощает неспроста. Ему дело нужно. Дело можно рассудить. Только ты угости. Почет сделай. Потому я тебе нужен, а не ты мне. Ты кто? Ты свинье брат.

Мужик. Сам съешь. Что горло-то дерешь? Не видали, что ли? Жрать-то вы все здоровы.

1-й старик. Ты что гордыбачишь? Вот я те носто поправлю на сторону.

Мужик. Кто кого?

2-й старик. Эка невидаль! Ну те к черту! Не хочу с тобой говорить, уйду.

Мужик *(держит)*. Да ты что компанию расстраиваешь?

2-й старик. Пусти! Свисну!

Мужик. Не пущу! Какую ты имеешь праву?

2-й старик. А вот какую! *(Бьет.)*
Мужик *(старикам)*. Заступитесь!

Свалка. Мужик и старики все вместе вдруг говорят.

1-й старик. Потому, значит, гу... ляем!
2-й старик. Все я могу!
3-й старик. Давай еще!
Мужик *(кричит бабе)*. Давай еще бутыль!

Все садятся опять за стол и пьют.

Работник *(старшому)*. Теперь видел? Заговорила в них волчья кровь. Как волки, все злы сделались.
Старшой. Хорошо питье! Хвалю.
Работник. Погоди. Дай еще третью бутыль выпьют, то ли еще будет.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

Сцена представляет улицу. Справа старики сидят на бревнах, между ними дед. В середине водят хороводы бабы, девки и парни. Играют плясовую и пляшут. Из избы слышатся шум, пьяные крики; выходит старик и кричит пьяным голосом; за ним хозяин, уводит его назад.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Дед. Ах, грехи, грехи! Чего еще нужно? Будни работай, пришел праздник — помойся, сбрую оправь, отдохни, с семейными посиди, поди на улицу к старикам, общественное дело посуди. А молод — что ж, и поиграй! Вон хорошо играют, смотреть весело. Честно, хорошо.

Крик в избе.

А то это что? Только людей смущают да чертей радуют. А всё от жиру!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Из избы вываливаются пьяные, идут к хороводам, кричат, хватают девок.

Девки. Брось, дядя Карп, что ты!
Парни. Уйти надо на проулок. А то какая же тут игра!

Уходят все, кроме пьяных и деда.

Мужик *(идет к деду, показывает шиш)*. Что, взял? Всё мне старики обещали присудить. Тебе вот что! На, выкуси. Всё мне отдали, тебе ничего. Вот они скажут.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й старики в один голос.

1-й старик. Потому я всю правду могу рассудить.

2-й старик. Я всякого переспорю, потому я сам с усам!

3-й старик. Друг! дружок, дружочек!

4-й старик. Ходи изба, ходи печь, хозяюшке негде лечь! Гуляем!

Ухватываются старики по двое и, шатаясь, идут и уходят — одна пара, потом другая. Хозяин идет к дому, не доходит, спотыкается, падает и бормочет что-то непонятное, подобно хрюканью. Дед с мужиками поднимается и уходит.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Выходит старшой с работником.

Работник. Видел? Теперь заговорила свиная кровь. Из волков свиньями поделались. *(Показывает на хозяина.)* Лежит, как боров в грязи, хрюкает.

Старшой. Заслужил! Сначала как лисицы, потом как волки, а теперь как свиньи сделались. Ну, уж питье! Скажи ж, как ты такое питье сделал? Должно, ты туда лисьей, волчьей и свиной крови пустил.

Работник. Нет, я только хлеба лишнего зародил. Как было у него хлеба с нужду, так ему и краюшки не жаль было; а как стало девать некуда, и поднялась в нем лисья, волчья и свиная кровь. Звериная кровь всегда в нем была, только ходу ей не было.

Старшой. Ну, молодец! Заслужил краюшку. Теперь только бы вино пили, а они у нас в руках всегда будут!

Занавес

ВЛАСТЬ ТЬМЫ,
ИЛИ
«КОГОТОК УВЯЗ, ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ»

Драма в пяти действиях

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

Мф. V. 28. 29

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЛИЦА ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

Петр — мужик богатый, 42-х лет, женат 2-м браком, болезненный.
Анисья — его жена, 32-х лет, щеголиха.
Акулина — дочь Петра от первого брака, 16-ти лет, крепка на ухо, дурковатая.
Анютка — вторая дочь, 10-ти лет.
Никита — их работник, 25-ти лет, щеголь.
Аким — отец Никиты, 50-ти лет, мужик невзрачный, богобоязненный.
Матрена — его жена, 50-ти лет.
Марина — девка-сирота, 22-х лет.

Действие происходит осенью в большом селе. Сцена представляет просторную избу. Петр сидит на лавке, чинит хомут.

Анисья и Акулина прядут.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Петр, Анисья и Акулина. Последние поют в два голоса.

Петр *(выглядывает из окна).* Опять лошади, ушли. Того и гляди, жеребенка убьют. Микита, а Микита! Оглох! *(Прислушивается. На баб:)* Будет вам, не слыхать ничего.

Голос Никиты *(с надворья)*. Чего?

Петр. Лошадей загони.

Голос Никиты. Загоню, дай срок.

Петр *(качая головой)*. Уж эти работники! Был бы здоров, ни в жисть бы не стал держать. Один грех с ними... *(Встает и опять садится.)* Микит!.. Не докличешься. Подите, что ль, кто из вас. Акуль, поди загони.

Акулина. Лошадей-то?

Петр. А то чего ж?

Акулина. Сейчас. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Петр и Анисья.

Петр. Да и лодырь малый, нехозяйственный. Коли повернется, коли что.

Анисья. Сам-то ты больно шустер, с печи да на лавку. Только с людей взыскивать.

Петр. С вас не взыскивать, так в год дома не найдешь. Эх, народ!

Анисья. Десять делов в руки сунешь, да и ругаешься. На печи лежа приказывать лёгко.

Петр *(вздыхая)*. Эх, кабы не хворь эта привязалась, и дня бы не стал держать.

За сценой голос Акулины: «Псе, псе, псе...» Слышно, жеребенок ржет, и лошади вбегают в ворота. Ворота скрипят.

Бахарить — вот это его дело. Право, не стал бы держать.

Анисья *(передразнивая)*. Не стану держать. Ты бы сам поворочал, тогда бы говорил.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Акулина.

Акулина *(входит)*. Насилу загнала. Всё чалый...

Петр. Микита-то где ж?

Акулина. Микита-то? На улице стоит.

Петр. Чего ж он стоит?

Акулина. Чего стоит-то? Стоит за углом, калякает.

Петр. Не добьешься от нее толков. Да с кем калякает-то?

Акулина *(не расслышав)*. Чего?

Петр махает на Акулину рукой; она садится за пряжу.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка *(вбегает. К матери)*. К Микитке отец с матерью пришли. Домой берут жить, однова дыхнуть.

Анисья. Врешь?

Анютка. Пра! сейчас умереть! *(Смеется.)* Я мимо иду, Микита и говорит: прощай, говорит, теперь, Анна Петровна. Приходи ужо ко мне на свадьбу гулять. Я, говорит, ухожу от вас. Смеется сам.

Анисья *(к мужу)*. Не больно тобою нуждаются. Вон он и сам сходить собрался... «Сгоню!», говорит...

Петр. И пущай идет; разве других не найду?

Анисья. А деньги-то зададены?..

Анютка подходит к двери, слушает, что говорят, и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Анисья, Петр и Акулина.

Петр *(хмурится)*. Деньги, коли что, летом отслужит.

Анисья. Да ты рад отпустить,— тебе с хлеба долой. Да зиму-то я одна и ворочай, как мерин какой. Девка-то не больно охоча работать, а ты на печи лежать будешь. Знаю я тебя.

Петр. Да что, ничего не слыхамши, попусту язык трепать.

Анисья. Полон двор скотины. Не продал корову-то и овец всех на зиму пустил, корму и воды не наготовишься,— а работника отпустить хочешь. Да не стану я мужицкую работу работать! Лягу, вот как ты же, на печь — пропадай все; как хочешь, так и делай.

Петр *(к Акулине)*. Иди за кормом-то, что ли,— пора.

Акулина. За кормом? Ну, что ж. *(Надевает кафтан и берет веревку.)*

Анисья. Не буду я тебе работать. Буде уж, не стану. Работай сам.

Петр. Да буде. Чего взбеленилась? Ровно овца круговая.

Анисья. Сам ты кобель бешеный! Ни работы от тебя, ни радости. Только поедом ешь. Кобель потрясучий, право.

Петр *(плюет и одевается)*. Тьфу ты! Прости, господи! Пойти узнать толком. *(Выходит)*.

Анисья *(вдогонку)*. Гнилой черт, носастый!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анисья и Акулина.

Акулина. Ты за что батю ругаешь?

Анисья. Ну, тебя, дура. Молчи.

Акулина *(подходит к двери)*. Знаю, чего ругаешь. Сама дура, пес ты. Не боюсь я тебя.

Анисья. Ты чего? *(Вскакивает и ищет, чем бы ударить.)* Мотри, я тебя рогачом.

Акулина *(отворив дверь)*. Пес ты, дьявол, вот ты кто! Дьявол, пес, пес, дьявол! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Анисья одна.

Анисья *(задумывается)*. На свадьбу, говорит, приходи. Это что ж они вздумали? женить? Мотри, Микитка: коли это твои умыслы, я то сделаю... Нельзя мне без него жить. Не пущу я его.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анисья и Никита.

Никита *(входит, оглядываясь. Видя, что Анисья одна, быстро подходит к ней. Шепотом)*. Что, братец ты мой, беда. Приехал родитель, снимать хочет,— домой идти велит. Окончательно, говорит, женим тебя, и живи дома.

Анисья. Что же, женись. Мне-то что?

Никита. Вот так — так. Я рассчитываю, как получше дело обсудить, а она вон как: жениться велит. Что ж так? *(Подмигивает.)* Аль забыла?..

Анисья. И женись, очень нужно...

Никита. Да ты что фыркаешь-то? Вишь ты, и погладиться не дается... Да ты чего?

Анисья. А того, что бросить хочешь... А хочешь бросить, так и я не нуждаюсь. Вот тебе и сказ!

Никита. Да буде, Анисья. Разве я тебя забыть хочу? Ни в жисть. Окончательно тебя, значит, не брошу. А я так рассчитываю: что и женят, так к тебе же назад приду; только бы домой не брал.

Анисья. Очень ты мне нужен женатый-то.

Никита. Да как же, братец ты мой,— из отцовской воли опять-таки невозможно никак.

Анисья. На отца сворачиваешь, а умыслы — твои всё. Давно ты подлаживаешь с мазихой своей, с Маринкой. Она тебе это намазала. Недаром намедни прибегала.

Никита. Маринка?! Очень она мне нужна!.. Мало их вешаются-то!..

Анисья. Зачем же отец приехал? Ты велел! Обманывал ты!.. *(Плачет.)*

Никита. Анисья! веришь ты богу аль нет? Ничего-то я и во сне не видал. Окончательно знать не знаю, ведать не ведаю. Всё мой старик с своей головы уздумал.

Анисья. Сам не захочешь, так кто ж тебя, оселом, что ль, притянет?

Никита. Тоже, рассчитываю, невозможно супротив родителя будет исделать. А неохота мне.

Анисья. Упрись, да и всё.

Никита. Уперся один такой-то, так его в волостной так вспрыснули. Очень просто. Тоже не хочется. Сказывают — щекотно.

Анисья. Буде шутить-то. Ты слушай, Микита: коли ты за себя Марину возьмешь, я не знаю, что над собой сделаю... Жизни решусь! Согрешила я, закон рушила, да уж не ворочаться стать. Коли да ты только уйдешь, я то сделаю...

Никита. Мне что же уходить? Кабы я уйти хотел, я бы давно ушел. Меня как намедни Иван Семеныч приглашал в кучера... А уж жизнь какая! Не пошел же. Потому я так рассчитываю, что я всякому хорош. Если бы ты меня не любила, то другой расчет.

Анисья. То-то и помни. Старик не нынче-завтра помрет, думаю,— все грехи прикроем. Закон приму, думала, будешь хозяином.

Никита. И, что загадывать. Мне что? Я работаю, как для себя стараюсь. Меня и хозяин любит, и баба его, значит, любит. А что меня бабы любят, так я в этом не причинен,— очень просто.

Анисья. Будешь меня любить?

Никита *(обнимает ее)*. Во как! Как была ты у меня в душе...

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Матрена (входит и долго крестится на образа; Никита и Анисья отстраняются друг от друга).

Матрена. А я что и видела, не видала, что и слышала, не слыхала. С бабочкой поиграл,— что ж? И теленок, ведашь, и тот играет. Отчего не поиграть? — дело молодое. А тебя, сынок, хозяин на дворе спрашивает.

Никита. Я за топором зашел.

Матрена. Знаю, знаю, родной, за каким топором. Этот топор все больше около баб.

Никита (*нагибается, берет топор*). Что ж, матушка, аль и вправду женить меня? Я рассчитываю, что совсем напрасно. Опять-таки и мне бы неохота.

Матрена. И-и! Касатик, зачем женить? Живешь да живешь. Это старик все. Поди, родной, мы и без тебя все дела рассудим.

Никита. Чудно, право: то женить, а то не надо. Окончательно не разберу ничего. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Анисья и Матрена.

Анисья. Что ж, тетка Матрена, аль и вправду женить хотите?

Матрена. С чем женить-то, ягодка! Наш, ведашь, какой достаток? Так себе старичок мой зря болтает: женить да женить. Да не его ума дело. От овса, ведашь, кони не рыщут, от добра добра не ищут,— так и это дело. Разве я не вижу (*подмигивает*), к чему дело клонит.

Анисья. Что же мне, тетка Матрена, от тебя хорониться. Ты все дела знаешь. Согрешила я, полюбила сына твоего.

Матрена. Ну, новости сказала. А тетка Матрена и не знала. Эх, деушка, тетка Матрена терта, терта да перетерта. Тетка Матрена, я тебе скажу, ягодка, под землей-то на аршин видит. Все знаю, ягодка! Знаю, зачем молодым бабам сонных порошков надоть. Принесла. (*Развязывает узелок платка, достает в бумаге порошки.*) Чего надо, то вижу, а чего не надо, того знать не знаю, ведать не ведаю. Так-то. Тоже и тетка Матрена молодая была. Тоже с своим дураком, ведашь, умеючи прожить надо. Все семьдесят семь уверток знаю. Вижу, ягодка, зачиврел, зачиврел твой-то старик. С чем тут жить? Его вилами ткни, кровь не пойдет. Глядишь, на

весну похоронишь. Принять во двор кого-нибудь да надо. А сынок чем не мужик? Не хуже людей. Так что же мне за корысть сына-то с доброго дела снять? Разве я своему детищу враг?

Анисья. Только б не сходил он от нас.

Матрена. И не сойдет, ласточка. Все глупость одна. Старика моего ведашь. Ум у него вовсе расхожий, а тоже другой раз заберет что в башку, как колом подопрет, никак не выбьешь.

Анисья. Да с чего взялось-то дело это?

Матрена. А видишь ли, ягодка,— малый, сама знаешь, до баб какой, да и красик, нечего сказать. Ну жил он, ведашь, на чугунке, а там у них девчонка-сирота — в куфарках жила. Ну и стала вязаться за ним девчонка эта.

Анисья. Маринка?

Матрена. Она, паралик ее расшиби. Ну и было ли что, нет ли, только и дознайся мой старик. От людей ли, или сама она ему наклявузничала!..

Анисья. Смелая же какая, подлюга!

Матрена. Вот и поднялся мой-то, дурья голова: женить, говорит, да женить, грех покрыть. Возьмем, говорит, малого домой да женим. Разговаривала всячески. Куды тебе! Ну, думаю, ладно. Дай по-иному поверну. Их, дураков, ягодка, все так-то манить надо. Всё в согласье как будто. А до чего дело дойдет, сейчас на свое и повернешь. Баба, ведашь, с печи летит, семьдесят семь дум передумает, так где ж ему догадаться. Что ж, говорю, старичок, дело хорошее. Только подумать надо. Пойдем, говорю, к сынку да посоветуем с Петром Игнатьичем. Что он скажет? Вот и пришли.

Анисья. О-ох, тетушка, как же так? Ну, как отец-то велит?

Матрена. Велит? А веленье-то его псу под хвост. Уж ты не сумлевайся, не бывать этому делу, я сейчас с твоим стариком все дела просею, процежу, ничего не останется. Я и пошла с ним — один пример сделать. Как же сынок в счастье живет, счастья ждет, а я за него потаскуху сватать стану. Что ж, я дура, что ль.

Анисья. Она и сюда к нему бегала, Маринка-то. Веришь ли, тетушка, как сказали мне, что женить его, как ножом по сердцу полоснуло меня. Думаю, в сердце она у него.

Матрена. И, ягодка! Что ж, он дурак, что ли? Ста-

нет он шлюху бездомовную любить. Микишка, ведашь, малый тоже умный. Он знает, кого любить. А ты, ягодка, не сумлевайся. Не снимем его ни в жизнь. И женить не станем. А деньжонок ублаготворите, и пусть живет.

Анисья. Кажется, уйди Микита, не стану на свете жить.

Матрена. Дело молодое. Легко ли! Баба ты в соку, с таким осметком жить...

Анисья. Веришь ли, тетушка, постыл, уж постыл мне мой-то кобель носастый, и не смотрели бы на него глаза.

Матрена. Да, уж это дело такое. Глянь-ка сюда. (*Шепотом, оглядываясь.*) Была я, ведашь, у старичка этого за порошками,— он мне на две руки дал снадобья. Глянь-ка сюда. Это, говорит, сонный порошок. Дай, говорит, один — сон такой возьмет, что хоть ходи по нем. А это, говорит, такое снадобье, если, говорит, давать пить — никакого духа нет, а сила большая. На семь, говорит, разов, по щепоти на раз. До семи разов давай. И слобода, говорит, ей скоро откроется.

Анисья. О-о-о... Что ж это?

Матрена. Приметки, говорит, никакой. Рублевку взял. Меньше нельзя, говорит. Потому, ведашь, добывать их тоже хитро. Я свою, ягодка, отдала. Думаю, возьмет, не возьмет, Михайловне снесу.

Анисья. О-о! Да може что худое от них?

Матрена. Чему худому-то быть, ягодка? Добро бы мужик твой твердый, а то что ж, только славу делает, что живет. Не жилец ведь он. Много таких-то бывает.

Анисья. О, ох, головушка моя бедная! Боюсь я, тетенька, как бы греха не было. Нет, это что ж?

Матрена. Можно и назад снесть.

Анисья. Что ж их, как и те, в воде распущать?

Матрена. В чаю, говорит, лучше. Ничего, говорит, неприметно, ни духу от них нет, ничего. Тоже человек умный.

Анисья (*берет порошки*). О, о, головушка моя бедная. Пошла бы разве на такие дела, кабы не жисть каторжная.

Матрена. А рублевку-то не забудь, я пообещалась старичку занесть. Тоже хлопочет.

Анисья. Уж известно. (*Идет к сундуку и прячет порошки.*)

Матрена. А ты, ягодка, потеснее держи, чтоб люди не знали. А коли что, помилуй бог, коснется, от тараканов мол... (*Берет рубль*). Тоже от тараканов идет... (*Обрывает речь.*)

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, Петр и Аким. Аким входит, крестится на образа.

Петр (*входит и садится*). Так как же, дядя Аким?

Аким. Получше, Игнатьич, как бы получше, тае, получше... Потому как бы не того. Баловство, значит. Хотелось бы, тае... к делу, значит, хотелось малого-то. А коли ты, значит, тае, можно и того. Получше как...

Петр. Ладно, ладно. Садись, потолкуем.

Аким садится.

Что ж так? Аль женить хочешь?

Матрена. Женить-то и повременить можно, Петр Игнатьич. Нужда наша, сам знаешь, Игнатьич. Где тут женить. Сами живота не надыним. Где ж женить!..

Петр. Судите, как лучше.

Матрена. Женить тоже спешить некуда. Это такое дело. Не малина, не опанет.

Петр. Что ж, коли женить — дело хорошее.

Аким. Хотелось бы, значит, тае... Потому мне, значит, тае... работишка в городу, работишка выпала, сходная, значит...

Матрена. Ну уж работа! Ямы чистить. Приехал намедни, так блевала, блевала, тьфу!

Аким. Это точно, сперначала она ровно и тае, шибает, значит, дух-то, а обыкнешь — ничего, все одно, что барда, и значит, тае, сходно... А что дух, значит, тае... это нашему брату обижаться нельзя. Одежонку сменить тоже можно. Хотелось, значит, Микитку дома. Пущай оправдает, значит. Он пущай дома оправдает. А уж, я, тае, в городу добуду.

Петр. Хочешь сына дома оставить, оно точно. Да забраты деньги-то как?

Аким. Это верно, верно, Игнатьич, сказал это, значит, тае, правильно, потому нанялся, продался — это пусть доживат, значит, а вот только, тае, женить; на время, значит, отпусти коли что.

Петр. Что ж, это можно.

Матрена. Да дело-то у нас несогласное. Я перед тобой, Петр Игнатьич, как перед богом откроюсь. Ты

хоть нас с стариком рассуди. Заладил, что женить да женить. А на ком женить-то, ты спроси! Кабы невеста настоящая, разве я своему детищу враг, а то девка с пороком...

Аким. Вот это напрасно. Напрасно, тае, наносишь на девку-то. Напрасно. Потому ей, девке этой самой, обида от сына мого, обида, значит, есть. Девке, значит.

Петр. Какая же такая обида?

Аким. А выходит, значит, тае, с сыном Никиткою. С Никиткою, значит, тае.

Матрена. Ты погоди говорить, у меня язык помягче, дай я скажу. Жил это малый-то наш до тебя, сам ведашь, на чугунке. И привяжись там к нему девка, так, ведашь, немудрящая, Маринкой звать,— куфаркой у них в артели жила. Так вот, показывает она, эта самая девка, на сына на нашего, что, примерно, он, Микита, будучи, ее обманул.

Петр. Хорошего тут нет.

Матрена. Да она сама непутевая, по людям шляется. Так, потаскуха.

Аким. Опять ты, значит, старуха, не тае, и все ты не тае, всё, значит, не тае...

Матрена. Вот только и речей от орла от моего — тае, тае, тае, а что тае — сам не знаешь. Ты, Петр Игнатьич, не у меня, у людей спроси про девку, всякий то же скажет. Так — шалава бездомовная.

Петр (*Акиму*). Что ж, дядя Аким, коли такое дело, тоже женить незачем. Ведь не лапоть, с ноги не снимешь, хоть бы сноху.

Аким (*разгорячась*). Облыжно, старуха, значит, на девку, тае, облыжно. Потому девка, тае, дюже хороша, дюже хороша девка, значит; жаль мне, жаль, значит, девку-то.

Матрена. Уж прямо Маремьяна-старица, по всем мире печальница, а дома не емши сидят. Жаль девку, а сына не жаль. Навяжи ее себе на шею, да и ходи с ней. Буде пустое-то говорить.

Аким. Нет, не пустое.

Матрена. Да ты не залетай, дай я скажу.

Аким (*перебивает*). Нет, не пустое. Значит, ты на свое воротишь, хоть бы про девку али про себя,— ты на свое воротишь, как тебе лучше, а бог, значит, тае, на свое поворотит. Так и это.

Матрена. Эх, только с тобой язык терзать.

Аким. Девка работящая, важковатая и, значит, тае, вокруг себе... значит. А по нашей бедности нам и тае, рука, значит: и свадьба недорогая. А дороже всего обида есть девке-то, значит, тае, сирота, вот что, девка-то. А обида есть.

Матрена. Всякая, тоже говорит...

Анисья. Ты, дядя Аким, больше слушай нашу сестру. Они тебе расскажут!

Аким. А бог-то, бог! Разве она не человек, девката? Значит, тоже, тае, богу-то она человек. А ты как думаешь?

Матрена. А, заладил...

Петр. А вот что, дядя Аким, тоже ведь этим девкам верить нельзя. А малый-то жив. Ведь он вот он! Послать его да спросить толком, правда ли? Он души не убьет. Покличьте малого-то!

Анисья встает.

Скажи ты, отец зовет.

Анисья уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же без Анисьи.

Матрена. Вот это, родной, рассудил, как водой разлил; пущай, сам малый скажет. Ведь тоже по нынешнему времю силóм женить не велят. Тоже спросить малого надо. Не захочет он ни в жисть на ней жениться, себя осрамить. На мой разум, пусть у тебя живет да служит хозяину. И на лето брать незачем, принанять можно. А ты нам десяточку дай, пусть живет.

Петр. Та речь впереди, порядком надо. Одно кончи, тогда другое затевай.

Аким. Я, значит, к тому говорю, Петр Игнатьич, потому, значит, тае, трафлялось. Ладишь, значит, как себе лучше, да про бога, тае, и запамятуешь; думаешь лучше... на себя воротишь, глядь, ан накошлял на шею себе, значит; думал как лучше, ан хуже много, без бога-то.

Петр. Известное дело! бога помнить надо.

Аким. Глядь, оно хуже, а как по закону, да побожьи, все как-то, тае, оно тебя веселит. Манится, значит. Так и угадывал себе, значит, женю, значит, малого, от греха, значит. Он дома, значит, тае, как должно по закону, а уж я, значит, тае, в городу похлопочу.

Работишка-то любезная. Сходно. По-божью-то, значит, тае, и лучше. Сирота ведь тоже. Примером, летось дрова тож у приказчика взяли таким манером. Думали обмануть; приказчика-то обманули, а бога-то, значит, тае, не обманули, ну и того...

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же, Никита и Анютка.

Никита. Спрашивали? *(Садится, достает табак.)*

Петр *(тихо укоризненно)*. Что ж ты, аль порядка не знаешь. Тебя отец спрашивать будет, а ты табаком балуешь да сел. Поди-ка сюда, встань!

Никита становится у стола, развязно облокачиваясь и улыбаясь.

Аким. Выходит, значит, тае, примерно на тебя, Микишка, жалоба, жалоба, значит.

Никита. От кого жалоба?

Аким. Жалоба? От девицы, от сироты, значит, жалоба есть. От ней, значит, и жалоба на тебя, от Марины от этой самой, значит.

Никита *(посмеиваясь)*. Чудно, право. Какая ж такая жалоба? Это кто ж тебе сказывал: она, что ли?

Аким. Я таперь, тае, спрос делаю, а ты, значит, тае, должен ответ произвесть. Обвязался ты с девкой, значит, то есть обвязался ты с ней, значит?

Никита. И не пойму окончательно, чего спрашиваете.

Аким. Значит, глупости, тае, глупости, значит, были у тебя с ней, глупости, значит?

Никита. Мало что было. С куфаркой от скуки и пошутишь и на гармонии поиграешь, а она попляшет. Какие же еще глупости?

Петр. Ты, Микита, не костыляй, а что спрашивает родитель, ты и отвечай толком.

Аким *(торжественно)*. Микита! От людей утаишь, а от бога не утаишь. Ты, Микита, значит, тае, думай, не моги врать! Сирота она, значит, обидеть можно. Сирота, значит. Ты говори получше как.

Никита. Да что, говорить-то нечего. Окончательно все и говорю, потому и говорить нечего. *(Разгорячась.)* Она чего не скажет. Говори, что хошь, как на мертвого. Чего ж она на Федьку Микишкина не сказывала? А это что ж, по нынешнему времени, значит, и пошутить нельзя? А ей вольно говорить.

Аким. Ой, Микишка, мотри! Неправда наружу выйдет. Было аль нет?

Никита *(в сторону)*. Вишь, привязались, право. *(К Акиму.)* Сказываю, что ничего не знаю. Ничего у меня с ней не было. *(С злобой.)* Вот те Христос, не сойти мне с доски с этой. *(Крестится.)* Ничего знать не знаю. *(Молчание. Никита продолжает еще горячее.)* Что ж это вы меня на ней женить вздумали? Что ж, в самом деле, право, скандал. Нынче и правов таких нет, чтоб силóм женить. Очень просто. Да и побожился я — знать не знаю.

Матрена *(на мужа)*. То-то, глупая твоя башка, дурацкая; что ему наболтают, а он всему и верит. Только напрасно малого оконфузил. А лучше как живет, так пускай и живет у хозяина. Хозяин нам теперь на нужду десяточку даст. А время придет, и женим.

Петр. Ну, как же, дядя Аким?

Аким *(щелкает языком; к сыну)*. Мотри, Микита, обижена слеза, тае, мимо не канет, а всё, тае, на человеческу голову. Мотри, как бы не того.

Никита. Да что смотреть-то, ты сам смотри. *(Садится.)*

Анютка. Пойти мамушке сказать. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Петр, Аким, Матрена и Никита.

Матрена *(к Петру)*. Вот так-то, всё, Петр Игнатьич. Баламутный он у меня, втемяшит что в башку, не выбьешь никак; только даром тебя потревожили. А как жил малый, так пусть и живет. Держи малого — твой слуга.

Петр. Так как же, дядя Аким?

Аким. Что ж, я, тае, воли с малого не снимал, только бы не тае. Хотелось было, значит, тае...

Матрена. И что путаешь, сам не знаешь. Пусть живет, как жил. Малому и самому сходить неохота. Да и куда нам его, сами управим.

Петр. Одно, дядя Аким: если ты его на лето сымешь, он мне на зиму не нужен. Уж жить, так в год.

Матрена. На год и заложится. Мы дома, в рабочую пору, коли что, принаймем, а малый пусть живет, а ты нам теперича десяточку.

Петр. Так как же, еще на год?

UNIVERSITETS 194808

Аким *(вздыхает)*. Да что ж, уж, видно, тае, коли так, значит, видно, уж тае.

Матрена. Опять на год, от Митриевой субботы. В цене ты не обидишь, а десяточку теперь дай. Вызволь ты нас. *(Встает и кланяется.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Те же, Анисья и Анютка. (Анисья садится к сторонке.)

Петр. Что ж? Коли так, так так — до трактира дойти и магарычи. Пойдем, дядя Аким, водочки выпьем.

Аким. Не пью я ее, вино-то, не пью.

Петр. Ну, чайку попьешь.

Аким. Чаем грешен. Чаем, точно.

Петр. И бабы-то чайку попьют. Ты, Микита, смотри, овец-то перегони да солому подбери.

Никита. Ладно.

Все уходят, кроме Никиты. Смеркается.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Никита один.

Никита *(закуривает папироску)*. Вишь, пристали, скажи да скажи, как с девками гулял. Эти истории рассказывать долго будет. Женись, говорит, на ней. На всех да жениться — это жен много наберется. Нужно мне очень жениться, и так не хуже женатого живу, завидуют люди. И как это меня как толконул кто, как я на образ перекрестился. Так сразу всю канитель и оборвал. Боязно, говорят, в неправде божиться. Всё одна глупость. Ничего, одна речь. Очень просто.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Никита и Акулина.

Акулина *(входит в кафтане, кладет веревку, раздевается и идет в чулан)*. Ты бы хоть огонь засветил.

Никита. На тебя глядеть? Я тебя и так вижу.

Акулина. Ну тебя!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка *(вбегает; к Никите шепотом)*. Микита, иди скорей, тебя человек один спрашивает однова дыхнуть.

Никита. Какой человек?

Анютка. Маринка с чугунки. За углом стоит.

Никита. Врешь.

Анютка. Однова дыхнуть.

Никита. Чего же ей?

Анютка. Тебе приходить велела. Мне, говорит, Миките только слово одно сказать надо. Стала я спрашивать, а она не сказывает. Только спросила: правда ли, что он от вас сходит? А я говорю: неправда, его отец хотел снять да женить, да он отказался, у нас на год еще остался. А она и говорит: пошли ты его ко мне, ради Христа. Мне, говорит, беспременно нужно ему слово сказать. Она уж давно ждет. Иди же к ней.

Никита. Ну ее к богу. Куда я пойду?

Анютка. Она говорит, коль не прийдет, я сама в избу к нему пойду. Однова дыхнуть, приду, говорит.

Никита. Небось постоит да уйдет

Анютка. Аль, говорит, его на Акулине женить хотят?

Акулина *(подходит к Никите за своей прялкой)*. Кого на Акулине женить?

Анютка. Микиту.

Акулина. Легко ль? Да кто говорит-то?

Никита. Да, видно, люди говорят. *(Смотрит на нее, смеется.)* Акулина, что, пойдешь за меня?

Акулина. За тебя-то? Може, допрежь и пошла бы, а теперь не пойду.

Никита. Отчего теперь не пойдешь?

Акулина. А ты меня любить не будешь.

Никита. Отчего не буду?

Акулина. Тебе не велят. *(Смеется.)*

Никита. Кто не велит?

Акулина. Да мачеха. Она все ругается, все за тобой глядит.

Никита *(смеется)*. Вишь ты! Однако ты приметливая.

Акулина. Я-то? Что мне примечать? Разве я слепая? Нынче она батю пузырила, пузырила. Ведьма она толстомордая. *(Уходит в чулан.)*

Анютка. Никита! глянь-ка. *(Глядит в окно.)* Идет. Однова дыхнуть, она. Я уйду. *(Уходит.)*

Никита, Акулина в чулане и Марина.

Марина *(входит)*. Что ж это ты со мной делаешь?

Никита. Что делаю? Ничего не делаю.

Марина. Отречься хочешь?

Никита *(сердито подымаясь)*. Ну, к чему подобно, что пришла?

Марина. Ах, Микита!

Никита. Чудные вы, право. Зачем пришла?

Марина. Микита!

Никита. Ну что Микита? Микита и есть. Чего надо-то? Иди, говорю.

Марина. Так, вижу, бросить, позабыть хочешь?

Никита. Что помнить-то? Сами не знают. За углом стояла, Анютку послала, не пришел я к тебе. Значит, не надобна ты мне, очень просто. Ну и уйди.

Марина. Не надобна! Не надобна теперь стала. Поверила я тебе, что любить будешь. А потерял ты меня, и не надобна стала.

Никита. И все ни к чему ты это говоришь, все несообразно. Ты и отцу наговорила. Уйди, сделай милость.

Марина. Сам знаешь, что никого, кроме тебя, не любила. Взял бы не взял замуж, я на то бы не обижалась. Не повинна я перед тобой ничем. За что разлюбил? За что?

Никита. Нечего нам с тобою переливать из пустого в порожнее. Уйди ты. То-то бестолковые!

Марина. Не то мне больно, что обманул меня, жениться обещал, а что разлюбил. И не то больно, что разлюбил, а на другую променял,— на кого, знаю я!

Никита *(злобно идет к ней)*. Эх! С вашей сестрой разговаривать, никаких резонов не понимают; уйди, говорю, до худа доведешь.

Марина. До худа? Что ж, меня бить будешь? Бей, на! Что морду-то отворотил? Эх, Никита.

Никита. Известно, нехорошо, народ придет. А что ж попусту толковать.

Марина. Так конец, значит, что было, то уплыло. Позабыть велишь! Ну, Никита, помни. Берегла я свою честь девичью пуще глаза. Погубил ты меня ни за что, обманул. Не пожалел сироту *(плачет)*, отрекся от меня. Убил ты меня, да я на тебя зла не держу. Бог с тобой.

Лучше найдешь — позабудешь, хуже найдешь — воспомянешь. Воспомянешь, Никита. Прощай, коли так. И любила ж я тебя. Прощай в последний. *(Хочет обнять его и берет за голову.)*

Никита *(вырываясь)*. Эх! Разговаривать с вами. Не хочешь уходить, я сам уйду, оставайся тут.

Марина *(вскрикивает)*. Зверь ты! *(В дверях.)* Не даст тебе бог счастья! *(Уходит, плача.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Никита и Акулина.

Акулина *(выходит из чулана)*. А пес ты, Никита.

Никита. А что?

Акулина. Как взвыла-то она. *(Плачет.)*

Никита. Ты-то чего?

Акулина. Чего? О... би... дел ты ее... Ты так-то и меня обидишь... пес ты. *(Уходит в чулан.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Никита один.

Никита. *(Молчание.)* То-то неразбериха. Люблю я этих баб, как сахар; а нагрешишь с ними — беда!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЛИЦА ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ

Петр.
Анисья.
Акулина.
Анютка.
Никита.
Матрена.
Кума — соседка.
Народ.

Сцена представляет улицу и избу Петра. Слева от зрителя — изба в две связи, сени, с крыльцом в середине; справа — ворота и край двора. У края двора Анисья треплет пеньку. После первого действия прошло шесть месяцев.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анисья одна.

Анисья *(останавливается, прислушиваясь)*. Опять что-то бурчит. Должно, слез с печи.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Анисья и Акулина (входит с ведрами на коромысле).

Анисья. Кличет. Поди погляди, чего ему? Во... орет.

Акулина. А ты-то что ж?

Анисья. Иди, говорят.

Акулина идет в избу.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Анисья одна.

Анисья. Измучил он меня. Не открывает, где деньги, да и все. Намедни в сенях был, должно там прятал. Теперь и сама не знаю где. Спасибо, расстаться с ними боится. Всё в доме они. Только б найти. А на нем вчерась не было. Теперь и сама не знаю где. Измучал меня на отделку.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анисья и Акулина (выходит, повязываясь платком).

Анисья. Куда ты?

Акулина. Куды? А велел тетушку Марфу позвать. Позови, говорит, сестру ко мне. Я помру, говорит, нужно мне ей сказать слово.

Анисья *(про себя)*. Сестру зовет. О, головушка моя! О-о! Должно, ей отдать хочет. Что стану делать! О! *(Акулине.)* Не ходи! Куда ты?

Акулина. За теткой.

Анисья. Не ходи, говорю, я сама схожу, а ты с бельем-то иди на речку. А то до вечера не успеешь.

Акулина. Да он мне велел.

Анисья. Иди, куда посылают. Сама, говорят, схожу за Марфой. Рубахи-то возьми с плетня.

Акулина. Рубахи? Да ты, мотри, не пойдешь. Он велел.

Анисья. Сказала, пойду. Анютка где?

Акулина. Анютка? Она телят стережет.

Анисья. Пошли ее, авось не разбегутся.

Акулина собирает белье и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Анисья одна.

Анисья. Не пойтить — заругает, а пойтить — отдаст он сестре деньги. Пропадут все мои труды. И что

делать, сама не знаю. Расскочилась моя голова. *(Продолжает работать.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анисья и Матрена (входит с палочкой и узелком по-дорожному).

Матрена. Бог помочь, ягодка.

Анисья *(оглядывается, бросает работу и всплескивает руками от радости)*. Вот не чаяла, тетушка. Лучил же бог какого гостя ко времени.

Матрена. Ну, что?

Анисья. Уж я и в уме смешалась. Беда!

Матрена. Что ж, жив, сказывают?

Анисья. И не говори. Жить не живет и помирать не помирает.

Матрена. Деньги-то не передал кому?

Анисья. Сейчас за Марфой, за сестрой родной посылает. Должно, об деньгах.

Матрена. Видимое дело. Да не передал ли кому помимо?

Анисья. Некому. Я, как ястреб, над ним стерегу.

Матрена. Да где ж они?

Анисья. Не сказывает. И не дознаюсь никак. Хоронит где-то из одного места в другое. А мне тоже от Акульки нельзя. Дура-дура, а тоже подсматривает, караулит. О, головушка моя! Измучилась я.

Матрена. Ох, ягодка, отдаст денежки помимо твоих рук, век плакаться будешь. Сопхают они тебя со двора ни с чем. Маялась ты, маялась, сердечная, век-то свой с немилым, да и вдовой с сумой пойдешь.

Анисья. И не говори, тетка. Изныло мое сердце, и не знаю, как быть, и посоветовать не с кем. Говорила Миките. А он робеет, не хочет в это дело вступать. Только сказал мне вчерась, что в полу они.

Матрена. Что ж, лазила?

Анисья. Нельзя — сам тама. Я примечаю,— он их то на себе носит, то хоронит.

Матрена. Ты, деушка, помни: раз маху дашь, век не справишься. *(Шепотом.)* Что ж, крепкого чаю-то давала?

Анисья. О-о! *(Хочет отвечать, видит соседку, замолкает.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и кума (проходит мимо избы, прислушивается к крику в избе. К Анисье).

Кума. Кума! Анисья, а Анисья! Твой, никак, кличет.

Анисья. Он все так кашляет, ровно кричит. Плох уж очень.

Кума *(подходит к Матрене)*. Здорово, баушка, отколь бог несет?

Матрена. А из двора, милая. Сынка проведать пришла. Рубах принесла. Тоже свое детище, ведашь, жалко.

Кума. Да уж такое дело. (*К Анисье.*) Хотела, кума, кросна белить, да, думается, рано. Люди не зачинали.

Анисья. Куда спешить-то?

Матрена. Что ж, сообщали?

Анисья. Как же, вчерась поп был.

Кума. Поглядела я вчерась тоже, матушка моя, и в чем душа держится. Измадел как. А уж намедни, матушка моя, совсем помирал, под святые положили. Уж и оплакали, омывать собирались.

Анисья. Ожил — поднялся; опять бродит теперь.

Матрена. Что ж, соборовать станете?

Анисья. Люди приглашают. Коли жив будет, хотим завтра за попом посылать.

Кума. Ох, скучно, чай, тебе, Анисьюшка? Недаром молвится: не тот болен, кто болит, а кто над болью сидит.

Анисья. Уж как скучно-то. Да уж одно бы что.

Кума. Известно дело, легко ли, год целый помирает. По рукам связал.

Матрена. Тоже и вдовье дело горькое. Хорошо дело молодое, а на старости лет кто пожалеет. Старость — не радость. Хоть бы мое дело. Недалеко прошла, уморилась, ног не слышу. Сынок-то где?

Анисья. Пашет. Да ты заходи, самовар поставим, чайком душеньку отведешь.

Матрена *(садится)*. И то уморилась, миленькие. А что соборовать — это беспременно надо. Люди говорят — тоже душе на пользу.

Анисья. Да завтра пошлем.

Матрена. То-то, оно лучше. А у нас, деушка, свадьба.

Кума. Что ж так, весной?

Матрена. Да, видно, пословица недаром молвится: бедному жениться и ночь коротка. Семен Матвеевич за себя Маринку взял.

Анисья. Нашла-таки себе счастье!

Кума. Вдовец, должно, на детей пошла.

Матрена. Четверо. Какая же путная пойдет! Ну, ее и взял. Она и рада. Вино пили, ведашь, стаканчик не крепкий был,— проливали.

Кума. Вишь ты! Слух-то был? А с достатком мужик-то?

Матрена. Живут ничего пока.

Кума. Оно точно, что на детей кто пойдет. Вот хоть бы у нас Михайло. Мужик-то, матушка моя...

Голос мужика. Эй, Мавра, куда тебя дьявол носит? Поди корову загони.

Соседка уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анисья и Матрена.

Матрена *(пока соседка уходит, говорит ровным голосом)*. Выдали, деушка, от греха, по крайности мой дурак об Микишке думать не будет. *(Вдруг переменяет голос на шепот.)* Ушла! *(Шепотом.)* Что ж, говорю, чайком-то поила?

Анисья. И не поминай. Помирал бы лучше сам. Все одно не помирает, только греха на душу взяла. О-о! головушка моя! И зачем ты мне давала порошки эти?

Матрена. Что ж порошки? Порошки, деушка, сонные, что ж не дать? От них худа не будет.

Анисья. Я не про сонные, а про те, про белесые-то.

Матрена. Что ж, те порошки, ягодка, лекарственные.

Анисья *(вздыхает)*. Знаю, да боязно. Измучал он меня.

Матрена. Что ж, много извела?

Анисья. Два раза давала.

Матрена. Что ж, не приметно?

Анисья. Я сама в чаю пригубила, чуть горчит. А он выпил с чаем-то, да и говорит: мне и чай-то про-

тивен. Я говорю: больному все горько. Да и жутко же мне стало, тетушка.

Матрена. А ты не думай. Что думать, то хуже.

Анисья. И лучше ты мне не давала бы и на грех не наводила. Как вспомнишь, так на душе загребтит. И зачем ты дала мне их?

Матрена. И, что ты, ягодка! Христос с тобой. Что ж ты на меня-то сворачиваешь? Ты, деушка, мотри, с больной головы на здоровую не сворачивай. Коли чего коснется, мое дело сторона, я знать не знаю, ведать не ведаю,— крест поцелую, никаких порошков не давала и не видала и не слыхала, какие такие порошки бывают. Ты, деушка, сама думай. Мы и то намеднись про тебя разговорились, как она, мол, сердечная, мается. Падчерица — дура, а мужик гнилой — присуха одна. С этой жизни чего не сделаешь.

Анисья. Да я и то не отрекусь. От моего житья не то что эти дела, а либо повеситься, либо его задушить. Разве это жизнь?

Матрена. То-то и дело. Рот разевать некогда. А как-никак, обыскать деньги да чайком попоить.

Анисья. О-о, головушка моя бедная! И что делать теперь, сама не знаю, и жутость берет,— помирал бы уж лучше сам. Тоже на душу брать не хочется.

Матрена (*с злобой*). А что ж он деньги-то не открывает? Что ж, он их с собой возьмет, никому не достанутся? Разве это хорошо? Помилуй бог, такие деньжищи да дурóм пропадут. Разве это не грех? Что ж он-то делает? На него и смотреть?

Анисья. Уже и сама не знаю. Измучал он меня.

Матрена. Чего не знать-то? Дело на виду. Промашку теперь сделаешь, век каяться будешь. Передаст он сестре деньги, а ты оставайся.

Анисья. О-ох, и то посылал ведь за ней,— идти надо.

Матрена. А ты погоди ходить, а первым делом самоварчик поставь. Мы его чайком попоим да деньги вдвоем поищем — дощупаемся небось.

Анисья. О-о! Как бы чего не было.

Матрена. А то что ж? Что смотреть-то. Что ж ты деньги-то только глазами поваляешь, а в руки не попадут? Ты делай.

Анисья. Так я пойду самовар поставлю.

Матрена. Иди, ягодка, дело делай как надо, чтоб

после не тужить. Так-то. *(Анисья отходит, Матрена подзывает.)* Одно дело: Микитке не сказывай про все дела. Он дурашный. Избави бог, узнает про порошки. Он бог знает что сделает. Жалостлив он очень. Он, ведашь, и курицы, бывало, не зарежет. Не сказывай ему. Беда, он того не рассудит. *(Останавливается в ужасе, на пороге показывается Петр.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Петр (держась за стенку, выползает на крыльцо и кличет слабым голосом).

Петр. Что ж вас не дозовешься. О-ох! Анисья, кто здесь? *(Падает на лавку.)*

Анисья *(выходит из-за угла)*. Чего вылез? Лежал бы, где лежал.

Петр. Что, за Марфой ходила девка-то?.. Тяжко... Ох, хоть бы смерть скорее!..

Анисья. Недосуг ей, я ее на речку послала. Дай срок, управлюсь, сама схожу.

Петр. Анютку пошли. Где она? Ох, тяжко! Ох, смерть моя!

Анисья. Я и то послала за ней.

Петр. Ох! Где ж она?

Анисья. Где она там, пралик ее расшиби?

Петр. Ох, мочи моей нет. Сожгло нутро. Ровно буравцом сверлит. Что ж меня бросили, как собаку... и напиться подать некому... Ох... Анютку пошли ко мне.

Анисья. Вот она, Анютка, иди к отцу.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Анютка (вбегает, Анисья уходит за угол).

Петр. Поди ты... ох... к тетке Марфе, скажи: отец, мол, зовет, пришла чтоб, нужно мне.

Анютка. Ну что ж.

Петр. Постой. Скорее нужно, скажи. Скажи — помирать хочу. О-ох...

Анютка. Только платок возьму, а я сейчас. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Петр, Анисья и Матрена.

Матрена *(подмигивая)*. Ну, деушка, дело свое помни. Иди в избу, везде ошарь. Ищи, как собака блох ищет; все перебери, а я на нем обыщу.

Анисья *(к Матрене)*. Сейчас. Все с тобой смелей как будто. *(Подходит к крыльцу. К Петру.)* Самовар не поставить ли тебе? И тетка Матрена к сыну пришла,— с ней попьете.

Петр. Что ж, поставь.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Петр и Матрена. Матрена подходит к крыльцу.

Петр. Здорово.

Матрена. Здравствуй, благодетель. Здравствуй, касатик. Хвораешь, видно, все. И старик мой как жалеет. Поди, говорит, проведай. Поклон прислал. *(Еще раз кланяется.)*

Петр. Помираю я.

Матрена. И то, посмотрю на тебя, Игнатьич, не по лесу, видно, а по людям боль-то ходит. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу на тебя. Не красит, видно, хворь-то.

Петр. Пришла смерть моя.

Матрена. Что ж, Петр Игнатьич, божья воля, сообщили, особоруют, бог даст; баба у тебя, слава богу, умная, и похоронят и помянут, всё честь честью. И мой сыночек тоже, поколе что, по дому хлопотать будет.

Петр. Приказать некому! Необстоятельна баба, глупостями занимается, ведь все знаю я... знаю... Девка дурковата, да и млада. Дом собирал, а обдумать некому. Жаль тоже. *(Хнычет.)*

Матрена. Что ж, коли деньги или что, приказать можно...

Петр *(к Анисье в сенцы)*. Пошла, что ль, Анютка-то?

Матрена *(в сторону)*. Ишь, вспомнил.

Анисья *(из сеней)*. В ту же пору пошла. Иди в избу-то, что ль, я проведу.

Петр. Дай посижу напоследях. Дух тяжкий там. Тяжко мне... Ох, сожгло сердце все... Хоть бы смерть...

Матрена. Бог души не вынет, сама душа не выйдет. В смерти и животе бог волен, Петр Игнатьич. Тоже и смерти не угадаешь. Бывает, и поднимешься. Так-то вот у нас в деревне мужик совсем уж было помирал...

Петр. Нет. Чую я, что нынче помру, чую. *(Прислоняется и закрывает глаза.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья.

Анисья *(входит.)* Ну что ж, пойдешь али нет? Тебя не дождешься. Петра? А Петра?

Матрена *(отходит и манит к себе пальцем Анисью)*. Ну что ж?

Анисья *(сходит с крыльца к Матрене)*. Нету.

Матрена. Да ты всё ли обыскала? В полу-то?

Анисья. И там нету. Нешто в пуньке. Вчера туда лазил.

Матрена. Ищи, пуще всего ищи. Как языком вылижи. А я примечаю — нынче и так помереть: ноготь синий, и на лицо земля пала. Самовар-то поспел, что ль?

Анисья. Закипать хочет.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Никита (приходит с другой стороны, а если можно, приезжает на лошади к воротам; не видит Петра).

Никита *(к матери)*. Здорово, матушка! Здоровы ли дома?

Матрена. Слава господу богу, живем, пока хлеб жуем.

Никита. Ну что, хозяин как?

Матрена. Тише, вон он сидит. *(Показывает на крыльцо.)*

Никита. Так что же, пущай сидит. Мне чего?

Петр *(открывает глаза)*. Микита, а Микита, подька сюда.

Никита подходит. Анисья шепчется с Матреной.

Что рано приехал?

Никита. Допахал.

Петр. За мостом полоску пахал?

Никита. Туда далече ехать.

Петр. Далече? Из дома дальше. За нарочным поедешь. Заодно бы.

Анисья, не показываясь, прислушивается.

Матрена *(подходит)*. Ах, сынок, что ж так хозяину не стараешься? Хозяин хворый, на тебя надеется, ты должен, как отцу родному, жилы вытягивай, а служи. Так я тебе приказывала.

Петр. Так ты того, ох!.. картошки повытаскай, бабы... о!.. переберут.

Анисья *(про себя)*. Как же, и пошла я. Опять от себя всех услать хочет; должно, на нем теперь деньги-то. Куда-нибудь схоронить хочет.

Петр. А то, о-ох!.. сажать время придет, а они попрели. Ох, мочи нет. *(Поднимается.)*

Матрена *(вбегает на крыльцо, поддерживает Петра)*. Аль в избу свесть?

Петр. Сведи. *(Останавливается.)* Микита!

Никита *(сердито)*. Чего еще?

Петр. Не увижу тебя... Помру нынче... Прости меня, Христа ради, прости, когда согрешил перед тобой... Словом и делом, согрешил когда... Всего было. Прости.

Никита. Что ж прощать, мы сами грешные.

Матрена. Ах, сынок,— ты чувствуй.

Петр. Прости, Христа ради. *(Плачет.)*

Никита *(сопит)*. Бог простит, дядя Петр. Что ж, мне на тебя обижаться нечего. Я от тебя худого не видал. Ты меня прости. Может, я виноватее перед тобою. *(Плачет. Петр, хныкая, уходит. Матрена поддерживает его.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Никита и Анисья.

Анисья. О, головушка моя бедная! Неспроста он это. Задумал, видно, что. *(Подходит к Никите.)* Что ж ты сказывал, что деньги в полу,— нету там.

Никита *(не отвечает, плачет)*. Я от него худого, окромя хорошего, ничего не видал. А я вот что сделал!

Анисья. Ну, буде. Деньги-то где?

Никита *(сердито)*. А кто его знает. Иди сама.

Анисья. Что больно жалостлив?

Никита. Жалко мне его. Как жалко его! Заплакал как! Э-эх!

Анисья. Вишь, жалость напала, есть кого жалеть! Он тебя собачил, собачил, и сейчас приказывал, чтоб согнать тебя со двора долой. Ты бы меня пожалел.

Никита. Да что тебя жалеть-то?

Анисья. Помрет, деньги скроет...

Никита. Небось не скроет...

Анисья. Ох, Никитушка! За сестрой ведь по-

слал, ей отдать хочет. Беда наша, как нам жить будет, как он деньги отдаст. Ссунут они меня со двора! Уж ты бы похлопотал. Ты сказывал, в пуньку вечор лазял он?

Никита. Видел, он оттель идет, а куда сунул, кто его знает.

Анисья. О, головушка, пойду там поищу.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Матрена (выходит из избы, спускается к Анисье и Никите, шепотом).

Матрена. Никуда не ходи, деньги на нем, я ощупала, на гайтане они.

Анисья. О, головушка моя бедная!

Матрена. Теперь сморгаешь, ищи тогда на орле — на правом крыле. Сестра придет — и прощайся.

Анисья. И то придет, отдаст ей. Как быть-то? О, головушка!

Матрена. Как быть-то? А ты смотри сюда. Самовар-то вскипел, поди ты завари чайку да налей ему *(шепотом)*, да из грамотки-то всю высыпь, да попои его. Выпьет чашку, тогда и тащи. Небось не расскажет.

Анисья. О, боязно!

Матрена. Ты это не толкуй, живо делай, а я сестру-то постерегу, коли что. Оплошки не давай. Тащи деньги да и неси сюда, а Микита схоронит.

Анисья. О, головушка! Как приступиться-то и... и...

Матрена. Говорю, не толкуй; делай, как велю. Микита!

Никита. Чего?

Матрена. Ты тут постой, посиди на завалинке, коли что, дело будет.

Никита *(махая рукой)*. Уж эти бабы придумают. Окончательно завертят. Ну вас совсем! Пойти и то — картошки повытаскать.

Матрена *(останавливает его за руку)*. Говорю, постой.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Анютка (входит).

Анисья. Ну, что?

Анютка. Она у дочери на огороде была, сейчас придет.

Анисья. Придет она, что делать будем?

Матрена *(Анисье)*. Поспешь, делай, что велю.

Анисья. Уж сама не знаю — не знаю ничего, в уме смешалось. Анютка! Иди, донюшка, к телятам, разбежались. Ох, не насмелюсь.

Матрена. Иди, что ль, самовар ушел, я чай.

Анисья. Ох, головушка моя бедная! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Матрена и Никита.

Матрена *(подходит к сыну)*. Так-то, сынок. *(Садится рядом с ним на завалинку.)* Дело твое тоже обдумать надо, а не как-нибудь.

Никита. Да какое дело-то?

Матрена. А то дело, как тебе на свете прожить.

Никита. Как на свете прожить? Люди живут, так и я.

Матрена. Старик-то, должно, нынче помрет?

Никита. Помрет, царство небесное. Мне-то что?

Матрена *(все время говорит и поглядывает на крыльцо)*. Эх, сынок! Живой живое и думает. Тут, ягодка, тоже ума надо много. Ты как думаешь, я по твоему делу по всем местам толкалась, все ляжки измызгала, об тебе хлопотамши. А ты помни, тогда меня не забудь.

Никита. Да о чем хлопотала-то?

Матрена. О деле о твоем, об судьбе об твоей. Загодя не похлопотать, ничего и не будет. Иван Мосеича знаешь? Я до него тоже притолчна. Зашла намедни. Я ему, ведашь, тоже дело одно управила. Посидела, к слову разговорились. Как, говорю, Иван Мосеич, рассудить дело одно. Примерно, говорю, мужик вдовый, взял, примерно, за себя другую жену и, примерно, только и детей, что дочь от той жены да от этой. Что, говорю, как помрет мужик этот, можно ли, я говорю, войти на вдову эту в двор чужому мужику? Можно, я говорю, этому мужику дочерей замуж отдать и самому во дворе остаться? Можно, говорит, да только надо, говорит, старанья тут много. С деньгами, говорит, можно это дело оборудовать, а без денег, говорит, и совать-ся нечего.

Никита *(смеется)*. Да уж это что говорить, только подавай им деньги-то. Денежки всем нужны.

Матрена. Ну, ягодка, я и открылась ему во всех

делах. Первым делом, говорит, надо твоему сыночку в ту деревню приписаться. На это денежки нужно,— стариков попоить. Они, значит, и руки приложат. Все, говорит, надо с умом делать. Глянь-ка сюда *(достает из платка бумагу)*. Вот и бумагу отписал, почитай-ка, ведь ты дошлый. *(Никита читает, Матрена слушает.)*

Никита. Бумага, известно, приговор значит. Тут мудрости большой нет.

Матрена. А ты слухай, что Иван Мосеич приказывал. Пуще всего, говорит, тетка, смотри, чтоб денежки не упустить. Не ухватит, говорит, она деньги, не дадут ей на себя зятя принять. Деньги, говорит, всему делу голова. Так мотри. Дело, сынок, доходит.

Никита. Мне что? Деньги ее, она и хлопочи.

Матрена. Эка ты, сынок, судишь! Разве баба может обдумать? Если что и возьмет она деньги, где ж ей обдумать,— бабье дело известно, а ты все мужик. Ты, значит, можешь и спрятать и все такое. У тебя все-таки ума больше, коли чего коснется.

Никита. Эх! женское ваше понятие необстоятельное совсем.

Матрена. Как же необстоятельно! Ты заграбь денежки-то. Баба-то у тебя в руках будет. Если случаем и похрапывать начнет или что, ей укороту можно сделать.

Никита. Ну вас совсем, пойду.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Никита, Матрена и Анисья (выбегает бледная из избы за угол к Матрене).

Анисья. На нем и были. Вот они. *(Показывает под фартуком.)*

Матрена. Давай Микитке, он схоронит. Микитка, бери, схорони куда.

Никита. Что ж, давай.

Анисья. О-ох, головушка, да уж я сама, что ли. *(Идет к воротам.)*

Матрена *(хватает ее за руку)*. Куда идешь? Хватятся, вон сестра идет, ему давай, он знает. Эка бестолковая!

Анисья *(останавливается в нерешительности)*. О, головушка!

Никита. Что ж, давай, что ль, суну куда.

Анисья. Куда сунешь-то?

Никита. Аль робеешь? *(Смеется.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Те же и Акулина (идет с бельем).

Анисья. О-ох, головушка моя бедная! *(Отдает деньги.)* Микита, мотри.

Никита. Чего боишься-то? Туда запхаю, что и сам не найду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Матрена, Анисья и Акулина

Анисья *(стоит в испуге)*. О-ох!.. Что как он...

Матрена. Что ж, помер?

Анисья. Да помер, никак. Я снимала, он и не почуял.

Матрена. Иди в избу-то, вон Акулина идет.

Анисья. Что ж, я нагрешила, а он да что с деньгами...

Матрена. Буде, иди в избу, вот и Марфа идет.

Анисья. Ну, поверила я ему. Что-то будет. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Марфа, Акулина, Матрена.

Марфа *(идет с одной, Акулина с другой стороны. К Акулине)*. Я бы даве пришла, да к дочери пошла. Ну, что старик-от? Аль помирать хочет?

Акулина *(снимает белье)*. А кто его знает. Я на речке была.

Марфа *(указывая на Матрену)*. Это чья ж?

Матрена. А из Зуева, Микиты мать я, из Зуева, родимая. Здравствуйте. Изныл, изныл сердечный, братец-то. Сам выходил. Пошли мне, говорит, сестрицу, потому, говорит... О! да уж не кончился ли?

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Те же и Анисья (выбегает из избы с криком, хватается за столбик и начинает выть).

О-о-о, и на кого-о-о и оставил и о-о-о и на ко-ого-о-о по-ки-и-нул о-о-о... вдовой горемычной... век вековать, закрыл ясны очи...

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и кума. Кума и Матрена подхватывают ее под руки. Акулина и Марфа идут в избу. Народ приходит.

Один голос из народа. Старух позвать, убирать надо.

Матрена *(засучивает рукава)*. Вода в чугуне-то есть, что ли? А то и в самоваре, я чай, есть. Не вылили. Потружусь и я.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЛИЦА ТРЕТЬЕГО ДЕЙСТВИЯ

Аким. Анютка.
Никита. Митрич — старик-работник,
Акулина. отставной солдат.
Анисья. Кума Анисьи.

Изба Петра. Зима. После второго действия прошло девять месяцев. Анисья ненарядная сидит за станом, ткет. Анютка на печи, Митрич, старик-работник.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Митрич *(входит медленно, раздевается)*. О, господи помилуй! Что ж, не приезжал хозяин-то?

Анисья. Чего?

Митрич. Микита-то из города не бывал?

Анисья. Нету.

Митрич. Загулял, видно. О господи!

Анисья. Убрался на гумне-то?

Митрич. А то как же? Все как надо убрал, соломкой прикрыл. Я не люблю как-нибудь. О господи! Микола милослевый! *(Ковыряет мозоли.)* А то бы пора ему и быть.

Анисья. Чего ему торопиться. Деньги есть, гуляет с девкой, я чай...

Митрич. Деньги есть, так чего ж не гулять. Акулина-то почто в город поехала?

Анисья. А ты спроси ее, зачем туда нелегкая понесла.

Митрич. В город-то зачем? В городу всего много, только бы было на что. О господи!

Анютка. Я, матушка, сама слышала. Полушаль-

чик, говорит, тебе куплю, однова дыхнуть, куплю, говорит; сама, говорит, выберешь. И убралась она хорошо как: безрукавку плисовую надела и платок французский.

Анисья. Уж и точно девичий стыд до порога, а переступила — и забыла. То-то бесстыжая!

Митрич. Вона! Чего стыдиться-то? Деньги есть, так и гуляй. О господи! Ужинать-то рано, что ли?

Анисья молчит.

Пойти погреться пока что. *(Лезет на печь.)* О господи, матерь пресвятая богородица, Микола-угодник!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и кума.

Кума *(входит)*. Не ворочался, видно, твой-то?

Анисья. Нету.

Кума. Пора бы. В наш трактир не заехал ли. Сестра Фекла сказывала, матушка моя, стоят там саней много из города.

Анисья. Анютка! а Анютка!

Анютка. Чего?

Анисья. Сбегай ты, донюшка, в трактир, посмотри, уж не туда ли он спьяна заехал?

Анютка *(спрыгивает с печи, одевается)*. Сейчас.

Кума. И Акулину с собой взял?

Анисья. А то бы ехать незачем. Из-за нее дела нашлись. В банку, говорит, надо, получка вышла, а все только она его путает.

Кума *(качает головой)*. Уж и что говорить.

Молчание.

Анютка *(в дверях)*. А коли там, сказать что?

Анисья. Ты посмотри только, там ли?

Анютка. Ну что ж, я живо слетаю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Анисья, Митрич и кума. Долгое молчание.

Митрич *(рычит)*. О господи, Микола милослевый.

Кума *(вздрагивая)*. Ох, напугал. Это кто ж?

Анисья. Да Митрич, работник.

Кума. Ох, натрещал как! Я и забыла. А что, кума, сказывали, сватают Акулину-то.

Анисья *(вылезает из-за стана к столу)*. Посыкнулись было из Дедлова, да, видно, слушок-то есть и у них, посыкнулись было, да и молчок; так и запало дело. Кому же охота?

Кума. А из Зуева-то Лизуновы?

Анисья. Засылка была. Да тоже не сошлось. Он и к себе не примает.

Кума. А отдавать бы надо.

Анисья. Уж как надо-то. Не чаю, кума, как со двора спихнуть, да не паит дело-то. Ему неохота. Да и ей тоже. Не нагулялся, видишь, еще с красавой-то с своей.

Кума. И-и-и! грехи. Чего вздумать нельзя. Вотчим ведь ей.

Анисья. Эх, кума. Оплели меня, обули так ловко, что и сказать нельзя. Ничего-то я сдуру не примечала, ничего-то я не думала, так и замуж шла. Ничегохонько не угадывала, а у них согласье уж было.

Кума. О-о, дело-то какое!

Анисья. Дальше — больше, вижу, от меня хорониться стали. Ах, кума, и уж тошно ж мне, тошно житье мое было. Добро б не любила я его.

Кума. Да что уж и говорить.

Анисья. И больно ж мне, кума, от него обиду такую терпеть. Ох, больно!

Кума. Что ж, сказывают, и на руку ерзок стал?

Анисья. Всего есть. Бывало, во хмелю смирен был. Зашибал он и допрежде того, да все, бывало, хороша я ему была, а нынче как надуется, так и лезет на меня, стоптать ногами хочет. Намедни в косы руками увяз, насилу вырвалась. А уж девка хуже змеи, и как только таких злющих земля родит.

Кума. О-о-о! Кума, болезная ж ты, погляжу я на тебя! Каково ж терпеть; нищего приняла, да он над тобой так измываться будет. Ты что ж ему укороту не сделаешь?

Анисья. Ох, кумушка милая! С сердцем своим что сделаю. Покойник на что строг был, а все ж, я как хотела, так и вертела, а тут не могу, кумушка. Как увижу его, так и сердце все сойдет. Нет у меня против него и смелости никакой. Хожу перед ним, как куренок мокрый.

Кума. О-о, кума! Да это, видно, сделано над тобой что. Матрена-то, сказывают, этими делами занимается. Должно, она.

Анисья. Да уж я и сама, кума, думаю. Ведь как обидно другой раз. Кажется, разорвала б его. А увижу его,— нет, не поднимается на него сердце.

Кума. Видимое дело, напущено. Долго ль, матушка моя, испортить человека. То-то, погляжу я на тебя, куда что делось.

Анисья. Вовсе в лутошку ноги сошлись. А на дуру-то, на Акулину, погляди. Ведь растрепа-девка, нехалявая, а теперь погляди-ка. Откуда что взялось. Да нарядил он ее. Расфуфырилась, раздулась, как пузырь на воде. Тоже, даром что дура, забрала себе в голову: я, говорит, хозяйка. Дом мой. Батюшка на мне его и женить хотел. А уж зла, боже упаси. Разозлится, с крыши солому роет.

Кума. О-ох, житье твое, кума, погляжу. Завидуют тоже люди. Богаты, говорят. Да, видно, матушка моя, и через золото слезы льются.

Анисья. Есть чему завидовать. Да и богатство-то все так прахом пройдет. Мотает денежки, страсть.

Кума. Да что ж ты, кума, больно просто пустила? Деньги твои.

Анисья. Кабы ты все знала. А то сделала я промашку одну.

Кума. Я бы, кума, на твоем месте прямо до начальника до большого дошла. Деньги твои. Как же он может мотать? Таких правов нет.

Анисья. На это нынче не взирают.

Кума. Эх, кума, посмотрю я на тебя. Ослабла ты.

Анисья. Ослабла, милая, совсем ослабла. Замотал он меня. И сама ничего не знаю. О-о, головушка моя бедная!

Кума. Никак, идет кто? *(Прислушивается. Отворяется дверь, и входит Аким.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Аким.

Аким *(крестится, обивает лапти и раздевается).* Мир дому сему. Здорово живете? Здорово, тетенька.

Анисья. Здорово, батюшка. Из двора, что ль? Проходи, раздевайся.

Аким. Думал, тае, дай, значит, схожу, тае, к сынку, к сынку пройду. Не рано пошел, пообедал, значит, пошел; ан снежно как, тае, тяжко, идти тяжко, вот и, тае, запоздал, значит. А сынок дома? Дома сынок то есть?

Анисья. Нетути; в городу.

Аким *(садится на лавку)*. Дельце до него, то есть, тае, дельце. Сказывал, значит, ему намедни, тае, значит, об нужде сказывал, лошаденка извелась, значит, лошаденка-то. Объегорить, тае, надоть, лошаденку-то какую ни на есть, лошаденку-то. Вот и, тае, пришел, значит.

Анисья. Сказывал Микита. Приедет, потолкуете. *(Встает к печи.)* Поужинай, а он подъедет. Митрич, иди ужинать, а Митрич?

Митрич *(рычит, просыпается)*. Чего?

Анисья. Ужинать.

Митрич. О господи, Микола милослевый!

Анисья. Иди ужинать.

Кума. Я пойду. Прощавайте. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Аким, Анисья и Митрич.

Митрич *(слезает)*. И не видал, как заснул. О господи, Микола-угодник! Здорово, дядя Аким.

Аким. Э! Митрич! Ты что же, значит, тае?

Митрич. Да вот в работниках, у Никиты, у сына у твоего, живу.

Аким. Ишь ты! Значит, тае, в работниках у сына-то. Ишь ты!

Митрич. То в городу жил у купца, да пропился там. Вот и пришел в деревню. Причалу у меня нет, ну и нанялся. *(Зевает.)* О господи!

Аким. Что ж, тае, али, тае, Микишка-то что делает? Дело, значит, еще какое, что работника, значит, тае, работника нанял?

Анисья. Какое ему дело? То управлялся сам, а нынче не то на уме, вот и работника взял.

Митрич. Деньги есть, так что ж ему...

Аким. Это, тае, напрасно. Вот это совсем, тае, напрасно. Напрасно это. Баловство, значит.

Анисья. Да уж избаловался, избаловался, что и беда.

Аким. То-то, тае, думается, как бы получше, тае, а оно, значит, хуже. В богатстве-то избалуется человек, избалуется.

Митрич. С жиру-то и собака бесится. С жиру как не избаловаться! Я вон с жиру-то как крутил. Три недели пил без просыпу. Последние портки пропил. Не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся. Ну ее.

Аким. А старуха-то, значит, твоя где же?..

Митрич. Старуха, брат, моя к своему месту пристроена. В городу по кабакам сидит. Щеголиха тоже — один глаз выдран, другой подбит, и морда на сторону сворочена. А тверезая, в рот ей пирога с горохом, никогда не бывает.

Аким. О-о! Что же это?!

Митрич. А куда же солдатской жене место? К делу своему пределена.

Молчание.

Аким *(к Анисье)*. Что ж, Никита-то в город, тае, повез что, продавать, значит, повез что?

Анисья *(накрывает на стол и подает)*. Порожнем поехал. За деньгами поехал, в банке деньги брать.

Аким *(ужинает)*. Что ж вы их, тае, деньги-то куда еще пределить хотите, деньги-то?

Анисья. Нет, мы не трогаем. Только двадцать или тридцать рублей; вышло, так взять надо.

Аким. Взять надо? Что ж их брать-то, тае, деньги-то? Нынче, значит, тае, возьмешь, завтра, значит, возьмешь,— так все их и, тае, переберешь, значит.

Анисья. Это окромя получай. А деньги все целы.

Аким. Целы? Как же, тае, целы? Ты бери их, а они, тае, целы. Как же, насыпь ты, тае, муки, значит, и всё, тае, в рундук, тае, или амбар, да и бери ты оттуда муку-то,— что ж она, тае, цела будет? Это, значит, не тае. Обманывают они. Ты это дознайся, а то обманут они. Как же целы? Ты, тае, бери, а они целы.

Анисья. Уж я и не знаю. Нам тогда Иван Моисеич присудил. Положите, говорит, деньги в банку — и деньги целее, и процент получать будете.

Митрич *(кончил есть)*. Это верно. Я у купца жил. У них всё так. Положи деньги да и лежи на печи, получай.

Аким. Чудно, тае, говоришь ты. Как же, тае, получай, ты, тае, получай, а им, значит, тае, с кого же, тае, получать-то? Деньги-то?

Анисья. Из банки деньги дают.

Митрич. Это что? Баба, она раздробить не может. А ты гляди сюда, я тебе все толки найду. Ты помни. У тебя, примерно, деньги есть, а у меня, примерно, весна пришла, земля пустует, сеять нечем, али податишки, что ли. Вот я, значит, прихожу к тебе. Аким, гово-

рю, дай красненькую, а я уберусь с поля, тебе к покрову отдам да десятину уберу за уваженье. Ты, примерно, видишь, что у меня есть с чего потянуть: лошаденка ли, коровенка, ты и говоришь: два ли, три ли рубля отдай за уваженье, да и всё. У меня о́сел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Осенью переверт делаю, приношу, а три рубля ты окроме с меня лупишь.

Аким. Да ведь это, значит, тае, мужики кривье как-то, тае, делают, коли кто, тае, бога забыл, значит. Это, значит, не к тому.

Митрич. Ты погоди. Она сейчас к тому же натрафит. Ты помни. Теперича, значит, ты так-то сделал, ободрал меня, значит, а у Анисьи деньги, примерно, залежные. Ей девать некуда, да и бабье дело — не знает, куда их пределить. Приходит она к тебе; нельзя ли, говорит, и на мои деньги пользу сделать. Что ж, можно, говоришь. Вот ты и ждешь. Прихожу я опять на лето. Дай, говорю, опять красненькую, а я с уважением... Вот ты и смекаешь: коли шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты и даешь Анисьины деньги. А коли, примерно, нет у меня ни шиша, жрать нечего, ты, значит, разметку делаешь, видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь: ступай, брат, к богу, а изыскиваешь какого другого, опять даешь и свои и Анисьины пределяешь, того обдираешь. Вот это и значит самая банка. Так она кругом и идет. Штука, брат, умственная.

Аким *(разгорячась)*. Да это что ж? Это, тае, значит, скверность. Это мужики, тае, делают так, мужики и то, значит, за грех, тае, почитают. Это тае, не по закону, не по закону, значит. Скверность это. Как же ученые-то, тае...

Митрич. Это, брат, у них самое любезное дело. А ты помни. Вот кто поглупей, али баба, да не может сам деньги в дело произвесть, он и несет в банку, а они, в рот им ситного пирога с горохом, цапают да этими денежками и облупляют народ-то. Штука умственная!

Аким *(вздыхая)*. Эх, посмотрю я, тае, и без денег, тае, горе, а с деньгами, тае, вдвое. Как же так. Бог трудиться велел. А ты, значит, тае, положил в банку деньги, да и спи, а деньги тебя, значит, тае, поваля кормить будут. Скверность это, значит, не по закону это.

Митрич. Не по́ закону? Это, брат, нынче не раз-

бирают. А как еще околузывают-то дочиста. То-то и дело-то.

Аким *(вздыхает)*. Да уж, видно, время, тае, подходит. Тоже сортиры, значит, тае, посмотрел я в городу. Как дошли то есть. Выглажено, выглажено, значит, нарядно. Как трактир исделано. А ни к чему. Всё ни к чему. Ох, бога забыли. Забыли, значит. Забыли, забыли мы бога-то, бога-то. Спасибо, родная, сыт, доволен.

Вылезают из-за стола; Митрич лезет на печь.

Анисья *(убирает посуду и ест)*. Хоть бы отец усовестил, да и сказывать-то стыдно.

Аким. Чего?

Анисья. Так, про себя.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Анютка. Анютка входит.

Аким. А! умница. Все хлопочешь! Перезябла, я чай?

Анютка. И то озябла страсть. Здорово, дедушка.

Анисья. Ну, что? Тама?

Анютка. Нету. Только Андриян там из города. сказывал, видел их еще в городу, в трактире. Батя, говорит, пьяный-распьяный.

Анисья. Есть хочешь, что ли? На вот.

Анютка *(идет к печи)*. Уж и холодно же. И руки зашлись.

Аким разувается, Анисья перемывает ложки.

Анисья. Батюшка!

Аким. Чего скажешь?

Анисья. Что ж, Маришка-то хорошо живет?

Аким. Ничаво. Живет. Бабочка, тае, умная, смирная, живет, значит, тае, старается. Ничаво. Бабочка, значит, истовая, и всё, тае, старательная и, тае, покорлива. Бабочка, значит, ничаво, значит.

Анисья. А что, сказывали, с вашей деревни, Маринкиному мужу родня, нашу Акулину сватать хотели. Что, не слыхать?

Аким. Это Мироновы? Болтали бабы чтой-то. Да невдомек, значит. Притаманно, значит, не знаю, тае. Старухи что-то сказывали. Да не памятлив я, не памятлив, значит. А что ж, Мироновы, тае, мужики, значит, тае, ничего.

Анисья. Уж не чаю, как просватать бы поскорее.

Аким. А что?

Анютка *(прислушивается)*. Приехали.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Никита. (Входит Никита пьяный с мешком и узлом под мышкой и с покупками в бумаге, отворяет дверь и останавливается.)

Анисья. Ну, не замай их. *(Продолжает мыть ложки и не поворачивает головы, когда отворяется дверь.)*

Никита. Анисья, жена! Кто приехал?

Анисья взглядывает и отворачивается. Молчит.

Никита *(грозно)*. Кто приехал? Аль забыла?

Анисья. Будет форсить-то. Иди.

Никита *(еще грознее)*. Кто приехал?

Анисья *(подходит к нему и берет за руку)*. Ну муж приехал. Иди в избу-то.

Никита *(упирается)*. То-то, муж. А как звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья. Да ну тебя — Микитой.

Никита. То-то! Невежа — по отчеству говори.

Анисья. Акимыч. Ну!

Никита *(всё в дверях)*. То-то. Нет, ты скажи фамилия как?

Анисья *(смеется и тянет за руку)*. Чиликин. Эка надулся!

Никита. То-то. *(Удерживается за косяк.)* Нет, ты скажи, какой ногой Чиликин в избу ступает?

Анисья. Ну, буде — настудишь.

Никита. Говори, какой ногой ступает? Обязательно сказать должна.

Анисья *(про себя)*. Надоест теперь. Ну, левой. Иди, что ль.

Никита. То-то.

Анисья. Ты глянь-ка, в избе-то кто.

Никита. Родитель? Что ж, я родителем не гнушаюсь. Родителю могу уважение исделать. Здорово, батюшка. *(Кланяется ему и подает руку.)* Наше вам почтение.

Аким *(не отвечая)*. Вино-то, вино-то, значит, что делает. Скверность!

Никита. Вино? Что выпил? Это окончательно виноват, выпил с приятелем, проздравил.

Анисья. Иди ложись, что ль.

Никита. Жена, где я стою, говори.

Анисья. Ну, ладно, иди ложись.

Никита. Я еще самовар с родителем пить буду. Ставь самовар. Акулина, иди, что ль.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и Акулина.

Акулина *(нарядная, идет с покупками. К Никите)*. Ты что ж все расшвырял. Пряжа-то где?

Никита. Пряжа? Пряжа там. Эй, Митрич! Где ты там? Заснул? Иди лошадь убери.

Аким *(не видит Акулины и глядит на сына)*. Что делает-то! Старик, значит, тае, уморился, значит, молотил, а он, тае, надулся. Лошадь убери. Тьфу! Скверность!

Митрич *(слезает с печи, обувает валенки)*. О господи милослевый! На дворе лошадь-то, что ль? Уморил, я чай. Ишь, дуй его горой, налакался как. Доверху. О господи! Микола-угодник. *(Надевает шубу и идет на двор.)*

Никита *(садится)*. Ты меня, батюшка, прости. Выпил, это точно, ну, что ж делать? И курица пьет. Так, что ль? А ты меня прости. Что ж, Митрич — он не обижается, он уберет.

Анисья. Вправду ставить самовар-то?

Никита. Ставь. Родитель пришел, я с ним говорить хочу, чай пить буду. *(К Акулине.)* Покупку-то всю вынесла?

Акулина. Покупку? Свое взяла, а то в санях. Вот это на, не моя. *(Кидает на стол сверток и убирает в сундук покупку. Анютка смотрит, как Акулина укладывает; Аким не глядит на сына и убирает онучи и лапти на печь.)*

Анисья *(уходит с самоваром)*. И так полон сундук,— еще накупил.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Аким, Акулина, Анютка и Никита.

Никита *(берет на себя трезвый вид)*. Ты, батюшка, на меня не обижайся. Ты думаешь, я пьян.

Акулина *(достает и кладет на стол)*. Ну на, что их смотреть-то?

Анютка. Уж хороша же! Эта не хуже Степанидиной.

Акулина. Степанидиной? Куда Степанидина против этой годится. *(Оживляясь и развертывая.)* Глянька сюда, доброта-то... Французская.

Анютка. И ситец же нарядный! У Машутки такой, только тот светлее, по лазоревому полю. Эта страсть хороша.

Никита. То-то!

Анисья проходит сердито в чулан, возвращается с трубой и столешником и подходит к столу.

Анисья. Ну вас, разложили.

Никита. Ты глянь-ка сюда!

Анисья. Чего мне глядеть! Не видала я, что ль? Убери ты. *(Смахивает рукой на пол полушальчик.)*

Акулина. Ты что швыряешься?.. Ты своим швыряй. *(Поднимает.)*

Никита. Анисья! Мотри!

Анисья. Чего смотреть-то?

Никита. Ты думаешь, я тебя забыл. Гляди сюда. *(Показывает сверток и садится на него.)* Тебе гостинец. Только заслужи. Жена, где я сижу?

Анисья. Будет куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что ж, ты на чьи деньги гуляешь да своей жирехе гостинцы купляешь? На мои.

Акулина. Как же, твои! Украсть хотела, да не пришлось. Уйди, ты! *(Хочет пройти, толкает.)*

Анисья. Ты что толкаешься-то? Я те толкану.

Акулина. Толкану? Ну-ка, сунься. *(Напирает на нее.)*

Никита. Ну, бабы, бабы. Буде! *(Становится между ними.)*

Акулина. Тоже лезет. Молчала бы, про себя бы знала. Ты думаешь, не знают?

Анисья. Что знают? Сказывай, сказывай, что знают!

Акулина. Дело про тебя знаю.

Анисья. Шлюха ты, с чужим мужем живешь.

Акулина. А ты своего извела.

Анисья *(бросается на Акулину)*. Брешешь.

Никита *(удерживает)*. Анисья! Забыла?

Анисья. Что стращаешь? Не боюсь я тебя.

Никита. Вон! *(Поворачивает Анисью и выталкивает.)*

Анисья. Куда я пойду? Не пойду я из своего дома.

Никита. Вон, говорю. И ходить не смей.

Анисья. Не пойду. *(Никита толкает. Анисья плачет и кричит, цепляясь за дверь.)* Что ж это, из своего дома взашей гонят? Что ж ты, злодей, делаешь? Думаешь, на тебя и суда нет. Погоди ж ты!

Никита. Ну, ну!

Анисья. К старосте, к уряднику пойду.

Никита. Вон! говорю. *(Выталкивает.)*

Анисья *(из-за двери)*. Удавлюсь!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Никита, Акулина, Анютка и Аким.

Никита. Небось.

Анютка. О-о-о! Матушка милая, родимая. *(Плачет.)*

Никита. Как же, испугался я ее очень. Ты чего плачешь? Придет небось! Поди самовар погляди.

Анютка выходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Никита, Аким и Акулина.

Акулина *(собирает покупку, складывает)*. Ишь, подлая, загваздала как! Погоди ж ты, я ей безрукавку изрежу. Пра, изрежу.

Никита. Выгнал я ее, ну чего ж ты?

Акулина. Новую шаль испачкала. Пра, сука, кабы она не ушла, я бельмы-то бы ей повыдрала.

Никита. Будет серчать. Тебе что серчать-то? Кабы я ее любил?

Акулина. Любил? Есть кого любить, толстомордую-то. Бросил бы ее тогда, ничего б не было. Согнал бы ее к черту. А дом все равно мой и деньги мои. Тоже хозяйка, говорит, хозяйка, какая она мужу хозяйка? Душегубка она, вот кто. С тобой то же сделает.

Никита. Ох, бабий кадык не заткнешь ничем. Что болтаешь, сама не знаешь.

Акулина. Нет, знаю. Не стану с ней жить. Сго-

ню со двора. Не может она со мной жить. Хозяйка тоже. Не хозяйка она, острожная шкура.

Никита. Да буде. Чего тебе с ней делить? Ты на нее не гляди. На меня гляди. Я хозяин. Что хочу, то и делаю. Ее разлюбил, тебя полюбил. Кого хочу, того люблю. Моя власть. А ей арест. Она у меня вот где. *(Показывает под ноги.)* Эх, гармошки нет!

На печи калачи,
На приступке каша,
А мы жить будем
И гулять будем;
А смерть придет,
Помирать будем.
На печи калачи,
На приступке каша...

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Митрич (входит, раздевается и лезет на печь).

Митрич. Подрались, видно, опять бабы-то! Поцапались. О господи! Микола милослевый.

Аким *(сидит с краю на печи, достает онучи, лапти и обувается)*. Пролезай, пролезай в угол-то.

Митрич *(лезет)*. Все не разделят, видно. О господи!

Никита. Достань наливку-то. С чаем выпьем.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка *(входит; к Акулине)*. Нянька, самовар уходить хочет.

Никита. А мать где?

Анютка. Она в сенцах стоит, плачет.

Никита. То-то. Зови ее, вели самовар несть. Да давай, Акулина, посуду-то.

Акулина. Посуду-то? Ну что ж. *(Собирает посуду.)*

Никита *(достает наливку, баранки, селедки)*. Это, значит, себе, это бабе пряжа, карасин там в сенях. А вот и деньги. Постой. *(Берет счеты.)* Сейчас смекну. *(Кидает.)* Мука пшеничная восемь гривен, масло постное... Батюшке 10 рублев. Батюшка! Иди чай пить.

Молчание. Аким сидит на печи и перевивает оборы.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья.

Анисья (*вносит самовар*). Куда ставить-то?

Никита. Ставь на стол. Что, али сходила к старосте? То-то, говори да и откусывай. Ну, будет серчать-то. Садись, пей. (*Наливает ей рюмку.*) А вот и гостинчик тебе. (*Подает сверток, на котором сидел. Анисья берет молча, качая головой.*)

Аким (*слезает и надевает шубу; подходит к столу, кладет на него бумажку*). На деньги твои. Прибери.

Никита (*не видит бумажку*). Куда собрался одемши-то?

Аким. А пойду, пойду я, значит, простите Христа ради. (*Берет шапку и кушак.*)

Никита. Вот-те на! Куда пойдешь-то ночным делом?

Аким. Не могу я, значит, тае, в вашем доме, тае, не могу, значит, быть, быть не могу, простите.

Никита. Да куда ж ты от чаю-то?

Аким (*подпоясывается*). Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя, значит, тае, нехорошо, Микишка, в доме, тае, нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.

Никита. Ну, буде толковать. Садись чай пить.

Анисья. Что ж это, батюшка, перед людьми стыдно будет. На что ж ты обижаешься?

Аким. Обиды мне, тае, никакой нет, обиды нет, значит, а только что, тае, вижу я, значит, что к погибели, значит, сын мой, к погибели сын, значит.

Никита. Да какая погибель? Ты докажь.

Аким. Погибель-то, погибель, весь ты в погибели. Я тебе летось что говорил?

Никита. Да мало ты что говорил.

Аким. Говорил я тебе, тае, про сироту, что обидел ты сироту, Марину, значит, обидел.

Никита. Эк помянул. Про старые дрожжи не поминать двожды, то дело прошло...

Аким (*разгорячась*). Прошло? Не, брат, это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет, за собою тянет, и завяз ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе. Завяз ты, погруз ты, значит.

Никита. Садись чай пить, вот и разговор весь.

Аким. Не могу я, значит, тае, чай пить. Потому

от скверны от твоей, значит, тае, гнусно мне, дюже гнусно. Не могу я, тае, с тобой чай пить.

Никита. И, канителит. Иди к столу-то.

Аким. Ты в богатстве, тае, как в сетях. В сетях ты, значит. Ах, Микишка, душа надобна!

Никита. Какую ты имеешь полную праву в моем доме меня упрекать? Да что ж ты в самом деле пристал? Что я тебе мальчик дался, за виски драть! Нынче уж это оставили.

Аким. Это точно, слыхал я нынче, что и тае, что и отцов за бороды трясут, значит, да на погибель это, на погибель, значит.

Никита *(сердито)*. Живем, у тебя не просим, а ты ж к нам пришел с нуждой.

Аким. Деньги? Деньги твои вон они. Побираться, значит, пойду, а не тае, не возьму, значит.

Никита. Да буде. И что серчаешь, компанию расстраиваешь. *(Удерживает за руку)*.

Аким *(взвизгивает)*. Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости в твоей. Тьфу, прости господи! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Никита. Вот на!

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Аким.

Аким *(отворяет дверь)*. Опамятуйся, Микита. Душа надобна. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Акулина *(берет чашки)*. Что ж, наливать, что ль?

Все молчат.

Митрич *(рычит)*. О господи, помилуй мя грешного!

Все вздрагивают.

Никита *(ложится на лавку)*. Ох, скучно, скучно, Акулька! Где ж гармошка-то?

Акулина. Гармошка-то? Ишь, хватился. Да ты ее чинить отдал. Я налила, пей.

Никита. Не хочу я. Тушите свет... Ох, скучно мне, как скучно! *(Плачет.)*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЛИЦА ЧЕТВЕРТОГО ДЕЙСТВИЯ

Никита.
Матрена.
Анисья.
Анютка.
Митрич.
Соседка.
Кума.
Сват — угрюмый мужик.

Осень. Вечер. Месяц светит. Внутренность двора. В середине сенцы, направо теплая изба и ворота, налево холодная изба и погреб. В избе слышны говор и пьяные крики. Соседка выходит из сеней, манит к себе Анисьину куму.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кума и соседка.

Соседка. Чего ж Акулина-то не вышла?

Кума. Чего не вышла? И рада бы вышла, да недосуг, слышь. Приехали сваты невесту смотреть, а она, матушка моя, в холодной лежит и глаз не кажет, сердечная.

Соседка. Да что ж так?

Кума. С глазу, говорит, живот схватило.

Соседка. Да неужто?!

Кума. А то что ж. *(Шепчет на ухо.)*

Соседка. Ну? Вот грех-то. А ведь дознаются сваты.

Кума. Где ж им дознаться. Пьяные все. Да больше за приданым гонятся. Легко ли, дают за девкой-то две шубы, матушка моя, расстегаев шесть, шаль французскую, холстов тоже много что-то да денег, сказывали, две сотни.

Соседка. Ну, уж это и деньгам не рад будешь. Срамота такая.

Кума. Шш... Сват, никак.

Замолкают и входят в сени.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Сват один выходит из сеней, икает.

Сват. Упарился. Жарко страсть. Простудиться маленько. *(Стоит, отдувается.)* И бог е знает как... что-то не того, не радует... Ну, да как старуха...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Сват и Матрена.

Матрена *(выходит из сеней же)*. А я смотрю: где сват, где сват? А ты, родной, во где... Ну, что ж, родимый, слава те господи, всё честь честью. Сватать не хвастать. А я хвастать и не училась. А как пришли вы за добрым делом, так, даст бог, и век благодарить будете. А невеста-то, ведашь, на редкость. Такой девки в округе поискать.

Сват. Оно так, да насчет денег не сморгать бы.

Матрена. А насчет денег не толкуй. Что ей от родителей награждение было, все при ней. По нонешнему времени, легко ли, три полста.

Сват. Мы и не обижаемся, а свое детище. Все как получше хочется.

Матрена. Я тебе, сват, истинно говорю: кабы не я, в жисть бы тебе не найти. У них от Кормилиных тоже засылка была, уж я застояла. А насчет денег — верно сказываю: как покойник, царство небесное, помирал, так и приказывал, чтоб в дом вдова Микиту приняла, потому мне через сына все известно, а денежки, значит, Акулине. Ведь другой бы покорыствовался, а Микита все дочиста отдает. Легко ли, деньжищи какие.

Сват. Народ болтает, денег больше за ней приказано. Малый-то тоже провор.

Матрена. И, голубчики белые. В чужих руках ломоть велик; что было, то и дают. Я тебе сказываю, ты все четки брось. Закрепляй тверже. Девка-то какая; как бобочек хорошая.

Сват. Оно так. Мы одно с бабой мекаем насчет девки-то. Что ж не вышла? Думаем, что ж, как хворая?

Матрена. И, и... Она-то хворая? Да против ней в округе нет. Девка как литая — не ущипнешь. Да ведь ты намедни видел. А работать страсть. С глушинкой она, это точно. Ну, да червоточинка красному яблочку

не покор. А что не вышла-то, это, ведашь, с глазу. Сделано над ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, ведашь, что сговор, ну, и напущено. Да я отговор знаю. Завтра встанет девка. Ты насчет девки не сумлевайся.

Сват. Да что ж, дело полажено.

Матрена. То-то, ты уж того, и не пяться. Да меня не забудь. Хлопотала я тоже. Уж ты не оставь...

Голос бабы из сеней. Ехать так ехать, иди, что ли, Иван.

Сват. Сейчас. *(Уходит.)*

Толпятся в сенях, уезжают.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анисья и Анютка.

Анютка *(выбегает из сеней и манит к себе Анисью)*. Матушка!

Анисья *(оттуда)*. Чего?

Анютка. Мамушка, подь сюда, а то услышат. *(Отходит с ней под сарай.)*

Анисья. Ну чего? Где Акулина-то?

Анютка. Она в амбар ушла. Что она там делает, страсть! Однова дыхнуть, нет, говорит, мочи терпеть. Закричу, говорит, на весь голос. Однова дыхнуть.

Анисья. Авось подождет. Дай гостей проводим.

Анютка. Ох, мамушка! Тяжко ей как. Да и серчает. Напрасно, говорит, они меня пропивают. Я, говорит, не пойду замуж, я, говорит, помру. Мамушка, как бы она не померла! Страсть, я боюсь!

Анисья. Небось не помрет; а ты не ходи к ней. Иди.

Анисья и Анютка уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Митрич *(один; идет от ворот и принимается подбирать натрушенное сено)*. О господи, Микола милослевый! Винища-то что выдули. Да и духу же напустили. Аж во дворе воняет. Да нет, не хочу, ну его! Вишь, нашвыряли сено-то! Есть не едят — только копают. Глядишь, вязанка. Дух-то! Ровно под носом. Ну его! *(Зевает.)* Спать время. Да неохота в избу идти. Так вокруг носу и вьется. Духовита ж, проклятая.

Слышно — уезжают.

Ну, уехали. О господи, Микола милослевый! Тоже хомутаются, друг дружку околпачивают. А пустое все.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Митрич и Никита.

Никита *(входит)*. Митрич! Иди, что ли, на печку, я подберу.

Митрич. Ну что ж; ты овцам кинь. Что ж, проводили?

Никита. Проводили, да неладно все. Уж и не знаю как быть.

Митрич. Эка дерьма! Чего ж тут. На то спитательный. Там кто хошь его вырони, он все подберет. Давай сколько хошь, не спрашивают. Да еще деньги дают. Только поди в кормилицы. Нынче это просто.

Никита. Ты, Митрич, смотри, если что, лишнего не болтай.

Митрич. А мне что. Заметай след, как знаешь. Эка винищем от тебя разит как. Пойти в избу. *(Уходит, зевая.)* О господи!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Никита долго молчит; садится на сани.

Никита. Ну дела!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Никита и Анисья.

Анисья *(выходит)*. Ты где ж тут?

Никита. Здеся.

Анисья. Чего сидишь? Ждать неколи. Сейчас выносить надо.

Никита. Что ж делать будем?

Анисья. Я тебе сказывала что. То и делай.

Никита. Да вы бы в воспитательный, коли что.

Анисья. Возьми да и неси, коли тебе охота. На пакости-то лаком. А на разделку-то слаб, вижу.

Никита. Что делать-то?

Анисья. Говорю, поди в погреб, яму вырой.

Никита. Да вы бы так как-нибудь.

Анисья *(передразнивая его)*. Так как-нибудь. Нельзя, видно, так-то. А ты бы загодя думал. Иди, куда посылают.

Никита. Ах, дела, дела!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Анютка.

Анютка. Мамушка! Бабка зовет. Должно, у няньки робеночек, однова дыхнуть, закричал.

Анисья. Что брешешь, пралик тебя расшиби. Котята там пищат. Иди в избу да спи. А то я тебя.

Анютка. Мамушка, милая, пра, ей-богу...

Анисья *(замахивается на нее)*. Я тебя! Чтоб духу твоего не слыхала!

Анютка убегает.

Анисья *(Никите)*. Поди, делай, что говорят. А то смотри! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Никита один, долго молчит.

Никита. Ну, дела! Ох, эти бабы. Беда! Ты, говорит, загодя думал бы. Когда загодя думать-то? Когда думать-то? Что ж, летось пристала эта Анисья. Ну, что ж? Разве я монах? Помер хозяин, что ж, я и грех прикрыл, как должно. Тут моей причины нет. Разве мало бывает так-то? А тут порошки эти. Разве я на это склонял ее? Да кабы я знал, я бы ее, суку, убил тогда! Право, убил бы! Участником в этих пакостях сделала, паскудница! И опостылела ж она мне с этого раза. Как мне мать сказала тогда, опостылела, опостылела она мне, не смотрели б на нее глаза. Ну, как с ней жить? И пошло это у нас!.. Стала эта девка вешаться. Что ж мне? Не я, так другой. А оно вон что! Опять-таки моей причины нет никакой. Ох, дела!.. *(Сидит задумавшись.)* Смелы ж эти бабы,— что придумали. Да не пойду я на это.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Никита и Матрена (с фонарем и скребкой впопыхах выходит).

Матрена. Ты что ж сидишь, как курица на насесте? Тебе что баба велела? Готовь дело-то.

Никита. Да вы что ж делать-то будете?

Матрена. Да мы знаем, что делать. Ты-то свое дело справляй.

Никита. Запутляете вы меня.

Матрена. Ты что ж? Али пятиться думаешь? До чего дошло, ты и пятиться.

Никита. Ведь это какое дело! Живая душа тоже.

Матрена. Э, живая душа! Чего там, чуть душа держится. А куда его деть-то? Поди, понеси в воспитательный,— все одно помрет, а помолвка пойдет, сейчас расславят, и сядет у нас девка на руках.

Никита. А как узнают?

Матрена. В своем дому да не сделать дела? Так сделаем, что и не попахнет. Только делай, что велю. А то наше дело бабье, тоже без мужика никак нельзя. На-ка скребочку-то, да слезь, да и справь там. А я посвечу.

Никита. Что справлять-то?

Матрена *(шепотом)*. Ямку выкопай. А тогда вынесем и живо приберем там. Вон она опять кличет. Иди, что ль! А я пойду.

Никита. А что ж, помер он?

Матрена. Известно, помер. Только живей надо. А то народ не полегся. Услышат, увидят,— им все, подлым, надо. А урядник вечор проходил. А ты вот что. *(Подает скребку.)* Слезь в погреб-то. Там в уголку выкопай ямку, землица мягкая, тогда опять заровняешь. Земля-матушка никому не скажет, как корова языком слижет. Иди же. Иди, родной.

Никита. Запутляете вы меня. Ну вас совсем. Право, уйду. Делайте одни, как знаете.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья.

Анисья *(из двери)*. Что ж, выкопал он, что ли?

Матрена. Ты что ж ушла? Куда дела-то его?

Анисья. Веретьем прикрыла. Не слыхать будет. Что ж он, выкопал?

Матрена. Не хочет!

Анисья *(выскакивает в бешенстве)*. Не хочет! А в остроге вшей кормить хочет?! Сейчас пойду, все уряднику скажу. Пропадать заодно. Сейчас все скажу.

Никита *(оторопевши)*. Что скажешь-то?

Анисья. Что? Все скажу! Деньги кто взял? Ты!

Никита молчит.

А яду кто давал! Я давала! Да ты знал, знал, знал! С тобой в согласье была!

Матрена. Да будет. Ты, Микишка, что костричишься? Ну, что ж делать? Потрудиться надо. Иди, ягодка.

Анисья. Ишь ты, чистяк какой! Не хочет! Надругался ты надо мной, да будет. Поездил ты на мне, да и мой черед пришел. Иди, говорю, а то я то сделаю!.. На скребку-то, на! Иди!

Никита. Да ну же; что пристала? *(Берет скребку, но жмется.)* Не захочу — не пойду.

Анисья. Не пойдешь? *(Начинает кричать.)* Народ! Э-э!

Матрена *(закрывает ей рот)*. Что ты! Очумела! Он пойдет... Иди, сынок, иди, роженый.

Анисья. Сейчас караул закричу.

Никита. Да будет! Эх, народ этот. Да вы живей, что ли. Уж заодно. *(Идет к погребу.)*

Матрена. Да, уж дело такое, ягодка: умел гулять, умей и концы хоронить.

Анисья *(всё в волнении)*. Измывался он надо мной с висюгой своей! Да будет! Пусть не я одна. Пусть-ка и он душегубец будет. Узнает, каково.

Матрена. Ну, ну, распалилась. А ты, деушка, не серчай, а потихоньку да помаленьку, как получше. Иди к девке-то. Он потрудится. *(Идет за ним с фонарем. Никита влезает в погреб.)*

Анисья. Ему и задушить велю отродье свое поганое. *(Всё в волнении.)* Измучилась я одна, Петровы кости-то дергаючи. Пускай и он узнает. Не пожалею себя; сказала, не пожалею!

Никита *(из погреба)*. Посвети-ка, что ль!

Матрена *(светит; к Анисье)*. Копает. Иди неси.

Анисья. Постой над ним. А то он, подлый, уйдет. А я пойду вынесу.

Матрена. Мотри, окрестить не забудь. А то я потружусь. Крестик-то есть?

Анисья. Найду, я знаю как. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Матрена (одна) и Никита (в погребе).

Матрена. Тоже острабучилась как баба. Да и то сказать, обидно. Ну, да слава богу, дай это дело при-

кроем, и концы в воду. Спихнем девку без греха. Останется сынок жить покойно. Дом, слава богу, полная чаша. Тоже и меня не забудет. Без Матрены что б они были? Ничего б им не обдумать. *(В погреб.)* Готово, что ли, сынок?

Никита *(вылезает, голова видна).* Чего ж там? Несите, что ль! Что валандаетесь? Делать так делать.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Анисья. Матрена идет к сеням и встречает Анисью. Анисья выходит с ребенком, завернутым в тряпье.

Матрена. Что ж, окрестила?

Анисья. А то как же? Насилу отняла,— не дает. *(Подходит и подает Никите.)*

Никита *(не берет).* Да ты сама снеси.

Анисья. На, бери, говорю. *(Кидает ему ребенка.)*

Никита *(подхватывает).* Живой! Матушка родимая, шевелится! Живой! Что ж я с ним буду...

Анисья *(выхватывает ребенка у него из рук и кидает в погреб).* Задуши скорей, не будет живой. *(Сталкивает Никиту вниз.)* Твое дело, ты и прикончи.

Матрена *(садится на приступку).* Жалостлив он. Трудно ему, сердечному. Ну, да что ж! Его грех тоже. *(Анисья стоит над погребом. Матрена садится на приступок крыльца, поглядывает на нее и рассуждает.)* И-и-и как испужался! Ну, да что ж; хоть и трудно, помимо-то нельзя. Куда денешься-то? Тоже, подумаешь, как другой раз просят детей! Ан, глядь, бог не дает, все мертвеньких рожают. Вон хоть бы попадья. А тут не надо его, тут и живой. *(Глядит к погребу.)* Должно, покончил. *(К Анисье.)* Ну что?

Анисья *(глядя в погреб).* Доской прикрыл, на доску сел. Кончил, должно.

Матрена. О-ох! И рад бы не грешить, а что сделаешь?

Никита *(вылезает, трясется весь).* Жив все! Не могу! Жив!

Анисья. А жив, так куда ж ты? *(Хочет остановить его.)*

Никита *(бросается на нее).* Уйди ты! Убью я тебя! *(Схватывает ее за руку, она вырывается, он бежит за ней с скребкой. Матрена бросается к нему навстречу, останавливает его. Анисья убегает на крыльцо. Матре-*

на хочет отнять скребку. Никита на мать.) Убью, и тебя убью, уйди! *(Матрена убегает к Анисье на крыльцо. Никита останавливается.)* Убью. Всех убью!

Матрена. С испугу это. Ничего, сойдет это с него.

Никита. Что ж это они сделали? Что они со мной сделали? Пищал как... Как захрустит подо мной. Что они со мной сделали! И жив, все, право, жив! *(Молчит и прислушивается).* Пищит... Во пищит. *(Бежит к погребу.)*

Матрена *(к Анисье).* Идет, видно, зарыть хочет. Микита, тебе бы фонарь.

Никита *(не отвечая, слушает у погреба).* Не слыхать. Примстилось. *(Идет прочь и останавливается.)* И как захрустят подо мной косточки. Кр... кр... Что они со мной сделали? *(Опять прислушивается.)* Опять пищит, право, пищит. Что ж это? Матушка, а матушка! *(Подходит к ней.)*

Матрена. Что, сынок?

Никита. Матушка родимая, не могу я больше. Ничего не могу. Матушка родимая, пожалей ты меня!

Матрена. Ох, напугался же ты, сердечный. Поди, поди. Винца, что ль, выпей для смелости.

Никита. Матушка родимая, дошло, видно, до меня. Что вы со мной сделали? Как захрустят эти косточки, да как запищит!.. Матушка родимая, что вы со мной сделали! *(Отходит и садится на сани.)*

Матрена. Поди, родной, выпей. Оно, точно, ночным делом жутость берет. А дай срок, ободняет, да, ведашь, денек-другой пройдет, и думать забудешь. Дай срок, девку отдадим и думать забудем. А ты выпей, выпей поди. Я уж сама приберу в погребе-то.

Никита *(встряхивается).* Вино осталось там? Не запью ли?! *(Уходит. Анисья, стоявшая все время у сеней, молча сторонится.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Матрена и Анисья.

Матрена. Иди, иди, ягодка, а уж я потружусь, полезу сама, закопаю. Скребку-то куда он тут бросил? *(Находит скребку, спускается в погреб до половины.)* Анисья, подь-ка сюда, посвети, что ль?

Анисья. А он-то что ж?

Матрена. Да напугался больно. Напорно уж больно ты налегла на него. Не замай, опамятуется. Бог с ним, уж я сама потружусь. Фонарь-то поставь тут. Я увижу. *(Матрена скрывается в погребе.)*

Анисья *(на дверь, куда ушел Никита)*. Что, догулялся? Широк ты был, теперь, погоди, сам узнаешь каково. Пыху-то сбавишь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Никита (выскакивает из сеней к погребу).

Никита. Матушка, а матушка?

Матрена *(высовывается из погреба)*. Чего, сынок?

Никита *(прислушивается)*. Не зарывай, живой он. Разве не слышишь? Живой! Во... пищит... Во, внятно...

Матрена. Да где ж пищать-то? Ведь ты его в блин расплющил. Всю головку раздребезжил.

Никита. Что ж это? *(Затыкает уши.)* Все пищит! Решился я своей жизни. Решился! Что они со мной сделали?! Куда уйду я?! *(Садится на приступки.)*

Занавес

ВАРИАНТ

Вместо явлений двенадцатого — четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого действия четвертого можно читать следующий вариант.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Изба первого действия.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анютка раздетая лежит на коннике под кафтаном, Митрич сидит на хорах и курит.

Митрич. Ишь, духу-то напустили, в рот им ситного пирога с горохом. Мимо лили добро-то. И табаком не заглушишь. Так в носу и вертит. О господи! Спать, видно. *(Подходит к лампочке, хочет завернуть.)*

Анютка *(вскакивает, садится)*. Дедушка, не туши, голубчик!

Митрич. Чего не тушить?

Анютка. А на дворе-то гомонили как. *(Прислушивается).* Слышишь, опять в амбар пошли?

Митрич. Тебе-то чего? Авось тебя не спрашивают. Ложись да и спи. А я вот заверну свет. *(Завертывает.)*

Анютка. Дедушка, золотой! не гаси совсем. Хоть в мышиный глазок оставь, а то жуть.

Митрич *(смеется).* Ну, ладно, ладно. *(Присаживается подле нее.)* Чего жутко-то?

Анютка. Как не жутко, дедушка! Нянька как билась. Об рундук головой билась. *(Шепотом.)* Я ведь знаю... У ней робеночек родиться хочет... Родился уж, никак...

Митрич. Эка егоза, залягай тебя лягушки. Все тебе знать надо. Ложись, да и спи.

Анютка ложится.

Вот так-то. *(Закрывает ее.)* Вот так-то. А то много знать будешь, скоро состаришься.

Анютка. А ты на печку пойдешь?

Митрич. А то куды ж? То-то глупая, посмотрю я. Все ей знать надо. *(Закрывает ее еще и поднимается идти.)* Вот так-то лежи, да и спи. *(Идет к печи.)*

Анютка. Разочек крикнул, а теперь не слыхать.

Митрич. О господи, Микола милослевый!.. Чего не слыхать-то?

Анютка. Робеночка.

Митрич. А нет его, так и не слыхать.

Анютка. А я слышала, однова дыхнуть, слышала. Тоооненько так.

Митрич. Много ты слышала. А слышала так, как вот такую-то девчонку, как ты, детосека в мешок посадил, да и ну ее.

Анютка. Какой такой детосека?

Митрич. А вот такой самый. *(Лезет на печь.)* И хороша ж печка нынче, тепла. Любо! О господи, Микола милослевый!

Анютка. Дедушка! Ты заснешь?

Митрич. А то что ж ты думала — песни играть буду?

Молчание.

Анютка. Дедушка, а дедушка! Копают! Ей-богу, копают, в погребе копают, слышь! Однова дыхнуть, копают!

Митрич. Чего не вздумает. Ночью копают. Кто копает? Корова чешется, а ты — копают! Спи, говорю, а то сейчас свет потушу.

Анютка. Голубчик, дедушка, не туши. Не буду. Ей-богу, не буду, однова дыхнуть, не буду. Страшно мне.

Митрич. Страшно? Ты не бойся ничего, вот и не будет страшно. А то сама боится и страшно, говорит. Как же не страшно, как ты боишься? Эка девчонка глупая какая.

Молчание. Сверчок.

Анютка *(шепотом)*. Дедушка! А дедушка! Ты заснул?

Митрич. Ну, чего еще?

Анютка. Кака же така детосека?

Митрич. А вот така. Вот как попадется такая же, как ты,— не спит, он придет с мешком, да девчонку шварк в мешок, да сам туда же с головой, подымет ей рубашонку, да и ну хлестать.

Анютка. Да чем же он хлестает?

Митрич. А веник возьмет.

Анютка. Да он там не увидит, в мешке-то.

Митрич. Небось увидит.

Анютка. А я его укушу.

Митрич. Нет, брат, его не укусишь.

Анютка. Дедушка, идет кто-то! Кто это? Ай, матушки родимые! Кто это?

Митрич. Идет, так идет. Чего ж ты? Мать, я чай, идет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Анисья (входит).

Анисья. Анютка!

Анютка притворяется, что спит.

Митрич!

Митрич. Чего?

Анисья. Что свет-то жжете? Мы в холодной ляжем.

Митрич. Да вот только убрался. Я потушу.

Анисья *(ищет в сундуке и ворчит)*. Как надо, его никак и не найдешь.

Митрич. Да ты чего ищешь-то?

Анисья. Крест ищу. Окрестить надо. Помилуй бог, помрет! Некрещеный-то! Грех ведь!

Митрич. А то как же, известно, порядок надо... Что, нашла?

Анисья. Нашла. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Митрич и Анютка.

Митрич. То-то, а то бы я свой дал. О господи!

Анютка *(вскакивает и дрожит)*. О-о, дедушка! Не засыпай ты, Христа ради. Страшно как!

Митрич. Да чего страшно-то?

Анютка. Помрет, должно, робеночек-то? У тетки Арины так же бабка окрестила,— он и помер.

Митрич. Помрет — похоронят.

Анютка. Да, может, он бы и не помер, да бабка Матрена тут. Ведь я слышала, что бабка-то говорила, однова дыхнуть, слышала.

Митрич. Чего слышала? Спи, говорю. Закройся с головой, да и все.

Анютка. А кабы жив был, я б его нянчила.

Митрич *(рычит)*. О господи!

Анютка. Куды ж они его денут?

Митрич. Туда и денут, куда надо. Не твоя печаль. Спи, говорю. Вот мать придет — она тебя!

Молчание.

Анютка. Дедушка! А ту девчонку, ты сказывал, ведь не убили же?

Митрич. Про ту-то? О, та девчонка в дело вышла.

Анютка. Как ты, дедушка, сказывал, нашлито ее?

Митрич. Да так и нашли.

Анютка. Да где ж нашли? Ты скажи.

Митрич. В ихнем доме и нашли. Пришли в деревню, стали солдаты шарить по домам, глядь — эта самая девчонка на пузе лежит. Хотели ее пришибить. Да так мне скучно стало, взял я ее на руки. Так ведь не дается. Отяжелела, как пять пудов в ней сделалось; а руками цапается за что попало, не отдерешь никак. Ну, взял я ее, да по головке, по головке. А шаршавая, как еж. Гладить, гладить — затихла. Помочил сухари-

ка, дал ей. Поняла-таки. Погрызла. Что с ней делать? Взяли ее. Взяли, стали кормить да кормить, да так привыкла, с собой в поход взяли, так с нами и шла. Хороша девчонка была.

Анютка. Что ж, а некрещеная?

Митрич. А *кто е знает. Сказывали, что не вполне.* Потому народ ненашенский.

Анютка. Из немцов?

Митрич. Эка ты: из немцов. Не из немцов, а азиаты. Они всё равно как жиды, а не жиды тоже. Из поляков, а азиаты. Крудлы, круглы прозвище им. Да уж забыл я. Девчонку-то мы Сашкой прозвали. Сашка, а хороша была. Ведь вот все забыл, а на девчонку, в рот ей ситного пирога с горохом, как сейчас гляжу. Только и помню из службы из всей. Как пороли, помню, да вот девчонка в памяти. Повиснет, бывало, на шее, и несешь ее. Такая девчонка была, что надо лучше, да некуда. Отдали потом. Ротного жена в дочери взяла. И в дело вышла. Жалели как солдаты!

Анютка. А вот, дедушка, тоже батя, я помню, как помирал. Ты еще не жил у нас. Так он позвал Микиту, да и говорит, прости меня, говорит, Микита... а сам заплакал. *(Вздыхает.)* Тоже как жалостно.

Митрич. А вот то-то и оно-то...

Анютка. Дедушка, а дедушка. Вот опять шумят чтой-то в погребе. Ай, матушки, сестрицы-голубушки! Ох, дедушка, сделают они что над ним. Загубят они его. Махонький ведь он... О-о! *(Закрывается с головой и плачет.)*

Митрич (*прислушивается*). И впрямь что-то пакостят, дуй их горой. А пакостницы же бабы эти! Мужиков похвалить нельзя, а уж бабы... Эти как звери лесные. Ничего не боятся.

Анютка (*поднимается*). Дедушка, а дедушка!

Митрич. Ну, чего еще?

Анютка. Намедни прохожий ночевал, сказывал, что младенец помрет — его душка прямо на небу пойдет. Правда это?

Митрич. Кто е знает, должно так. А что?

Анютка. Да хоть бы и я померла. *(Хнычет.)*

Митрич. Помрешь, из счета вон.

Анютка. До десяти годов все младенец, душа к богу, может, еще пойдет, а то ведь изгадишься.

Митрич. Еще как изгадишься-то! Вашей сестре

как не изгадиться? Кто вас учит? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность одну. Я хоть немного учен, а кое-что да знаю. Не твердо, а все не как деревенска баба. Деревенска баба что? Слякоть одна. Вашей сестры в России большие миллионы, а все, как кроты слепые,— ничего не знаете. Как коровью смерть опахивать, привороты всякие, да как под насест ребят носить к курам — это знают.

Анютка. Мамушка и то носила.

Митрич. А то-то и оно-то. Миллионов сколько баб вас да девок, а все, как звери лесные. Как выросла, так и помрет. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужик — тот хоть в кабаке, а то и в за́мке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что? Она не то что про бога, она и про пятницу-то не знает толком, какая такая. Пятница, пятница, а спроси какая, она и не знает. Так, как щенята слепые ползают, головами в навоз тычатся. Только и знают песни свои дурацкие: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают...

Анютка. А я, дедушка, Вотчу до половины знаю.

Митрич. Знаешь ты много! Да и спросить с вас тоже нельзя. Кто вас учит? Только пьяный мужик когда вожжами поучит. Только и ученья. Уж и не знаю, кто за вас отвечать будет. За рекрутов так с дядьки или с старшо́го спросят. А за вашу сестру и спросить не с кого. Так, беспастушная скотина, озорная самая, бабы эти. Самое глупое ваше сословие. Пустое самое ваше сословие.

Анютка. А как же быть-то?

Митрич. А так и быть. Завернись с головой да и спи. О господи!

Молчание. Сверчок.

Анютка *(вскакивает)*. Дедушка! Кричит кто-то, непутем кто-то! Ей-богу, право, кричит. Дедушка, милый, сюда идет.

Митрич. Говорю, с головой укройся.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, Никита и Матрена.

Никита *(входит)*. Что они со мной сделали? Что они со мной сделали?!

Матрена. Выпей, выпей, ягодка, винца-то. *(Достает вино и ставит.)* Что ты?

Никита. Давай. Не запью ли?

Матрена. Тише! Не спят ведь. На, выпей.

Никита. Что ж это? Зачем вы это вздумали? Снесли бы куда.

Матрена *(шепотом)*. Посиди, посиди тут, выпей еще, а то покури. Оно разобьет мысль-то.

Никита. Матушка родимая, дошло, видно, до меня. Как запищит, да как захрустят эти косточки — кр... кр... не человек я стал.

Матрена. И-и! Что говоришь несуразно совсем. Оно точно — ночным делом жутость берет, а дай ободняет, денек-другой пройдет, и думать забудешь. *(Подходит к Никите, кладет ему руку на плечо.)*

Никита. Уйди от меня. Что вы со мной сделали?

Матрена. Да что ты, сынок, в самом деле. *(Берет его за руку.)*

Никита. Уйди ты от меня! Убью! Мне теперь всё нипочем. Убью!

Матрена. Ах, ах, напугался как! Да иди, что ль, спать-то.

Никита. Некуда мне идти. Пропал я!

Матрена *(качает головой)*. Ох, ох, поити уорать, а он обсидится, сойдет это с него. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Никита, Митрич, Анютка.

Никита *(сидит, закрыв лицо руками. Митрич и Анютка замерли)*. Пищит, право, пищит, во, во... внятно. Зароет она его, право, зароет! *(Бежит в дверь.)* Матушка, не зарывай, живой он...

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Матрена.

Матрена *(возвращаясь, шепотом)*. Да что ты, Христос с тобой! И что не примстится. Где же живому быть! Ведь и косточки-то все раздребезжены.

Никита. Давай еще вина. *(Пьет.)*

Матрена. Иди, сынок. Заснешь теперь, ничего.

Никита *(стоит, слушает)*. Жив все... во... пищит. Разве не слышишь? Во!

Матрена *(шепотом)*. Да нет же!

Никита. Матушка родимая! Решился я своей

жизни. Что вы со мной сделали! Куда уйду я? *(Выбегает из избы, и Матрена за ним.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Митрич и Анютка.

Анютка. Дедушка, милый, голубчик, задушили они его!

Митрич *(сердито)*. Спи, говорю. Ах ты, лягай тебя лягушки! Вот я тебя веником! Спи, говорю.

Анютка. Дедушка, золотой! Хватает меня ктой-то за плечушки, хватает ктой-то, лапами хватает. Дедушка, милый, однова дыхнуть, пойду сейчас. Дедушка золотой, пусти ты меня на печь! Пусти ты меня ради Христа... Хватает... хватает... А-а! *(Бежит к печке.)*

Митрич. Ишь натращали девчонку как. То-то пакостницы, лягай их лягушки. Ну! пролезай, что ль.

Анютка *(лезет на печь)*. Да ты не уходи.

Митрич. Куда я пойду? Лезь, лезь! О господи, Микола-угодник, матерь пресвятая богородица казанская... Натращали девчонку как. *(Прикрывает ее.)* То-то дурочка, право, дурочка... Натращали, право, паскудницы, в рот им ситного пирога с горохом.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЛИЦА ПЯТОГО ДЕЙСТВИЯ

Никита.
Анисья.
Акулина.
Аким.
Матрена.
Анютка.
Марина.
Муж Марины.
1-я девка.
2-я девка.
Урядник.
Извозчик.
Дружко.
Сваха.
Жених Акулины.
Староста.
Гости, бабы, девки, народ на свадьбе.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Гумно. На первом плане одонье, слева ток, справа сарай гуменный. Открыты ворота сарая; в воротах солома; в глубине виден двор и слышны песни и бубенцы. Идут по дорожке мимо сарая к избе две девки.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Две девки.

1-я девка. Вот видишь, как прошли, и полусапожек не замарали, а слободой-то беда! — грязно...

Останавливаются, отирают соломой ноги.

1-я девка *(глядит в солому и видит что-то)*. Это что ж тут?

2-я девка *(разглядывает)*. Митрич это, работник ихний. Вишь, налился как.

1-я девка. Да он не пил, никак?

2-я девка. До поднесенного дня, видно.

1-я девка. Глянь-ка, он, видно, сюда за соломой пришел. Вишь, и веревка в руках, да так и заснул.

2-я девка *(прислушивается)*. Всё еще величают. Должно, еще не благословляли. Акулина-то, сказывали, и выть не выла.

1-я девка. Мамушка сказывала, неохотой идет. Ей вотчим пригрозил, а то бы в жисть не пошла. Ведь про нее что болтали!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Марина догоняют девок.

Марина. Здорово, деушки!

Девки. Здорово, тетенька!

Марина. На свадьбу, миленькие?

1-я девка. Да уж отошла. Так, поглядеть.

Марина. Покличьте вы моего старика, Семена из Зуева. Знаете, я чай?

1-я девка. Как не знать? Родня он жениху, никак.

Марина. Как же, племянник моему хозяину-то жених-от.

2-я девка. Что ж сама не идешь? На свадьбу да не идти.

Марина. Неохота, деушка, да и недосуг. Ехать надо. Мы не на свадьбу и сбирались. Мы с овсом в город. Покормить остановились, а старика-то моего и зазвали.

1-я девка. Вы к кому же заехали? К Федорочу?

Марина. У него. Так я здесь постою, а ты покличь, миленькая, старика-то моего. Вызови, касатка.

Скажи: баба твоя, Марина, велела ехать; товарищи запрягают.

1-я девка. Что ж, ладно, коли сама не пойдешь.

Девки уходят по тропинке ко двору. Слышны песни и бубенцы.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Марина одна.

Марина (*задумывается*). Пойти бы ничего, да неохота, потому не видалась я с ним с той самой поры, как отказался он. Другой год. А взглянула бы глазком, как живет он с своей с Анисьей. Говорят люди — нелады у них. Баба она грубая, характерная. Поминал, я чай, не раз. Позарился на прокладную жизнь. Меня променял. Ну да бог с ним, я зла не помню. Тогда обидно было. Ах, больно было! А теперь перетерлось на себе — и забыла. А поглядела б его... (*Смотрит ко двору, видит Никиту.*) Вишь ты! Чего ж это он идет? Али девки ему сказали? Что ж это он от гостей ушел? Уйду я.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Марина и Никита (идет сначала повеся голову и, махая руками, бормочет).

Марина. Да и сумрачный же какой!

Никита (*видит Марину, узнает*). Марина! Друг любезный, Маринушка! Ты чего!

Марина. Я за стариком за своим.

Никита. Что ж на свадьбу не пришла? Посмотрела б, посмеялась на меня.

Марина. Чего ж мне смеяться-то? Я за хозяином пришла.

Никита. Эх, Маринушка! (*Хочет ее обнять.*)

Марина (*сердито отстраняется*). А ты, Микита, эту ухватку оставь. То было, да прошло. За хозяином пришла. У вас он, что ль?

Никита. Не поминать, значит, старого? Не велишь?

Марина. Старое нечего поминать. Что было, то прошло.

Никита. И не воротится, значит?

Марина. И не воротится. Да ты что ж ушел-то? Хозяин, да со свадьбы ушел.

Никита *(садится на солому)*. Что ушел-то? Эх, кабы знала ты да ведала!.. Скучно мне, Марина, так скучно, не глядели б мои глаза. Вылез из-за стола и ушел, от людей ушел, только бы не видать никого.

Марина *(подходит к нему ближе)*. Что ж так?

Никита. А то, что в еде не заем, в питье не запью, во сне не засплю. Ах, тошно мне, так тошно! А пуще всего тошно мне, Маринушка, что один я и не с кем мне моего горя размыкать.

Марина. Без горя, Микита, не проживешь. Да я свое переплакала — и прошло.

Никита. Это про прежнее, про старинное. Эх, друг, переплакала ты, а мне вот дошло!

Марина. Да что ж так?

Никита. А то, что опостылело мне все мое житье. Сам себе опостылел. Эх, Марина, не умела ты меня держать, погубила ты меня и себя тоже! Что ж, разве это житье?

Марина *(стоит у сарая, плачет и удерживается)*. Я на свое житье, Никита, не жалюсь. Мое житье — дай бог всякому. Я не жалюсь. Покаялась я тогда старику моему. Простил он меня. И не попрекает. Я на свою жизнь не обижаюсь. Старик смирный и желанный до меня; я его детей одеваю, обмываю. Он меня тоже жалеет. Что ж мне жалиться. Так, видно, бог присудил. А твое житье что ж? В богатстве ты...

Никита. Мое житье!.. Только свадьбу тревожить не хочется, а вот взял бы веревку, вот эту *(берет в руки веревку с соломы)*, да на перемете вот на этом перекинул бы. Да петлю расправил бы хорошенько, да влез на перемет, да головой туда. Вот моя жизнь какая!

Марина. Полно, Христос с тобой!

Никита. Ты думаешь, я в шутку? Думаешь, что пьян? Я не пьян. Меня нынче и хмель не берет. А тоска, съела меня тоска на отделку. Так заела, что ничто-то мне не мило! Эх, Маринушка, только я пожил, как с тобою, помнишь, на чугунке ночи коротали?

Марина. Ты, Микита, не вереди, где наболело. Я закон приняла и ты тож. Грех мой прощеный, а старое не вороши...

Никита. Что ж мне с своим сердцем делать? Куда деваться-то?

Марина. Чего делать-то? Жена у тебя есть, на

других не зарься, а свою береги. Любил ты Анисью, так и люби.

Никита. Эх, эта мне Анисья — полынь горькая, только она мне, как худая трава, ноги оплела.

Марина. Какая ни есть — жена. Да что толковать! Поди лучше к гостям да мне мужа покличь.

Никита. Эх, кабы знала ты все дела..., Да что говорить!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Никита, Марина, муж ее и Анютка.

Муж Марины *(выходит от двора красный, пьяный)*. Марина! Хозяйка! Старуха! Здесь ты, что ль?

Никита. Вот и твой хозяин идет, тебя кличет. Иди.

Марина. А ты что ж?

Никита. Я? Я полежу тут. *(Ложится в соломе.)*

Муж Марины. Где ж она!

Анютка. А вон она, дяденька, дле сарая.

Муж Марины. Чего стоишь? Иди на свадьбу-то! Хозяева велят тебе идти, честь сделать. Сейчас поедет свадьба, и мы пойдем.

Марина *(выходит навстречу мужу)*. Да неохота было.

Муж Марины. Иди, говорю. Выпьешь стаканчик. Петрунькю-шельмеца проздравишь. Хозяева обижаются, а мы во все дела поспеем. *(Муж Марины обнимает ее и, шатаясь, с ней вместе уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Никита и Анютка.

Никита *(поднимается и садится на соломе)*. Эх, увидал я ее, еще тошней стало. Только и было жизни, что с нею. Ни за что про что загубил свой век; погубил я свою голову! *(Ложится.)* Куда денусь? Ах! Расступись, мать сыра земля!

Анютка *(видит Никиту и бежит к нему)*. Батюшка, а батюшка! Тебя ищут. Все уже, и крестный, благословили. Однова дыхнуть благословили. Уж серчают.

Никита *(про себя)*. Куда денусь.

Анютка. Ты чего? Чего говоришь-то?

Никита. Ничего я не говорю. Что пристала?

Анютка. Батюшка! пойдем, что ль? (*Никита мол-*

чит. Анютка тянет за руку.) Батя, иди благословлять-то! Право слово, серчают, ругаются.

Никита *(выдергивает руку)*. Оставь!

Анютка. Да ну же!

Никита *(грозит ей вожжами)*. Ступай, говорю. Вот я тебя.

Анютка. Так я ж мамушку пришлю. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Никита один.

Никита *(поднимается)*. Ну как я пойду? Как я образ возьму? Как я ей в очи гляну? *(Ложится опять.)* Ох, кабы дыра в землю, ушел бы. Не видали б меня люди, не видал бы никого. *(Опять поднимается.)* Да не пойду я... Пропадай они совсем. Не пойду. *(Снимает сапоги и берет веревку; делает из нее петлю, прикидывает на шею.)* Так-то вот.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Никита и Матрена. Никита видит мать, снимает веревку с головы и ложится опять в солому.

Матрена *(подходит впопыхах)*. Микита! А, Микита? Вишь ты, и голоса не подает. Микита, что ж ты, аль захмелел? Иди, Микитушка, иди, иди, ягодка. Заждался народ.

Никита. Ах, что вы со мной сделали? Не человек я стал.

Матрена. Да чего ты? Иди, родной, честь честью благословенье сделай, да и к стороне. Ждет ведь народ-от.

Никита. Как мне благословлять-то?

Матрена. Известно как. Разве не знаешь?

Никита. Знаю я, знаю я. Да кого благословлять-то буду? Что я с ней сделал?

Матрена. Что сделал? Эка вздумал поминать! Никто не знает: ни кот, ни кошка, ни поп Ерошка. А девка сама идет.

Никита. Как идет-то?

Матрена. Известно, из-под страху идет-то. Да идет же. Да что же делать-то? Тогда бы думала. А теперь ей упираться нельзя. И сватам тоже обиды нет. Смотрели два раза девку-то, да и денежки за ней. Все шито-крыто.

Никита. А в погребе-то что?

Матрена *(смеется)*. Что в погребе? Капуста, грибы, картошки, я чай. Что старое поминать?

Никита. Рад бы не поминал. Да не могу я. Как заведешь мысль, так вот и слышу. Ох, что вы со мной сделали?

Матрена. Да что ты в сам деле ломаешься?

Никита *(переворачивается ничком)*. Матушка! Не томи ты меня. Мне вот по куда дошло.

Матрена. Да все ж надо. И так болтает народ, а тут вдруг ушел отец, нейдет, благословлять не насмелится. Сейчас прикладать станут. Как заробеешь, сейчас догадываться станут. Ходи тором, не положат вором. А то бежишь от волка, напхаешься на ведмедя. Пуще всего виду не показывай, не робь, малый, а то хуже вознают.

Никита. Эх, запутляли вы меня!

Матрена. Да буде, пойдем. А выдь да благослови; всё как должно, честь честью, и делу конец.

Никита *(лежит ничком)*. Не могу я.

Матрена *(сама с собой)*. И что сделалось? Все ничего, ничего, да вдруг нашло. Напущение, видно. Микитка, вставай! Гляди, вон и Анисья идет, гостей побросала.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Никита, Матрена и Анисья.

Анисья *(нарядная, красная, выпивши)*. И хорошо как, матушка. Так хорошо, честно! И как народ доволен. Где ж он?

Матрена. Здесь, ягодка, здесь. В солому лег, да и лежит. Нейдет.

Никита *(глядит на жену)*. Ишь, тоже пьяная! Гляжу, так с души прет. Как с ней жить? *(Поворачивается ничком.)* Убью я ее когда-нибудь. Хуже будет.

Анисья. Вишь куда, в солому забрался. Аль хмель изнял? *(Смеется.)* Полежала бы я с тобой тут, да неколи. Пойдем, доведу. А уж как хорошо в домето! Лестно поглядеть. И гармония! Играют бабы, хорошо как. Пьяные все. Уж так почестно, хорошо так!

Никита. Что хорошо-то?

Анисья. Свадьба, веселая свадьба. Все люди говорят, на редкость свадьба такая. Так честно, хорошо

все. Иди же. Вместе пойдем... я выпила, да доведу. *(Берет за руку.)*

Никита *(отдергивается с отвращением)*. Иди одна. Я приду.

Анисья. Чего кауришься-то! Все беды избыли, разлучницу сбыли, жить нам только, радоваться. Всё так честно, по закону. Уж так я рада, что и сказать нельзя. Ровно я за тебя в другой замуж иду. И-и! народ как доволен! Все благодарят. И гости всё хорошие. И Иван Мосеич — тоже и господин урядник. Тоже повеличали.

Никита. Ну, и сиди с ними,— зачем пришла?

Анисья. Да и то идти надо. А то к чему пристало? Хозяева ушли и гостей побросали. А гости всё хорошие.

Никита *(встает, обирает с себя солому)*. Идите, а я сейчас приду.

Матрена. Ночная-то кукушка денную перекуковала. Меня не послухал, а за женой сейчас пошел. *(Матрена и Анисья идут.)* Идешь, что ль?

Никита. Сейчас приду. Вы идите, я следом. Приду, благословлять буду...

Бабы останавливаются.

Идите... а я следом. Идите же!

Бабы уходят. Никита глядит им вслед задумавшись.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Никита один, потом Митрич.

Никита *(садится и разувается)*. Так и пошел я! Как же! Нет, вы поищите, на перемете нет ли. Распростал петлю да прыгнул с перемета, и ищи меня. И вожжи, спасибо, тута. *(Задумывается.)* То бы размыкал. Какое ни будь горе, размыкал бы! А то вон оно где — в сердце оно, не вынешь никак. *(Приглядывается ко двору.)* Никак, опять идет. *(Передразнивает Анисью.)* «Хорошо, и хорошо как! Полежу с тобой!» У! шкуреха подлая! На ж тебе, обнимайся со мной, как с перемета снимут. Один конец. *(Схватывает веревку, дергает ее.)*

Митрич *(пьяный поднимается, не пуская верев-*

ку). Не дам. Никому не дам. Сам принесу. Сказал, принесу солому — принесу! Микита, ты? *(Смеется.)* Ах, черт! Аль за соломой?

Никита. Давай веревку.

Митрич. Нет, ты погоди. Послали меня мужики. Я принесу... *(Поднимается на ноги, начинает сгребать солому, но шатается, справляется и под конец падает.)* Ее верх. Пересилила...

Никита. Давай вожжи-то.

Митрич. Сказал, не дам. Ах, Микишка, глуп ты, как свиной пуп. *(Смеется.)* Люблю тебя, а глуп ты. Ты глядишь, что я запил. А мне черт с тобой! Ты думаешь, ты мне нужен... Ты гляди на меня. Я унтер! Дурак, не умеешь сказать: унтер-офицер гренадерского ее величества самого первого полка. Царю, отечеству служил верой и правдой. А кто я? Ты думаешь, я воин? Нет, я не воин, а я самый последний человек, *сирота я, заблудущий я. Зарекся я пить.* А теперь закурил!.. Что ж, ты думаешь, я боюсь тебя? Как же! Никого не боюсь. Запил, так запил! Теперь недели две *смолить буду, картошку под орех разделаю. До креста* пропьюсь, шапку пропью, билет заложу и не боюсь никого. Меня в полку пороли, чтоб не пил я. Стегали, стегали... «Что, говорят, будешь?» Буду, говорю. Чего бояться дерьма-то? Вон он я! Какой есть, такого бог зародил. Зарекся не пить. Не пил. Теперь запил — пью. И не боюсь никого. Потому не вру, а как есть... Чего бояться, дерьма-то? На-те, мол, вот он я. Мне поп один сказывал. Дьявол — он самый хвастун. Как говорит, начал ты хвастать, сейчас ты и заробеешь. А как стал *робеть от людей, сейчас он, беспятый-то, сейчас* и сцапал тебя и попер, куда ему надо. А как не боюсь я людей-то, мне и легко! Начхаю ему в бороду, лопатому-то,— матери его поросятины! Ничего он мне не сделает. На, мол, выкуси!

Никита *(крестится).* И что ж это я в самом деле? *(Бросает веревку.)*

Митрич. Чего?

Никита *(поднимается).* Не велишь бояться людей?

Митрич. Есть чего бояться, дерьма-то. Ты их в бане-то погляди. Все из одного теста. У одного потолще брюхо, а то потоньше, только и различки в них. Вона! кого *бояться, в рот им ситного пирога с горохом!*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Никита, Митрич, Матрена (выходит из двора).

Матрена (*кличет*). Что, идешь, что ли?

Никита. Ох! Да и лучше так-то. Иду. (*Идет ко двору.*)

Занавес

СЦЕНА ВТОРАЯ

Перемена декорации. Изба первого действия, полна народом, сидящим за столами, и стоящими. В переднем углу Акулина с женихом. На столе иконы и хлеб. В числе гостей Марина, муж ее и урядник. Бабы поют песни. Анисья разносит вино. Песни замолкают.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анисья, Марина, муж Марины, Акулина, жених, извозчик, урядник, сваха, дружко, Матрена, гости и народ.

Извозчик. Ехать, так ехать, а церковь разве близко.

Дружко. А вот дай срок, вотчим благословит. Да где ж он?

Анисья. Идет. Сейчас идет, миленькие. Кушайте еще по стаканчику, не обижайте.

Сваха. Что ж долго? Уж с какого времени ждем.

Анисья. Придет. Сейчас придет. Стриженая девка косы не заплетет, тут будет. Кушайте, миленькие. (*Подносит вино.*) Сейчас идет. Поиграйте еще, красавицы, пока что.

Извозчик. Да уж все песни пропели ожидамши.

Бабы поют. Посередине песни входят Никита и Аким.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Никита и Аким.

Никита (*держит Акима за руку и подталкивает вперед себя*). Иди, батюшка, без тебя нельзя.

Аким. Не люблю я, значит, тае...

Никита (*на баб*). Буде, замолчите. (*Оглядывает всех в избе.*) Марина, ты тут?

Сваха. Иди, бери образ, благословляй.

Никита. Погоди, дай срок. (*Оглядывается.*) Акулина, ты здесь?

Сваха. Да что ты народ перекликаешь? Где ж ей быть-то. Что он чудной какой...

Анисья. Батюшки родимые! Да что ж он разутый!

Никита. Батюшка! ты здесь? Гляди на меня. Мир православный, вы все здесь, и я здесь! Вот он я! *(Падает на колени.)*

Анисья. Микитушка, чтой-то ты? О, головушка моя!

Сваха. Вот на!

Матрена. Я и говорю: перепил он французского, что ли, много. Опамятуйся, что ты? *(Хотят поднять его, он не обращает ни на кого внимания, глядит перед собой.)*

Никита. Мир православный! Виноват я, каяться хочу.

Матрена *(тащит его за плечо)*. Что ты, с ума спятил? Миленькие, у него ум зашелся. Увести его надо.

Никита *(отстраняет ее плечом)*. Оставь! А ты, батюшка, слушай. Первое дело: Маринка, гляди сюда. *(Кланяется ей в ноги и поднимается.)* Виноват я перед тобой, обещал тебя замуж взять, соблазнил тебя. Тебя обманул, кинул, прости меня Христа ради! *(Опять кланяется в ноги.)*

Анисья. И чего разлопоушился? Не к лицу совсем. Что никто не спрашивает. Встань ты, что озоришь?

Матрена. О-ох, напущено это на него. И что это сделалось? Попорчен он. Встань. Что пустое болтаешь! *(Тянет его.)*

Никита *(мотает головой)*. Не тронь! Прости, Марина, грех мой перед тобой. Прости Христа ради.

Марина закрывается руками, молчит.

Анисья. Встань, говорю, что озоришь. Вспоминать вздумал. Буде форсить. Стыдно! О, головушка моя! Что это, очумел совсем.

Никита *(отталкивает жену, поворачивается к Акулине)*. Акулина, к тебе речь теперь. Слушайте, мир православный! Окаянный я. Акулина! виноват я перед тобой. Твой отец не своею смертью помер. Ядом отравили его.

Анисья *(вскрикивает)*. Головушка моя! Да что он?

Матрена. Не в себе человек. Уведите ж вы его.

Народ подходит, хочет взять его.

Аким *(отстраняет руками)*. Постой! Вы, ребята, тае, постой, значит.

Никита. Акулина, я его ядом отравил. Прости меня Христа ради.

Акулина *(вскакивает)*. Брешет он! Я знаю кто.

Сваха. Что ты? Ты сиди.

Аким. О господи! Грех-то, грех-то.

Урядник. Берите его! А старосту пошлите да понятых. Надо акт составить. Встань-ка ты, поди сюда.

Аким *(на урядника)*. А ты, значит, тае, светлые пуговицы, тае, значит, погоди. Дай он, тае, скажет, значит.

Урядник *(Акиму)*. Ты, старик, смотри не мешайся. Я должен составить акт.

Аким. Экий ты, тае. Погоди, говорю. Об ахте, тае, не толкуй, значит. Тут, тае, божье дело идет... кается человек, значит, а ты, тае, ахту...

Урядник. Старосту!

Аким. Дай божье дело отойдет, значит, тогда, значит, ты и, тае, справляй, значит.

Никита. Еще, Акулина, перед тобою грех мой великий: соблазнил я тебя, прости Христа ради! *(Кланяется ей в ноги.)*

Акулина *(выходит из-за стола)*. Пусти меня, не пойду замуж. Он мне велел, а теперь не пойду.

Урядник. Повтори, что сказал.

Никита. Погодите, господин урядник, дайте досказать.

Аким *(в восторге)*. Говори, дитятко, все говори, легче будет. Кайся богу, не бойся людей. Бог-то, бог-то! Он во!..

Никита. Отравил я отца, погубил я, пес, и дочь. Моя над ней власть была, погубил ее и ребеночка.

Акулина. Правда это, правда.

Никита. На погребице доской ребеночка ее задушил. Сидел на нем... душил... а в нем косточки хрустели. *(Плачет.)* И закопал в землю. Я сделал, один я!

Акулина. Брешет. Я велела.

Никита. Не щити ты меня. Не боюсь я теперь никого. Прости меня, мир православный! *(Кланяется в землю.)*

Молчание.

Урядник. Вяжите его, свадьба ваша, видно, расстроилась.

Подходит народ с кушаками.

Никита. Погоди, поспеешь... *(Отцу кланяется в ноги.)* Батюшка родимый, прости и ты меня, окаянного! Говорил ты мне спервоначала, как я этой блудной скверной занялся, говорил ты мне: «Коготок увяз, и всей птичке пропасть», не послушал я, пес, твоего слова, и вышло по-твоему. Прости меня, Христа ради.

Аким *(в восторге)*. Бог простит, дитятко родимое. *(Обнимает его.)* Себя не пожалел, он тебя пожалеет. Бог-то, бог-то! Он во!..

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и староста.

Староста *(входит)*. Понятых и здесь много.

Урядник. Сейчас допрос снимем.

Никиту вяжут.

Акулина *(подходит и становится рядом)*. Я скажу правду. Допрашивай и меня.

Никита *(связанный)*. Нечего допрашивать. Все я один сделал. Мой и умысел, мое и дело. Ведите куда знаете. Больше ничего не скажу.

Занавес

[ДРАМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЛЕГЕНДЫ ОБ АГГЕЕ]

ПЕРВАЯ КАРТИНА

У дверей церкви. Стоят слуги с носилками, дожидаются пана и его жену.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

1-й, 2-й и 3-й слуги.

1-й слуга. Вот вздумал и в церковь пойти.

2-й слуга. Пора, я двадцать лет во дворе живу — ни разу не бывал.

1-й слуга. Должно, покаяться хочет.

3-й слуга. И пора бы. Мало ли через него слез льются. Петра забил. У Семена жену отнял. У Федора дочь. Люди мучаются, клянут его, а он знай веселится. С утра до вечера пьет, гуляет, за охотой ездит. А нищему никогда гроша не подал и на двор не пускает. И как только бог грехам терпит.

2-й слуга. Как же, покается. Не таков человек. Посмотри, и в церкви чего-нибудь наделает. *(Гром и молния.)* Батюшки, что такое? Небо чистое, а гром гремит.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Выбегает из дверей церкви дворовый человек.

Дворовый человек. Ну, уж пан! Что натворили, страсть!

Окружают дворового человека.

1-й, 2-й и 3-й слуги. Что? что? Расскажи по порядку.

Дворовый человек. Да вот слушайте. Вошел в церковь в середине службы в шапке, стал посередине,

глядит по сторонам. Вышел дьякон Евангелие читать. Дочитал до того места, где сказано: «Обаче горе вам, богатым, яко отстоите утешения вашего. Горе вам, насыщеннии ныне, яко взалчете; горе вам, смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете». Как крикнет пан: «Врешь, давай сюда книгу!» Ухватил книгу, стал рвать. Как только рванул, загремел гром. Я и выбежал.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Выходит пан и за ним народ.

Пан. Ишь, читает, что нищие блаженны будут, а богатые обнищают. Как же это может быть? Как же я обнищаю, когда у меня сто деревень и вся мне округа подвластна? Неправда написана в книге, и не надо неправду читать. Вот я вырвал листы и положу в карман. И читать не буду. *(Гром и молния.)* Не боюсь. Неправду читают. А как жил я богато, так и проживу всю жизнь, не обнищаю. *(На народ.)* Чего заробели? Сказано вам — на облаву охотой собираться. Живо! Вот я только дома пообедаю, сейчас выеду. Чтобы вы все уже в лесу были. *(Садится в носилки, его уносят. Гром гремит.)*

Пан. Греми, греми, не боюсь.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Лес. Трубят в рога.

ПЕРВАЯ СЦЕНА

Два охотника.

1-й охотник. Не видал ты пана?

2-й охотник. Только и видел его, когда он с лошади соскочил.

1-й охотник. Да как он лошадь-то упустил?

2-й охотник. Ранил он его с лошади, олень упал. Обрадовался он, соскочил, думал добить. А олень вскочил да дальше. Он за ним пеший ушел. Лошадь-то убеги. Бросились мы догонять. А она задрала хвост, да домой. Он теперь пеший и бегает.

Входит третий.

3-й охотник. Чего вы тут?

1-й и 2-й охотники. Пана ищем.

3-й охотник. Ищите вчерашнего дня. Он уж дома.

1-й охотник. Как? а лошадь?

3-й охотник. Поймали, привели. Он сел и уехал.

2-й охотник. Врешь?

3-й охотник. Сам видел. Сам стремя держал, как садился. *(Уходит.)*

ВТОРАЯ СЦЕНА

Пробегает олень, становится за кустом. Выбегает пан без шапки с ножом.

Пан. Где он? где он? Сейчас был. Экие проклятые! Все отстали и лошадь упустили. Дай срок, вернусь — перепорю всех.

Олень показывается, пан бежит. Оба скрываются, опять показываются. Олень подпустит, и прочь. Если можно, воду, через которую переплывает олень и за ним, раздевшись, пан.

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Темный лес.

ПЕРВАЯ СЦЕНА

Пан *(если будет река, то голый, если не будет, то в платье, но без ружья, без рога, без ножа, оборванный, без шапки).* Эй, народ! Вы — черти, канальи, дьяволы, запорю! Аааа! Аа... Нет, не откликаются. Дай, доберусь. Вы мне заплатите за все, чертовы дети! Разбежались, бросили одного. Погоди! Аааа!.. *(Слушает.)* Никого. *(Ложится.)* Ай да олень, довел он меня. И переночевать придется. Погоди, черти. Уж как пороть буду, сначала одного, потом другого, всех переберу. Потом опять сначала. Будете помнить. Ааааааа! Нет никого. *(Встает.)* Однако идти надо: авось набредешь на людей или на поляну. А то тут и волки съедят, Ааааа! Горло даже пересохло. Погоди, я вам размочу спины-то. Ааааа! *(Уходит.)*

ВТОРАЯ СЦЕНА

Приходят разбойники с оружием, мешками и располагаются и разводят огонь.

1-й разбойник. То нас, разбойников, люди боятся, а вот довелось нам людей бояться, замучала прокля-

тая охота панская. Уж на что в трущобу забились. И то потревожили.

2-й разбойник. Да, брат, целый день никого не пограбили, только сами бегали. Завтра надо пораньше на дорогу выходить. Добычу добывать.

1-й разбойник. Житье бы ничего. Да одно — не покойно.

2-й молодой разбойник. Да чего же вы так пана испугались?

1-й разбойник. Чего испугались? Вот дурак-то. Как же не испугаться? Это не мужик и не купец: с теми и вдвоем управишься. А пан иначе не выезжает, как за ним человек сто верховых с ружьями да с ножами, да пеших с дубьем человек двести. Этот налетит, так от нас только мокро останется.

2-й разбойник. То-то вы и уходите так скоро.

1-й разбойник. А то как же. С богатым не судись, с сильным не борись. И леса тоже эти его. И деревни все кругом его. Человек большой, у него сила большая. Такой же, как мы, разбойник, только другого манера.

Слышны крики пана за сценой: «Аааа!.. Черти!.. Выворочу все вам! Ааа!»

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Разбойники прислушиваются.

Молодой разбойник *(вскакивает)*. Леший! Леший! Орет.

1-й разбойник. И то леший. Дай посмотрим, какой!

Подходит пан.

2-й разбойник. Ишь испугались! Не леший. А так какой-то заблудящий. Должно, спьяна. Эй ты, щеголь!

Пан *(видит людей)*. А, так вот вы где, разбойники! Уселись, огонь развели. А своего пана бросили. Погоди же ты, я вас! *(Налетает на них, начинает драться.)*

1-й разбойник *(встает, берет за шиворот)*. Ай, молодец. Вот так воин! Да ты полегче! *(Берет его за руки.)*

Пан. Мерзавцы, идолы, черти! Я вас!

1-й разбойник. Да он, ребята, чумовой какой-то. Дай-ка ремень.

Пан. Что вы, али пана не знаете? Я с вас шкуру спущу, а потом за ноги повешу.

1-й разбойник *(закручивает руки назад)*. Ну-ка подтяни, Сидорка, покруче. А я пану этому всыплю парочку горячих, чтоб он свое панство забыл. *(Берет плеть.)* Вишь, пан говорит.

Молодой разбойник. И похож на пана, нечего сказать.

Пан. Повешу!

1-й разбойник *(бьет плетью)*. Раз! Ну-ка, пан, попрыгивай.

Пан. Ай, ай!

1-й разбойник. Ну-ка еще горяченького. Так-то пороть будешь али еще как?

Пан. Ай, ай! Право, я пан. Ей-богу.

1-й разбойник. Да я и верю. За то и бью. *(Хохочет.)* Вот дай я раздену тебя, тогда виднее твое панство будет.

Бьют и привязывают к дереву.

Занавес

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

ПЕРВАЯ СЦЕНА

Утро. Лес. Пан голый привязан у дерева. Стонет.

Пан. Ой, ой, ой! Руки мои затекли. Ой! Погоди ж, все вымещу. Железными прутьями пороть буду. Ой, спина! Избили всю. Ну, расплатитесь вы! Я вас! Да, доберусь. Ой, ой! Во рту пересохло. В подвалы засажу. Заморю.

ВТОРАЯ СЦЕНА

Пастухи. Старик и молодой.

Молодой пастух. Дядюшка, и то человек привязан стоит. Иди посмотри.

Старый пастух. Вишь ты, грех какой. Должно, разбойники ограбили, да и привязали.

Пан *(увидал их)*. Что же стоите, дурачье? Разве не видите, развяжите скорее.

Старый пастух. Ах, не боятся люди бога. Как измучили человека. *(Подходит, хочет развязать.)* Ишь узлы какие! Ванька, ножик давай.

Пан. Что копаешься, скорее! О-о-о!

Старый пастух *(развязал, разрезал)*. Ну вот

расправил, сердечный. Водицы тебе, что ль? Ванька, давай воды да хлебца.

Молодой пастух *(приносит воды и хлеба)*. На, сердечный, поешь.

Пан *(ложится и стонет)*. Ах, разбойники, что делают. Ну теперь уж не миновать вам моих рук.

Молодой пастух. Дядюшка, он кому-то грозит.

Старый пастух. Не замай. Очумел он, дай опамятуется. Да прикрыть уж надо. *(Снимает с себя старый верхний кафтан, хочет накрыть.)* На тебе, болезный, прикрой хоть.

Пан *(оглядывается и отталкивает кафтан)*. Да ты что? с ума сошел, что ли? — на меня дерюгу надеваешь. Ты знаешь ли, кто я? Я пан ваш. Сейчас снимай поддевку да шапку, да обчисти хорошенько, да надень на меня. Уж я, так и быть, надену. Да веди меня ко двору, ко мне, к панскому двору.

Старый пастух. Очумел, видно, человек, говорит, что пан, а пана я вчера сам видел, как он верхом на лошади домой проехал. *(К пану.)* Будет, будет, надевай, что дают, да и добирайся до деревни. Там полежишь.

Пан *(вскакивает)*. А и ты такой же, как и те. Погоди ж — и тебе то же будет. Да как ты смеешь перед паном в шапке разговаривать! *(Срывает с него шапку.)* Давай поддевку. *(Хватается за него.)*

Старый пастух *(подхватывает шапку, отталкивает пана и идет прочь)*. Пойдем, Ванька, он вовсе угорелый какой-то.

Молодой пастух. Мы тебя от дерева отвязали, покормили, дядюшка кафтан дал, а ты еще буянишь. Брось, а то прибью. *(Поднимает кнут и толкает.)*

Пан падает. Пастухи уходят. Пан лежит и стонет.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Приходят мужики.

Вишь, человек какой лежит!

Пан. Эй, народ, скорее бегите вы к панскому двору и скажите, что пан нашелся. И чтобы ехала сюда за мной коляска и дворовые, а мне отведите избу. Я отдохну.

Старик. Да ты что толкуешь?

Пан. Что толкую? Я пан ваш.

Старик. Какой пан? Пан дома в палатах живет, а не босиком бегает.

Пан. Дурачье. Я заблудился за оленем, я пан. Они меня ищут.

Старик. Будет врать-то. Пан вчера проезжал, мы его сами видели. А нынче от него приказчик приезжал. Он дома.

Пан. Врете, разбойники! Я вас!

Старик. Будет, молодец. Уж тебя побили, сказывают, пастухи. Что же, али тебе мало — еще хочется? Брось ты эти дела. А иди своей дорогой.

Пан. Не верят. Ах, разбойники, доберусь же я. Ну, слушай же. Не веришь ты, что я пан? Так вот, дай мне бумаги, перо, я напишу письмо пани. Она признает. Потому я то напишу, чего никто, кроме меня и ее, не знает.

Старик. Будет толковать-то, проваливай!

1-й мужик. Что же, дядюшка, пускай напишет, свезти можно в деревню.

Поднимают пана и ведут.

Занавес

ПЯТАЯ КАРТИНА

В избе у мужика. Пан. Баба.

Пан. Измучался я. Что долго не едут, пора бы ответ. Не торопятся, не знают. То-то жена обрадуется. (*Глядит в окно.*) Вот он едет.

Входит посланный.

Пан. Что же, где коляска, где люди?

Старик. Ну, брат, прокурат же ты!

Пан. Что, что? как ты смеешь так говорить!

Мужик. Да так и смею, что велел тебя пан...

Пан. Какой пан?

Мужик. Такой, настоящий, не такой, как ты. Велел тебя, пана, шелепами выбить отсюда, и чтобы духу твоего не слышно было.

Пан. Боже мой, что же это? Да жена-то что?

Мужик. Жена-то твоя, коли есть, не знаю что, а пани сказала: «Есть же такие обманщики. Прогоните его».

Пан. Боже мой, боже мой, что со мной будет? *(Плачет.)*

Хозяин. Чудное дело! Ну что ж, брат, не выгорела твоя штука, ступай с богом.

Занавес

ШЕСТАЯ КАРТИНА

СЦЕНА ПЕРВАЯ

На дворе. Пан чистит с бабой навоз.

Баба. Вишь безрукой, и вилы-то взять в руки не умеет. *(Отнимая вилы.)* Дай, я сама; точно пан.

Пан. Я бы рад, да не умею.

Баба. Хлеб есть умеешь.

Пан. Ах, житье мое. Уж умереть лучше.

Баба. Хоть вези-то.

Запрягается, везет, падает.

Баба. И того не можешь. Замучалась я с тобой.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Пан. Ну, кралечка.

Баба. Ишь ты, пакостник!

Приходит хозяин.

Баба. Вот идола приставил, работать не работает, а пакостничать норовит.

Хозяин. Что? К бабе моей ладишься? Я те полажу. Вон! Пан ты этакой! *(В шею.)*

Занавес

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

ПЕРВАЯ СЦЕНА

Село. Приходит пан босиком, без шапки, в одном кафтане, рваном, и ложится на край дороги.

Пан. Ну хорошо, что на дорогу выбрался. Теперь дойду до дома. Там узнают. А то сколько ни говорил,

что я пан, никто не верит. Только ругаются. Если не скажу, так подадут, а скажу, так прогонят. И нынче ничего не ел. Не стану уж говорить. *(Подходит к избе, стучится.)* Дайте поесть.

Отворяется окно.

Баба. Много вас тут шляется! Вишь, здоровый какой, работать бы мог — просит.

Пан. Да я не нищий, я пан.

Баба. А пан, так нечего под окном стучать! *(Захлопывает окно.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

Приходят два нищих, слепой и безрукий, подходят к окну.

Слепой и безрукий. Христа ради!

Баба *(отворяет окно, подает хлеб)*. Примите. Христа ради.

Нищие садятся и едят.

Пан *(подходит)*. Дайте поесть.

Слепой. Чего же сам не просишь?

Пан. Просил — не дают.

Безрукий. Ну, бери. *(Дает хлеба, едят.)* Да ты кто такой, откуда?

Пан. Мне уж говорить не хочется. Как скажу кто, так все меня ругают и бьют. Не верят мне. Работать не умею, а есть хочу. Пожалейте вы меня, возьмите с собой.

Безрукий и нищий. А что же, возьмем! Пускай суму носит.

Слепой нищий. Пойдем.

Нищие поднимаются и с паном уходят.

ВОСЬМАЯ КАРТИНА

Панский двор. Дворня нарядная. Играют на балалайках, пляшут. В ворота входят нищие и пан, поют стих о Лазаре.

Дворник. Не велено пускать, убирайтесь!

Охотник. Собак выпущу. Фю! Узи!

Собаки бросаются. Пан идет к двери.

Кучер. Вишь ты, ловкий какой! Дай голяшки-то тебе покусают, будешь знать. Узи!

Пан. Ай, ай!..

Дворник *(берет за шиворот и тащит в ворота).* Убирайся, покуда цел.

Пан. Я пришел.

Из окна выглядывает другой пан. Пан затихает и глядит.

Пан нищий. Батюшки! Я сам дома. Другой я в окне, что ж это?

Пан в окне. Пустите, пустите нищих. Вот им. *(Кидает горсть серебра.)* Пускай слепые попоют, а потом покормите.

Нищие поют Лазаря.

Пан Ангел. Мехоношу сведите в хоромы.

Занавес

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Палата царская. Сидит пан в виде нищего, один обедает, и служит ему прислуга.

Пан. Что это значит? Другой я в окне, и вид светлый и добрый. И меня защитил и велел сюда отдельно принять. Кончена моя жизнь. Признать уж меня — никто не признает. Видно, погибнуть мне в нужде. Что это?

Является свет и из света голос.

Голос. А знаешь ли ты, пан Фадей, пана сильного, богатого и гордого, как не поверил слову евангельскому и сказал, что нельзя богатому обнищать? Узнал ли ты теперь, к чему богатство мира сего и как на него полагаться? Понял ли ты, что то было виденье и зачем тебе оно привиделось? Покаялся ли ты в гордости своей?

Пан. Покаялся и не буду жить по-прежнему.

Голос. Так будь же опять пан и заслужи гордость свою.

Пан переодевается. Жена входит и обнимает его, и слуги кланяются.

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Большой стол великолепный. Сидят нищие, и пан с женою служат им.

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Комедия в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Леонид Федорович Звездинцев, отставной поручик конной гвардии, владетель 24 тысяч десятин в разных губерниях. Свежий мужчина, около 60 лет, мягкий, приятный, джентльмен. Верит в спиритизм и любит удивлять других своими рассказами.

Анна Павловна Звездинцева, его жена, полная, молодящаяся дама, озабоченная светскими приличиями, презирающая своего мужа и слепо верящая доктору. Дама раздражительная.

Бетси, их дочь, светская девица, лет 20-ти, с распущенными манерами, подражающими мужским, в pince-nez [1]. Кокетка и хохотунья. Говорит очень быстро и очень отчетливо, поджимая губы, как иностранка.

Василий Леонидыч, их сын, 25-ти лет, кандидат юридических наук, без определенных занятий, член общества велосипедистов, общества конских ристалищ и общества поощрения борзых собак. Молодой человек, пользующийся прекрасным здоровьем и несокрушимой самоуверенностью. Говорит громко и отрывисто. Либо вполне серьезен, почти мрачен, либо шумновесел и хохочет громко.

Алексей Владимирович Кругосветлов, профессор. Ученый, лет 50-ти, с спокойными, приятно самоуверенными манерами и такою же медлительною, певучей речью. Охотно говорит. К не соглашающимся с собой относится кротко-презрительно. Много курит. Худой, подвижный человек.

Доктор, лет 40, здоровый, толстый, красный человек. Громогласен и груб. Постоянно самодовольно посмеивается.

Марья Константиновна, девица лет 20-ти, воспитанница консерватории, учительница музыки, с махрами на лбу, в преувеличенно модном туалете, заискивающая и конфузящаяся.

Петрищев, лет 28, кандидат филологических наук, ищущий деятельности, член тех же обществ, как и Василий Леонидыч, и, кроме того, общества устройства ситцевых и коленкоровых балов. Плешивый, быстрый в движениях и речи и очень учтивый.

---

[1] пенсне *(франц.)*.

Баронесса, важная дама, лет 50-ти, неподвижная, говорит без интонаций.

Княгиня, светская дама, гостья.

Княжна, светская девица, гримасница, гостья.

Графиня, древняя дама, насилу движущаяся, с фальшивыми буклями и зубами.

Гросман, брюнет еврейского типа, очень подвижный, нервный, говорит очень громко.

Толстая барыня, Марья Васильевна Толбухина, очень важная, богатая и добродушная дама, знакомая со всеми замечательными людьми, прежними и теперешними. Очень толстая, говорит поспешно, стараясь переговорить других. Курит.

Барон Клинген (Коко́), кандидат Петербургского университета, камер-юнкер, служащий при посольстве. Вполне correct[1] и потому спокоен душою и тихо весел.

Дама.

Барин (без слов).

Сахатов, Сергей Иванович, лет 50-ти, бывший товарищ министра, элегантный господин, широкого европейского образования, ничем не занят и всем интересуется. Держит себя достойно и даже несколько строго.

Федор Иваныч, камердинер, лет под 60. Образованный и любящий образование человек, злоупотребляющий употреблением pince-nez и носового платка, который он медленно развертывает. Следит за политикой. Человек умный и добрый.

Григорий, лакей, лет 28, красавец собой, развратный, завистливый и смелый.

Яков, лет 40, буфетчик, суетливый, добродушный, живущий только деревенскими семейными интересами.

Семен, буфетный мужик, лет 20. Здоровый, свежий деревенский малый, белокурый, без бороды еще, спокойный, улыбающийся.

Кучер, лет 35. Щеголь, с усами только, грубый и решительный.

Старый повар, лет 45, лохматый, небритый, раздутый, желтый, трясущийся, в нанковом летнем оборванном пальто и грязных штанах и опорках, говорит хрипло. Слова вырываются из него как бы через преграду.

Кухарка, говорунья, недовольная, лет 30.

Швейцар, отставной солдат.

Таня, горничная, лет 19-ти, энергичная, сильная, веселая и быстро изменяющая настроение девушка. В минуты сильного возбуждения радости взвизгивает.

1-й мужик, лет 60-ти, ходил старшиной, полагает, что знает обхождение с господами, и любит себя послушать.

2-й мужик, лет 45, хозяин, грубый и правдивый, не любит говорить лишнего. Отец Семена.

3-й мужик, лет 70-ти, в лаптях, нервный, беспокойный, торопится, робеет и разговором заглушает свою робость.

1-й выездной лакей графини. Старик старого завета, с лакейской гордостью.

2-й выездной лакей, огромный, здоровый, грубый.

Артельщик из магазина. В синей поддевке, с чистым, румяным лицом. Говорит твердо, внушительно и ясно.

Действие происходит в столице, в доме Звездинцевых.

---

[1] корректный *(франц.)*.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Театр представляет переднюю богатого дома в Москве. Три двери: наружная, в кабинет Леонида Федоровича и в комнату Василья Леонидыча. Лестница наверх, во внутренние покои; сзади нее проход в буфет.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Григорий (молодой и красивый лакей, глядится в зеркало и прихорашивается).

Григорий. А жаль усов! Не годится, говорит, лакею усы! А отчего? Чтобы видно было, что ты лакей. А то как бы не превзошел сынка ее любезного. И есть кого! Хоть и без усов, а далеко ему... *(Вглядывается с улыбкой.)* И сколько их за мной волочатся! Только никто вот не нравится, как Таня эта! Простая горничная! Нда! А вот лучше барышни. *(Улыбается.)* Да и мила. *(Прислушивается.)* Вот, она и есть! *(Улыбается.)* Вишь, постукивает каблучками... в-ва!..

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Григорий и Таня (с шубкой и ботинками).

Григорий. Татьяне Марковне мое почтение!

Таня. Что, смотритесь всё? Думаете, очень из себя хороши?

Григорий. А что, неприятен?

Таня. Так, ни приятен, ни неприятен, а середка на половину. Что ж это у вас шубы-то понавешаны?

Григорий. Сейчас, сударыня, уберу. *(Снимает шубу и накрывает ею Таню, обнимая ее.)* Таня, что я тебе скажу...

Таня. Ну вас совсем! И к чему это пристало! *(Сердито вырывается.)* Говорю же, оставьте!

Григорий *(оглядывается)*. Поцелуйте же.

Таня. Да что вы в самом деле пристали? Я вас так поцелую!.. *(Замахивается.)*

Василий Леонидыч. *(За сценой слышен звонок и потом крик.)* Григорий!

Таня. Вот, идите, Василий Леонидыч зовет.

Григорий. Подождет, он только глаза продрал. Слушай-ка, отчего не любишь?

Таня. И какие такие любови выдумали! Я никого не люблю.

Григорий. Неправда, Семку любишь. И нашла же кого, буфетного мужика сиволапого!

Таня. Ну, какой ни на есть, да вот вам завидно.

Василий Леонидыч *(за сценой)*. Григорий!

Григорий. Поспеешь!.. Есть чему завидовать! Ведь ты только начала образовываться и с кем связываешься? То ли дело меня бы полюбила... Таня...

Таня *(сердито и строго)*. Говорю, не будет вам ничего.

Василий Леонидыч *(за сценой)*. Григорий!!!

Григорий. Уж очень строго себя ведете.

Василий Леонидыч *(за сценой, упорно, ровно, во всю мочь кричит)*. Григорий! Григорий! Григорий!

Таня и Григорий смеются.

Григорий. Меня ведь какие любили!

Звонок.

Таня. Ну и идите к ним, а меня оставьте.

Григорий. Глупая ты, посмотрю. Ведь я не Семен.

Таня. Семен жениться хочет, а не глупости.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Григорий, Таня и артельщик (несет большой картон с платьем).

Артельщик. С добрым утром!

Григорий. Здравствуйте. От кого?

Артельщик. От Бурде, с платьем, да вот записка барыне.

Таня *(берет записку)*. Посидите тут, я подам. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Григорий, артельщик и Василий Леонидыч (высовывается из двери в рубашке и туфлях).

Василий Леонидыч. Григорий!

Григорий. Сейчас!

Василий Леонидыч. Григорий! разве не слышишь!

Григорий. Я только пришел.

Василий Леонидыч. Воды теплой и чаю.

Григорий. Сейчас Семен принесет.

Василий Леонидыч. А это что? От Бурдье?

Артельщик. Так точно-с.

Василий Леонидыч и Григорий уходят. Звонок.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Артельщик и Таня (вбегает на звонок и отворяет дверь).

Таня *(артельщику)*. Подождите.

Артельщик. И так дожидаюсь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Артельщик, Таня и Сахатов (входит в дверь).

Таня. Извините, сейчас вышел лакей. Да вы пожалуйте. Позвольте! *(Снимает шубу.)*

Сахатов *(оправляясь)*. Дома Леонид Федорович? Встали?

Звонок.

Таня. Как же, давно уж!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Артельщик, Таня и Сахатов. Входит доктор.

Доктор *(ищет лакея. Увидав Сахатова, с развязностью)*. А? мое почтение!

Сахатов *(пристально вглядывается)*. Доктор, кажется?

Доктор. А я думал, что вы за границей. К Леониду Федоровичу?

Сахатов. Да. А вы что же? Болен разве кто?

Доктор *(посмеиваясь)*. Не то чтобы болен, а, знаете, с этими барынями беда! До трех часов каждый день сидит за винтом, а сама тянется в рюмку. А барыня сырая, толстая, да и годочков-то немало.

Сахатов. Вы так и Анне Павловне высказываете ваш диагноз? Ей не нравится, я думаю.

Доктор *(смеясь)*. Что же, правда. Все эти штуки проделывают, а потом расстройство пищеварительных органов, давление на печень, нервы,— ну, и пошла писать, а ты ее подправляй. Беда с ними! *(Посмеивается)*. А вы что? Вы, кажется, спирит тоже?

Сахатов. Я? Нет, я не спирит тоже... Ну, мое почтение! *(Хочет идти, но доктор останавливает.)*

Доктор. Нет, ведь я тоже не отрицаю вполне, когда такой человек, как Кругосветлов, принимает участие. Нельзя же! Профессор, европейская известность. Что-нибудь да есть. Хотелось бы как-нибудь посмотреть, да все некогда, другое дело есть.

Сахатов. Да, да. Мое почтение! *(Уходит с легким поклоном).*

Доктор *(Тане)*. Встали?

Таня. В спальне. Да вы пожалуйте.

Сахатов и доктор расходятся в разные стороны.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Артельщик, Таня и Федор Иваныч (входит с газетой в руках).

Федор Иваныч *(к артельщику)*. Вы что?

Артельщик. От Бурде, с платьем да с запиской. Велели подождать.

Федор Иваныч. А, от Бурде! *(К Тане.)* Кто это прошел?

Таня. Сахатов, Сергей Иваныч, и еще доктор. Они тут постояли, поговорили. Все о спиритичестве.

Федор Иваныч *(поправляя)*. Об спиритизме.

Таня. Да я и говорю об спиритичестве. А вы слышали, Федор Иваныч, как прошлый раз удалось хорошо? *(Смеется.)* И стучало, и вещи перелетали.

Федор Иваныч. А ты почем знаешь?

Таня. А Лизавета Леонидовна сказывали.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Таня, Федор Иваныч, артельщик и Яков-буфетчик (бежит с стаканом чаю).

Яков *(к артельщику)*. Здравствуйте!

Артельщик *(грустно)*. Здравствуйте.

Яков стучит в дверь к Василью Леонидычу.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Григорий.

Григорий. Давай.

Яков. А стаканы вчерашние всё не принесли, да и поднос от Василья Леонидыча. Ведь с меня спросят.

Григорий. Поднос занят у него с сигарками.

Яков. Так бы переложите. Ведь с меня взыскивают.

Григорий. Принесу, принесу!

Яков. Вы говорите, принесу, а его нет. Намедни хватились, а подавать не на чем.

Григорий. Да принесу, говорю. Эка суета.

Яков. Вам хорошо так говорить, а я вот третий чай подавай да завтракать собирай. Треплешься, треплешься день-деньской. Есть ли у кого в доме больше моего дела? А все нехорош!

Григорий. Да уж чего лучше? Вишь, как хорош!

Таня. Вам все нехороши, только вы один...

Григорий *(к Тане)*. Тебя не спросили! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Таня, Яков, Федор Иваныч и артельщик.

Яков. Да что, я не обижаюсь, Татьяна Марковна, барыня не говорила ничего про вчерашнее?

Таня. Это об лампе-то?

Яков. И как это она вырвалась из рук, бог ее знает. Только стал обтирать, хотел перехватить,— вышмыгнула как-то... В мелкие кусочки! Все мое несчастье! Ему хорошо, Григорию-то Михайлычу, говорить, как он один головой, а вот как семья? Ведь тоже надо обдумать да прокормить. Я на труды не смотрю. Так ничего не говорила? Ну, и слава богу! А ложечки у вас, Федор Иваныч, одна или две?

Федор Иваныч. Одна, одна. *(Читает газету.)*

Яков уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Таня, Федор Иваныч и артельщик.
Слышен звонок. Входят Григорий с подносом и швейцар.

Швейцар *(Григорию)*. Доложите барину, мужики из деревни.

Григорий *(указывая на Федора Иваныча)*. Дворецкому доложи, а мне некогда. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Таня, Федор Иваныч, швейцар и артельщик.

Таня. Откуда мужики?

Швейцар. Из Курской, кажется...

Таня *(взвизгивает)*. Они... Это Семенов отец о земле. Пойду встречу. *(Бежит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Федор Иваныч, швейцар и артельщик.

Швейцар. Так как скажете: пустить их сюда или как? Они говорят— об земле, барин знает.

Федор Иваныч. Да, о покупке земли. Так, так. Гость у него теперь. Ты вот что: скажи, чтоб подождали.

Швейцар. Где ж ждать?

Федор Иваныч. Пусть на дворе подождут, я тогда вышлю.

Швейцар уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Федор Иваныч, Таня, за ней три мужика, Григорий и артельщик.

Таня. Направо. Сюда, сюда!

Федор Иваныч. Я не велел пускать было сюда.

Григорий. То-то, егоза!

Таня. Да ничего, Федор Иваныч, они тут с краюшка.

Федор Иваныч. Натопчут.

Таня. Они ноги обтерли, да я и подотру. *(Мужикам.)* Вот тут и станьте.

Мужики входят, несут гостинцы в платках: кулич, яйца, полотенца, ищут, на что креститься. Крестятся на лестницу, кланяются Федору Иванычу и становятся твердо.

Григорий *(Федору Иванычу)*. Федор Иваныч! вот говорили, от Пироне фасонисты шиблетки, уж это чего лучше у энтого-то? *(Показывает на третьего мужика в чуйях.)*

Федор Иваныч. Все вам только пересменивать людей!

Григорий уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Таня, Федор Иваныч и три мужика.

Федор Иваныч *(встает и подходит к мужикам)*. Так вы самые курские, о покупке земли?

1-й мужик. Так точно. Происходит, примерно, насчет свершения продажи земли мы. Доложить бы как?

Федор Иваныч. Да, да, знаю, знаю. Подождите здесь, я сейчас доложу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Таня и три мужика. Василий Леонидыч (за сценой). Мужики оглядываются, не знают, куда деть гостинцы.

1-й мужик. Как же, значит, это, не знаю, как назвать, на чем бы подать? Хворменно, чтоб предмет исделать. Блюдце бы, что ли?

Таня. Сейчас, сейчас. Давайте сюда; покамест вот так. *(Ставит на диванчик.)*

1-й мужик. Это какого звания, примерно, почтенный подходил-то к нам?

Таня. Это камердин.

1-й мужик. Прямое дело, камардин. В распоряжении, значит, тоже. *(К Тане.)* А вы, примерно, тоже при услужении будете?

Таня. В горничных я. Ведь я тоже деменская. Я ведь вас знаю, и вас знаю, только энтого дяденьку не знаю. *(Указывает на третьего мужика.)*

3-й мужик. Тех вознала, а меня не вознала?

Таня. Вы Ефим Антоныч?

1-й мужик. Двистительно.

Таня. А вы Семенов родитель, Захар Трифоныч?

2-й мужик. Верно.

3-й мужик. А я, скажем, Митрий Чиликин. Вознала теперь?

Таня. Теперь и вас знать будем.

2-й мужик. Ты чья же будешь?

Таня. А Аксиньи, солдатки покойной сирота.

1-й и 3-й мужики *(с удивлением)*. Ну-у?!

2-й мужик. Недаром говорится: дай за поросенка грош, посади в рожь, он и будет хорош.

1-й мужик. Двистительно. Сходственно, вроде как мамзель.

3-й мужик. Это как есть. О господи!

Василий Леонидыч *(за сценой звонит, а потом кричит)*. Григорий! Григорий!

1-й мужик. Кто ж это так очень себя беспокоит, примерно?

Таня. Молодой барин это.

3-й мужик. О господи! Сказывал, пока что, лучше бы наружу подождали.

Молчание.

2-й мужик. Тебя-то Семен замуж берет?

Таня. А разве он писал? *(Закрывается фартуком.)*

2-й мужик. Стало писал! Да не дело задумал. Избаловался, вижу, малый.

Таня *(живо)*. Нет, он ничего не избаловался. Послать его вам?

2-й мужик. Чего посылать-то. Дай срок. Успеем!

Слышны отчаянные крики Василья Леонидыча: «Григорий! черт тебя возьми!»

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же. Из двери Василий Леонидыч (в рубашке, надевает pince-nez).

Василий Леонидыч. Вымерли все?

Таня. Нет его, Василий Леонидыч... Сейчас я пошлю. *(Направляется к двери.)*

Василий Леонидыч. Ведь я слышу, что разговаривают. Это что за чучелы явились? А, что?

Таня. Это мужички из курской деревни, Василий Леонидыч.

Василий Леонидыч *(на артельщика)*. А это кто? А, да, от Бурдье!

Мужики кланяются. Василий Леонидыч не обращает на них внимания, Григорий встречается с Таней в дверях, Таня остается.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же и Григорий.

Василий Леонидыч. Я тебе говорил,— те ботинки. Не могу я эти носить!

Григорий. Да и те там же стоят.

Василий Леонидыч. Да где же там?

Григорий. Да там же.

Василий Леонидыч. Врешь!

Григорий. Да вот увидите.

Василий Леонидыч и Григорий уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Таня, три мужика и артельщик.

3-й мужик. А може, скажем, не время таперь, пошли бы на фатеру, обождали бы пока что.

Таня. Нет, ничего, подождите. Вот я вам сейчас тарелки для гостинцев принесу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Те же, Сахатов, Леонид Федорович, и за ними Федор Иваныч.

Мужики берут гостинцы и становятся в позы.

Леонид Федорович *(мужикам)*. Сейчас, сейчас, подождите. *(На артельщика.)* А это кто?

Артельщик. От Бурде.

Леонид Федорович. А, от Бурдье!

Сахатов *(улыбаясь)*. Да я не отрицаю; но, согласитесь, что, не видав всего того, что вы говорите, нашему брату, непосвященному, трудно верить.

Леонид Федорович. Вы говорите: я не могу верить. Но мы и не требуем веры. Мы требуем исследованья. Ведь не могу же я не верить этому кольцу. А кольцо получено мною оттуда.

Сахатов. Как *оттуда?* Откуда?

Леонид Федорович. Из того мира. Да.

Сахатов *(улыбаясь)*. Очень интересно, очень интересно!

Леонид Федорович. Но, положим, вы думаете, что я увлекающийся человек, воображающий себе то, чего нет, но ведь вот Алексей Владимирович Кругосветлов, кажется, не кто-нибудь, а профессор, и вот признает то же. Да не он один. А Крукс? А Валлас?

Сахатов. Да ведь я не отрицаю. Я говорю только, что это очень интересно. Интересно знать, как Кругосветлов объясняет?

Леонид Федорович. У него своя теория! Да вот приезжайте нынче вечером; он будет непременно. Сначала Гросман будет... знаете, известный угадыватель мыслей.

Сахатов. Да, я слышал, но ни разу не случалось видеть.

Леонид Федорович. Ну так приезжайте. Сначала Гросман, а потом Капчич, и наш сеанс медиу-

мический... *(Федору Иванычу.)* Не вернулся посланный от Капчича?

Федор Иваныч. Нет еще.

Сахатов. Так как же бы мне узнать?

Леонид Федорович. Да вы приезжайте, все равно приезжайте. Если Капчича и не будет, мы найдем своего медиума. Марья Игнатьевна — медиум; не такой сильный, как Капчич, но все-таки...

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Те же и Таня (входит с тарелками для гостинцев. Прислушивается к разговору).

Сахатов *(улыбаясь)*. Да, да. Но только вот обстоятельство: почему медиумы всегда из так называемого образованного круга? И Капчич и Марья Игнатьевна. Ведь если это особенная сила, то она должна бы встречаться везде, в народе, в мужиках.

Леонид Федорович. Так и бывает. Так часто бывает, что у нас в доме один мужик, и тот оказался медиумом. На днях мы позвали его во время сеанса. Нужно было передвинуть диван — и забыли про него. Он, вероятно, и заснул. И, представьте себе, наш сеанс уж кончился, Капчич проснулся, и вдруг мы замечаем, что в другом углу комнаты около мужика начинаются медиумические явления: стол двинулся и пошел.

Таня *(в сторону)*. Это когда я из-под стола лезла.

Леонид Федорович. Очевидно, что он тоже медиум. Тем более, что лицом он очень похож на Юма. Вы помните Юма? — белокурый, наивный.

Сахатов *(пожимая плечами)*. Вот как. Это очень интересно! Так вот вы его бы и испытали.

Леонид Федорович. И испытаем. Да и не он один. Медиумов бездна. Мы только не знаем их. Вот на днях одна больная старушка передвинула каменную стену.

Сахатов. Передвинула каменную стену?

Леонид Федорович. Да, да, лежала в постели и совсем не знала, что она медиум. Уперлась рукой о стену, а стена и отодвинулась.

Сахатов. И не завалилась?

Леонид Федорович. И не завалилась.

Сахатов. Странно! Ну, так я приеду вечером.

Леонид Федорович. Приезжайте, приезжайте! Сеанс будет во всяком случае.

Сахатов одевается. Леонид Федорович провожает его.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Те же, без Сахатова.

Артельщик *(Тане)*. Доложите же барыне! Что же, мне ночевать, что ли?

Таня. Подождите. Оне едут с барышней, так скоро сами выйдут. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Тани.

Леонид Федорович *(подходит к мужикам, те кланяются и подают гостинцы)*. Не надо это!

1-й мужик *(улыбаясь)*. Да уж это первым долгом происходит. Как и мир нам предлегал.

2-й мужик. Уж это как водится.

3-й мужик. И не толкуй! Потому, как мы много довольны... Как родители наши, скажем, вашим родителям, скажем, служили, так и мы жалаем от души, а не то чтобы как... *(Кланяется.)*

Леонид Федорович. Да что вы? Чего вы именно желаете?

1-й мужик. К вашей милости, значит.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Те же и Петрищев (быстро вбегает в шинели).

Петрищев. Василий Леонидыч проснулся? *(Увидев Леонида Федоровича, кланяется ему одной головой)*.

Леонид Федорович. Вы к сыну?

Петрищев. Я? Да, я на минутку к Вово.

Леонид Федорович. Пройдите, пройдите.

Петрищев снимает шинель и скоро идет.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Те же, без Петрищева.

Леонид Федорович *(к мужикам)*. Да-с. Ну, так вы что ж?

2-й мужик. Прими гостинцы-то.

1-й мужик *(улыбаясь)*. Значит, деревенские предложения.

3-й мужик. И не толкуй,— что там! Мы жалаем, как отцу родному. И не толкуй.

Леонид Федорович. Ну что ж... Федор, прими.

Федор Иваныч. Ну, давайте сюда. *(Берет гостинцы.)*

Леонид Федорович. Так в чем же дело?

1-й мужик. Да к вашей милости мы.

Леонид Федорович. Вижу, что ко мне; да чего же вы желаете?

1-й мужик. А насчет совершения продажи земли движение исделать. Происходит...

Леонид Федорович. Что же, вы покупаете землю, что ли?

1-й мужик. Двистительно, это как есть. Происходит... значит, насчет покупки собственности земли. Так мир нас, примерно, и вполномочил, чтобы взойтить, значит, как полагается, через государственную банку с приложением марки узаконенного числа.

Леонид Федорович. То есть вы желаете купить землю через посредство банка,— так, что ли?

1-й мужик. Это как есть, как летось вы нам предлог исделали. Происходит, значит, всей суммы полностью тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят четыре рубля в покупки собственности земли.

Леонид Федорович. Это так, но как же приплату?

1-й мужик. А приплату предлагает мир, чтоб, как летось говорено, рассрочить, значит, в получении в наличностях, по законам положений, четыре тысячи рублей полностью.

2-й мужик. Четыре тысячи получи денежки теперь, значит, а остальные чтоб обождать.

3-й мужик *(пока развертывает деньги)*. Уж это будь в надежде, себя заложим, а того не сделаем, чтоб как-нибудь, а скажем, как-никак, а чтобы, скажем, того... как должно́.

Леонид Федорович. Да ведь я писал вам, что я согласен только в таком случае, коли соберете все деньги.

1-й мужик. Это, двистительно, приятнее бы, да не в возможностях, значит.

Леонид Федорович. Так что же делать?

1-й мужик. Мир, примерно, на то упевал, что как летось предлог исделали в отсрочке платежа...

Леонид Федорович. То было прошлого года; тогда я соглашался, а теперь не могу...

2-й мужик. Да как же так? Обнадежил, мы и бумагу выправили, и деньги собрали.

3-й мужик. Помилосердствуй, отец. Земля наша малая, не то что скотину,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда. *(Кланяется.)* Не греши, отец! *(Кланяется.)*

Леонид Федорович. Это, положим, правда, что прошлого года я соглашался отсрочить, да тут вышло обстоятельство... Так что мне теперь это неудобно.

2-й мужик. Нам без этой земли надо жизни решиться.

1-й мужик. Двистительно, без земли наше жительство должно ослабнуть и в упадок произойти.

3-й мужик *(кланяется)*. Отец! земля малая, не то что скотину,— куренка, скажем, и того выпустить некуда! Отец! помилосердствуй. Прими денежки, отец.

Леонид Федорович *(просматривает пока бумагу)*. Я понимаю, мне самому хотелось бы вам сделать доброе. Вы подождите. Я вам через полчаса ответ дам. Федор, скажи, чтоб никого не принимать.

Федор Иваныч. Очень хорошо.

Леонид Федорович уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Те же, без Леонида Федоровича. Мужики в унынии.

2-й мужик. Ишь ты дело-то! Всё, говорит, подавай. А где их возьмешь?

1-й мужик. Кабы летось не обнадежил нас. А то мы так упевали, двистительно, что как летось говорено.

3-й мужик. О господи! Я было деньги раскутал. *(Завертывает деньги.)* Теперь что станем делать?

Федор Иваныч. Да у вас в чем дело состоит?

1-й мужик. Дело у нас, почтенный, зависит, примерно, вот в чем: предлегал он нам летось рассрочить. Мир на то и взошел мнением и нас вполномочил; а теперь он, примерно, предлегает, чтобы всю сумму полностью. А выходит дело никак неспособно.

Федор Иваныч. Денег-то много ль?

1-й мужик. Всей суммы в поступлении четыре тысячи рублей, значит.

Федор Иваныч. Так что ж? — понатужьтесь, соберите еще.

1-й мужик. И так натурно собирали. Пороху в этих смыслах, господин, не хватает.

2-й мужик. Как их нет, зубами не натянешь.

3-й мужик. Мы бы всей душой, да, скажем, и так под метелочку и эти-то собрали.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Те же, Василий Леонидыч и Петрищев (в дверях, оба с папиросками).

Василий Леонидыч. Да уж я сказал, буду стараться. Так буду стараться, что как только возможно. А, что?

Петрищев. Ты пойми, что если ты не достанешь, то это черт знает какая гадость!

Василий Леонидыч. Да уж сказал — буду стараться, и буду. А, что?

Петрищев. Да ничего. Я только говорю, что добудь непременно. Я подожду. *(Уходит, запирая дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Те же, без Петрищева.

Василий Леонидыч *(махая рукой)*. Черт знает что такое.

Мужики кланяются.

(Смотрит на артельщика. Федору Иванычу.) Что это вы этого от Бурдье не отпустите? Он уж совсем жить к нам переехал. Смотрите, он заснул. А, что?

Федор Иваныч. Да подали записку, велели подождать. Когда Анна Павловна выйдут.

Василий Леонидыч *(смотрит на мужиков и воззривается на деньги)*. А это что? Деньги? Это кому? Нам деньги? *(К Федору Иванычу.)* Это кто такие?

Федор Иваныч. Это крестьяне курские, землю покупают.

Василий Леонидыч. Что ж, продали?

Федор Иваныч. Да нет, не сошлись еще. Вот скупятся они.

Василий Леонидыч. А? Это надо их уговорить. *(К мужикам.)* Вы что ж, покупаете, а?

1-й мужик. Двистительно, мы предлегаем, чтобы как приобресть собственность владения земли.

Василий Леонидыч. А вы не скупитесь. Вы знаете, я вам скажу, как земля мужичку нужна! А, что? Очень нужна.

1-й мужик. Двистительно, земля мужику пристекает первая статья. Это как есть.

Василий Леонидыч. Ну, вот вы и не скупитесь. Ведь земля что? Можно ведь на ней пшеницу рядами, я вам скажу, посеять. Триста пудов можно взять, по рублю за пуд, триста рублей. А, что?.. А то мяту, так тысячу рублей, я вам скажу, можно с десятины слупить!

1-й мужик. Двистительно, это вполне, все продухты можно в действие произвесть, кто понятие имеет.

Василий Леонидыч. Так непременно мяту. Ведь я учился про это. Это в книгах напечатано. Я вам покажу. А, что?

1-й мужик. Двистительно, что касающее вам по книгам виднее. Умственность, значит.

Василий Леонидыч. Так покупайте, не скупитесь, а давайте деньги. *(Федору Иванычу.)* Папа где?

Федор Иваныч. Дома. Они просили не беспокоить их теперь.

Василий Леонидыч. Что ж, вероятно, у духа спрашивает, продать ли землю, или нет? А, что?

Федор Иваныч. Этого не могу сказать. Знаю, что пошли в нерешительности.

Василий Леонидыч. Как ты думаешь, Федор Иваныч, есть у него деньги? А, что?

Федор Иваныч. Уж не знаю. Едва ли. А вам зачем? Ведь вы на прошлой неделе взяли куш не маленький.

Василий Леонидыч. Да ведь я за собак отдал. А теперь ведь ты знаешь: наше новое общество, и Петрищев выбран, а я брал у Петрищева деньги, а теперь надо внести за него и за себя. А, что?

Федор Иваныч. Это какое ваше новое общество? Велосипедистов?

Василий Леонидыч. Нет, я тебе сейчас скажу: это новое общество. Очень, я тебе скажу, серьезное общество. И ты знаешь, кто председатель? А, что?

Федор Иваныч. В чем же это новое общество?

Василий Леонидыч. Общество поощрения разведения старинных русских густопсовых собак. А, что? И я тебе скажу: нынче первое заседание и завтрак. А вот денег-то нет! Пойду к нему, попытаюсь. *(Уходит в дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТОЕ

Мужики, Федор Иваныч и артельщик.

1-й мужик. *(Федору Иванычу).* Это кто же, почтенный, будут?

Федор Иваныч *(улыбаясь).* Молодой барин.

3-й мужик. Наследник, скажем. О господи! *(Прячет деньги.)* Прибрать, видно, пока что.

1-й мужик. А нам сказывали, что военный, в заслуге кавалерии, примерно.

Федор Иваныч. Нет, он, как единственный сын, уволен от воинской повинности.

3-й мужик. Для прокорму, скажем, родителев оставлен. Это правильно.

2-й мужик *(качает головой).* Этот прокормит, что и говорить.

3-й мужик. О господи!

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Федор Иваныч, три мужика, Василий Леонидыч, за ним в дверях Леонид Федорович.

Василий Леонидыч. Вот это всегда так. Право, удивительно. То говорят мне, отчего я ничем не занят, а вот когда я нашел деятельность и занят, основалось общество серьезное, с благородными целями, тогда жалко каких-нибудь триста рублей!..

Леонид Федорович. Сказал, что не могу, и не могу. Нет у меня.

Василий Леонидыч. Да ведь продали землю.

Леонид Федорович. Во-первых, не продал, и главное —оставь меня в покое. Ведь тебе сказали, что мне некогда. *(Захлопывает дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

Те же, без Леонида Федоровича.

Федор Иваныч. Я вам говорил, что теперь не время.

Василий Леонидыч. Вот, я вам скажу, положение, а? Пойду к мама, одно спасенье. А то сумасшествует с своим спиритизмом и всех забыл. *(Идет наверх.)*

Федор Иваныч садится было за газету.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Те же. Сверху сходят Бетси и Марья Константиновна. За ними Григорий.

Бетси. Карета готова?

Григорий. Выезжает.

Бетси *(Марье Константиновне)*. Пойдемте, пойдемте! Я видела, что это он.

Марья Константиновна. Кто он?

Бетси. Очень хорошо знаете, что Петрищев.

Марья Константиновна. Так где же он?

Бетси. У Вово сидит. Вот увидите.

Марья Константиновна. А вдруг не он?

Мужики и артельщики кланяются.

Бетси *(к артельщику)*. А, вы от Бурдье, с платьем?

Артельщик. Так точно. Прикажите отпустить.

Бетси. Да я не знаю. Это мама.

Артельщик. Не могу знать кому. Нам приказано снести и деньги получить.

Бетси. Ну так подождите.

Марья Константиновна. Это все тот же костюм для шарады?

Бетси. Да, прелестный костюм. А мама не берет и не хочет платить.

Марья Константиновна. Отчего же?

Бетси. А вот спросите у мама. Для Вово за собак заплатить пятьсот рублей не дорого, а платье сто рублей дорого. А не могу же я играть чучелой! *(На мужиков.)* А это кто такие?

Григорий. Мужики, землю покупают какую-то.

Бетси. А я думала, охотники. Вы не охотники?

1-й мужик. Никак нет-с, госпожа. Мы насчет свершения продажи акта земли, к Леониду Федоровичу.

Бетси. Как же, к Вово должны были прийти охотники? Да вы наверное не охотники?

Мужики молчат.

Какие глупые! *(Подходит к двери.)* Вово! *(Хохочет.)*

Марья Константиновна. Да ведь мы его встретили сейчас.

Бетси. Охота вам помнить!.. Вово, ты здесь?

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Петрищев.

Петрищев. Вово нет, но я готов исполнить за него все, что потребуется. Здравствуйте! Здравствуйте, Марья Константиновна! *(Трясет руку сильно и долго Бетси, а потом Марье Константиновне.)*

2-й мужик. Вишь, ровно воду накачивает.

Бетси. Заменить не можете, но все-таки лучше, чем ничего. *(Хохочет.)* Какие это у вас дела с Вово?

Петрищев. Дела? Дела фи-нансовые, то есть они, дела наши — фи! и вместе с тем нансовые, и кроме еще финансовые.

Бетси. Что же значит нансовые?

Петрищев. Вот вопрос! В том-то и штука, что ничего не значит!

Бетси. Ну, это не вышло, совсем не вышло! *(Хохочет.)*

Петрищев. Нельзя ведь, чтобы всякий раз выходило. Это вроде аллегри. Аллегри, аллегри, а потом и выигрыш.

Федор Иваныч уходит в кабинет Леонида Федоровича.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

Те же, без Федора Иваныча.

Бетси. Ну, это не вышло; а скажите, вы вчера были у Мергасовых?

Петрищев. Не столько у mère Gassof, сколько у père Gassof, и даже не père Gassof, а у fils Gassof [1].

Бетси. Не может без jeu de mots?[2] Это болезнь. И цыгане были? *(Смеется.)*

Петрищев *(поет)*. На фартучках петушки, золотые гребешки!..

Бетси. Экие счастливые! А мы скучали у Фофо́.

Петрищев *(продолжая напевать)*. И божилась, и клялась — побывать ко мне... Как дальше? Марья Константиновна, как дальше?

[1] *Игра слов:* Не столько у мамаши Гасовой, сколько у папаши Гасова, и даже не папаши Гасова, а у сына Гасова.

[2] игры слов? *(франц.)*

Марья Константиновна. Ко мне на час...

Петрищев. Как? Как, Марья Константиновна? *(Хохочет.)*

Бетси. Cessez, vous devenez impossible![1]

Петрищев. J'ai cessé, j'ai bébé, j'ai dédé...[2]

Бетси. Я вижу одно средство избавиться от ваших острот — это заставить вас петь. Пойдемте к Вово в комнату, у него и гитара есть. Пойдемте, Марья Константиновна, пойдемте!

Бетси, Марья Константиновна и Петрищев уходят в комнату Василия Леонидыча.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Григорий, три мужика и артельщик.

1-й мужик. Это чьи же?

Григорий. Одна — барышня, а другая — мамзель, музыке учит.

1-й мужик. В науку производит, значит. А как аккуратна. Настоящий патрет.

2-й мужик. Что же замуж не выдают? Года-то уж небось вышли?

Григорий. Разве как у вас, пятнадцати лет?

1-й мужик. А мужчинка-то тот, примерно, из музыканщиков?

Григорий *(передразнивая)*. Из музыканщиков!.. Ничего-то вы не понимаете!

1-й мужик. Это, двистительно, глупость наша, значит, необразованность.

3-й мужик. О господи!

Слышно пение цыганских песен с гитарой из комнаты Василия Леонидыча.

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Григорий, три мужика, артельщик, входит Семен и вслед за ним Таня. Таня наблюдает за встречей отца с сыном.

Григорий *(к Семену)*. Ты чего?

---

[1] Перестаньте, вы становитесь невыносимы! *(франц.)*

[2] J'ai cessé *(франц.)* — я перестал. Далее игра созвучий. J'ai bébé *(франц.)* — буквально: я имею малютку.

Семен. К господину Капчичу посылали.

Григорий. Ну, что?

Семен. На словах приказали сказать, нынче никак быть не могут.

Григорий. Хорошо, я доложу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Те же, без Григория.

Семен *(отцу)*. Здорово, батюшка! Дяде Ефиму, дяде Митрию — почтение! Дома здоровы ли?

2-й мужик. Здорово, Семен.

1-й мужик. Здорово, братец.

3-й мужик. Здорово, малый. Жив ли?

Семен *(улыбаясь)*. Что ж, батюшка, пойдем, что ль, чайку попить?

2-й мужик. Погоди, отделаемся,— разве не видишь, недосуг теперь?

Семен. Ну, ладно, я у крыльца ждать буду. *(Уходит)*.

Таня *(бежит за ним)*. Ты что ж ничего не сказал?

Семен. Как же теперь говорить при народе? Дай срок, пойдем чай пить, я и скажу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Те же, без Семена, Федор Иваныч выходит и садится к окну с газетой.

1-й мужик. Ну что ж, почтенный, как дело наше происходит?

Федор Иваныч. Погодите, сейчас выйдет, кончает.

Таня *(к Федору Иванычу)*. А вы почем, Федор Иваныч, знаете, что кончает?

Федор Иваныч. А я знаю, когда он вопросы окончит, то он вслух перечитывает вопрос и ответ.

Таня. Неужели ж правда, что блюдечком можно разговаривать с духами?

Федор Иваныч. Стало быть, можно.

Таня. Ну что ж, они ему скажут подписать — он и подпишет?

Федор Иваныч. А то как же?

Таня. Да ведь они словами не говорят?

Федор Иваныч. Азбукой. Против какой буквы остановится, он и замечает.

Таня. Ну, а если в сиансе?..

ЯВЛЕНИЕ СОРОКОВОЕ

Те же и Леонид Федорович.

Леонид Федорович. Ну, друзья мои, не могу. Очень бы желал, но никак не могу. Если все деньги, то другое дело.

1-й мужик. Это, двистительно, чего б лучше. Да маломочен народ, никак невозможно.

Леонид Федорович. Не могу, не могу никак. Вот и бумага ваша. Не могу подписать.

3-й мужик. А ты пожалей, отец, помилосердствуй!

2-й мужик. Что ж так делать? Обида это.

Леонид Федорович. Обиды, братцы, нету. Я вам тогда летом говорил: коли хотите, делайте. Вы не захотели, а теперь мне нельзя.

3-й мужик. Отец! смилосердуйся. Как жить таперича? Земля малая, не то что скотину — курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Леонид Федорович идет и останавливается в дверях.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ПЕРВОЕ

Те же, барыня и доктор сходят сверху. За ними Василий Леонидыч, в веселом и игривом настроении духа, укладывает деньги в бумажник.

Барыня *(затянутая, в шляпке)*. Так принять?

Доктор. Коли повторные явления будут, непременно принять. А главное — ведите себя лучше. А то как же вы хотите, чтобы густой сироп прошел через тоненькую волосяную трубочку, когда еще мы эту трубочку зажмем? Нельзя? Так и желчепровод. Все ведь это очень просто.

Барыня. Ну, хорошо, хорошо.

Доктор. То-то хорошо, а все по-старому; а так, барыня, нельзя, нельзя. Ну прощайте!

Барыня. Не прощайте, а до свиданья. Вечером я вас все-таки жду; без вас я не решусь.

Доктор. Ладно, ладно. Коли время будет, заверну. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ВТОРОЕ

Те же, без доктора.

Барыня *(увидав мужиков)*. Это что? Что это? Что это за люди?

Мужики кланяются.

Федор Иваныч. Это крестьяне из Курской о покупке земли к Леониду Федоровичу.

Барыня. Я вижу, что крестьяне, да кто их пустил?

Федор Иваныч. Леонид Федорович приказали. Они с ними сейчас говорили о продаже земли.

Барыня. И какая продажа? Совсем не нужно продавать. А главное — как же пускать людей с улицы в дом! Как пускать людей с улицы! Нельзя пускать в дом людей, которые ночевали бог знает где... *(разгорячается все более и более.)* В одеждах, я думаю, всякая складка полна микроб: микробы скарлатины, микробы оспы, микробы дифтерита! Да ведь они из Курской, из Курской губернии, где повальный дифтерит!.. Доктор, доктор! Воротите доктора!

Леонид Федорович уходит, закрывая дверь. Григорий выходит за доктором.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ТРЕТЬЕ

Те же, без Леонида Федоровича и Григория.

Василий Леонидыч *(курит на мужиков)*. Ничего, мама, хотите я их окурю так, что всем микробам капут? А, что?

Барыня строго молчит, ожидая возвращения доктора.

(К мужикам.) А вы свиней выкармливаете? Вот выгодно-то!

1-й мужик. Двистительно, пускаем когда и по свиной части.

Василий Леонидыч. Таких... Иу, иу! *(Хрюкает поросенком.)*

Барыня. Вово, Вово! перестань!

Василий Леонидыч. Похоже? А, что?

1-й мужик. Двистительно, сходственно.

Барыня. Вово, перестань, я тебе говорю!

2-й мужик. Это к чему же?

3-й мужик. Сказывал, на фатеру бы пока что.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, доктор и Григорий.

Доктор. Ну, что еще? Что такое?

Барыня. Да вот вы говорите, чтобы не волноваться. Ну как тут быть спокойной? Я сестру не вижу два месяца, я остерегаюсь всякого сомнительного посетителя. И вдруг люди из Курска, прямо из Курска, где повальный дифтерит,— в середине моего дома!

Доктор. То есть вот эти молодцы-то?

Барыня. Ну да, прямо из дифтеритной местности!

Доктор. Да, коли из дифтеритной местности, то, разумеется, неосторожно, но все-таки очень-то волноваться незачем.

Барыня. Да ведь вы сами же предписываете осторожность?

Доктор. Ну да, ну да, только волноваться-то очень незачем.

Барыня. Да ведь как же? Полную дезинфекцию надо.

Доктор. Нет, что ж полную, это дорого слишком, рублей триста, а то и больше станет. А я вам дешево и сердито устрою. Возьмите-ка на большую бутылку воды...

Барыня. Отварной?

Доктор. Все равно. Отварной лучше... Так на бутылку воды столовую ложку салициловой кислоты, да и велите перемыть все, чего касались даже, а их самих, молодцов этих, разумеется, вон. Вот и все. Тогда смело. Да того же состава через пульверизатор в воздух пропустите, стаканчика два, три, и посмотрите, как хорошо будет. Совершенно безопасно!

Барыня. Таня где? Позовите Таню!

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ПЯТОЕ

Те же и Таня.

Таня. Что прикажете?

Барыня. Знаешь большую бутылку в уборной?

Таня. Из которой прачку вчера брызгали?

Барыня. Ну да, а то какая же! Так вот возьми ты эту бутыль и вымой прежде, где они стоят, мылом, потом этим...

Таня. Слушаю-с. Я знаю как.

Барыня. Да потом возьми пульверизатор... Впрочем, я вернусь, сама сделаю.

Доктор. Так и сделайте, и не бойтесь. Ну, так до свиданья, до вечера. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ШЕСТОЕ

Те же, без доктора.

Барыня. А их вон, вон, чтоб их духу не было. Вон, вон. Идите, что смотрите?

1-й мужик. Двистительно, мы как по глупости, как нам предлегаить...

Григорий *(выпроваживая мужиков)*. Ну, ну, идите, идите.

2-й мужик. Платок-то мой дай!

3-й мужик. О господи! Говорил я — на фатеру бы покуда что.

Григорий выталкивает его.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК СЕДЬМОЕ

Барыня, Григорий, Федор Иваныч, Таня, Василий Леонидыч и артельщик.

Артельщик *(несколько раз порывавшийся говорить)*. Будет ответ какой?

Барыня. А, это от Бурдье? *(Горячась)*. Никакого, никакого, и несите назад. Я ей говорила, что я такого костюма не заказывала и дочери своей носить не позволю.

Артельщик. Не могу знать, меня послали.

Барыня. Ступайте, ступайте и несите назад. Я сама заеду.

Василий Леонидыч *(торжественно)*. Господин посланник от Бурдье, ступайте!

Артельщик. Давно бы сказали. Что ж я пять часов сидел?

Василий Леонидыч. Посланец Бурдье, ступайте!

Барыня. Перестань, пожалуйста.

Артельщик уходит.

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ВОСЬМОЕ

Те же, без артельщика.

Барыня. Бетси! Где она? Вечно ее ждать.

Василий Леонидыч *(кричит во все горло).* Бетси! Петрищев! Идите скорей! Скорей! Скорей! А, что?

ЯВЛЕНИЕ СОРОК ДЕВЯТОЕ

Те же, Петрищев, Бетси и Марья Константиновна.

Барыня. Вечно тебя ждешь.

Бетси. Напротив, я вас жду.

Петрищев кланяется одной головой и целует руку барыне.

Барыня. Здравствуйте! *(К Бетси.)* Всегда отвечать!

Бетси. Если вы, мама, не в духе, так лучше я не поеду.

Барыня. Едем или не едем?

Бетси. Да едемте, что ж делать?

Барыня. Видела от Бурдье?

Бетси. Видела и очень была рада. Я заказывала костюм и надену, когда заплатят за него деньги.

Барыня. Я не заплачу и не позволю надеть неприличный костюм.

Бетси. Отчего он стал неприличный? То был приличен, а то на вас pruderie [1] нашла.

Барыня. Не pruderie, а переделать весь лиф, тогда можно.

Бетси. Мама, право, это невозможно.

Барыня. Ну, одевайся же.

Садятся. Григорий надевает ботики.

Василий Леонидыч. Марья Константиновна! А вы видите, какая пустота в передней?

Марья Константиновна. А что? *(Вперед смеется.)*

Василий Леонидыч. А от Бурдье ушел. А, что? Хорошо? *(Хохочет громко.)*

Барыня. Ну, едем. *(Выходит в дверь и тотчас же возвращается.)* Таня!

---

[1] преувеличенная стыдливость *(франц.)*.

Таня. Что прикажете?

Барыня. Фифку без меня чтоб не простудить. Если будет проситься выпускать, то непременно надеть капотец желтенький. Она не совсем здорова.

Таня. Слушаю-с.

Барыня, Бетси и Григорий уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТОЕ

Петрищев, Василий Леонидыч, Таня и Федор Иваныч.

Петрищев. Ну что же, добыл?

Василий Леонидыч. Я тебе скажу, с трудом. Сначала сунулся к родителю,— зарычал и прогнал. Я к родительнице,— ну и добился. Тут! (*Хлопает по карману.*) Уж если я возьмусь, от меня не уйдешь... Мертвая хватка. А, что? А нынче ведь приведут моих волкодавов.

Петрищев и Василий Леонидыч одеваются и уходят. Таня идет за ними.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

Федор Иваныч один.

Федор Иваныч. Да, все неприятности. И как это они не могут в согласии жить? Да и правду сказать, молодое поколенье — не то. А царство женщин? Как давеча Леонид Федорович хотели было вступиться, да увидали, что она в экстазе, захлопнули дверь. Редкой доброты человек! Да, редкой доброты... Это что? Таня-то их опять ведет.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

Федор Иваныч, Таня и три мужика.

Таня. Идите, идите, дяденьки, ничего.

Федор Иваныч. Зачем же ты их опять привела?

Таня. Да как же, Федор Иваныч, батюшка, надо же как-нибудь похлопотать за них. А я уж вымою заодно.

Федор Иваныч. Да ведь не сойдется дело, я уж вижу.

1-й мужик. Как же, поштенный, наше дело в дей-

ствие произвесть? Вы, ваше степенство, побеспокойтесь как-нибудь, а уж мы в награждение хлопот от миру благодарность представить можем вполне.

3-й мужик. Постарайся, соколик, жить нам нельзя. Земля малая,— не то что скотину, а курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Кланяются.

Федор Иваныч. И жалко мне вас, да не знаю, братцы. Я ведь очень понимаю. Да ведь отказал он. Теперь как же? Да и барыня еще несогласна. Едва ли! Ну, да давайте бумагу,— пойду, попытаюсь, попрошу его. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

Таня и три мужика (вздыхают).

Таня. Да вы мне скажите, дяденьки, в чем дело-то стало?

1-й мужик. Да вот только бы подписом приложения руки.

Таня. Только чтоб барин бумагу подписал, да?

1-й мужик. Только всего, приложить руку и деньги взять, вот бы и развязка.

3-й мужик. Написал бы только: как мужички, скажем, жалают, так, скажем, и я жалаю. И всего дела: взял, подписал, и крышка.

Таня. Только подписать? На бумаге только чтоб барин подписал? *(Задумывается.)*

1-й мужик. Двистительно, только всего и зависит дело. Подписал, значит, и больше никаких.

Таня. Вы погодите, что вот Федор Иваныч скажет. Если он не уговорит, я попытаю одну штуку.

1-й мужик. Объегоришь?

Таня. Попытаю.

3-й мужик. Ай, деушка, хлопотать хочет. Только выхлопочи ты дело, сю жизнь, скажем, кормить миром обвяжемся. Во как!

1-й мужик. Кабы в действие произвесть такое дело, двистительно озолотить можно.

2-й мужик. Да уж что говорить!

Таня. Верно не обещаю; как это говорится, попытка — не шутка, а...

1-й мужик. А спрос — не беда. Это двистительно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Федор Иваныч.

Федор Иваныч. Нет, братцы, не выходит ваше дело, не согласился и не согласится. Берите бумагу. Идите, идите.

1-й мужик *(берет бумагу, к Тане)*. Так уж на тебя, примерно, упевать станем.

Таня. Сейчас, сейчас. Вы идите, на улице подождите, а я сию минутую выбегу, скажу что́.

Мужики уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

Федор Иваныч и Таня.

Таня. Федор Иваныч, голубчик, доложите барину, чтоб он ко мне вышел. Мне ему словечко сказать надо.

Федор Иваныч. Это что за новости?

Таня. Да нужно, Федор Иваныч. Доложите, пожалуйста, худого ничего, ей-богу.

Федор Иваныч. Какое такое дело?

Таня. Да секрет маленький. Я вам после открою. Вы доложите только.

Федор Иваныч *(улыбаясь)*. И что ты строишь, не пойму! Да ну, скажу, скажу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

Таня одна.

Таня. Право, сделаю. Ведь он сам говорил, что сила в Семене есть, а ведь я все знаю, как делать. Тогда никто не догадался. А теперь научу Семена. А не выйдет дело, не беда. Разве грех какой?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

Таня, Леонид Федорович и за ними Федор Иваныч.

Леонид Федорович *(улыбаясь)*. Вот просительница-то! Что это у тебя за дело?

Таня. Секрет маленький, Леонид Федорович. Позвольте мне один на один сказать.

Леонид Федорович. Что так? Федор, выдь на минутку.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

Леонид Федорович и Таня.

Таня. Как я жила, выросла в вашем доме, Леонид Федорович, и как благодарна вам за все, я как отцу родному откроюсь. Живет у вас Семен, и хочет он на мне жениться.

Леонид Федорович. Вот как!

Таня. Открываюсь перед вами, как перед богом. Посоветоваться мне не с кем, как сирота я.

Леонид Федорович. Что ж, отчего же! Он, кажется, малый хороший.

Таня. Это точно, он все бы ничего, только одно я сумлеваюсь. И спросить хотела вас, что есть за ним одно дело, а я и понять не могу... как бы не худое что.

Леонид Федорович. Что ж, он пьет?

Таня. Нет, помилуй бог! А как я знаю, что спиритичество есть...

Леонид Федорович. Знаешь?

Таня. Как же-с! Я очень понимаю. Другие, точно, по необразованию не понимают этого...

Леонид Федорович. Ну так что ж?

Таня. Да вот опасаюсь насчет Семена. С ним это бывает.

Леонид Федорович. Что бывает?

Таня. Да вот вроде, как спири...тичество. Это у людей спросите. Как только он задремлет у стола, сейчас стол затрясется, весь заскрипит так: тук, ту... тук! Все и люди слышали.

Леонид Федорович. Вот как раз то, что я утром Сергею Ивановичу говорил. Ну?..

Таня. А то... когда это было?.. Да, в середу. Сели обедать. Только он сел за стол, а ложка сама к нему в руку — прыг!

Леонид Федорович. А, это интересно! И в руку прыг? Что ж, он задремал?

Таня. Вот уж не приметила. Кажется, что задремал.

Леонид Федорович. Ну?..

Таня. Ну, вот я и опасаюсь и об этом спросить хотела, что не будет ли от этого вреда? Тоже век жить, а в нем такое дело.

Леонид Федорович *(улыбаясь)*. Нет, не бойся,

тут худого ничего нет. А это значит только то, что он *медиум,*— просто медиум. Я и прежде знал, что он медиум.

Таня. Вот что... А я-то боялась!

Леонид Федорович. Нет, не бойся, ничего. *(Сам с собой.)* Вот и прекрасно. Капчича не будет, мы его нынче и испытаем... Нет, ты, милая, не бойся, он и хороший муж будет, и все... А это особенная сила, она во всех есть. Только в одних слабей, в других сильней.

Таня. Покорно вас благодарю. Я теперь и думать не буду. А то я боялась... Что значит неученье-то наше!

Леонид Федорович. Нет, нет, не бойся. Федор!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

Те же и Федор Иваныч.

Леонид Федорович. Я пойду со двора. К вечеру приготовь все для сеанса.

Федор Иваныч. Да ведь Капчич не изволит быть.

Леонид Федорович. Ничего, все равно. *(Надевает шинель.)* Пробный сеанс будет с своим медиумом. *(Уходит. Федор Иваныч провожает его.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТИДЕСЯТОЕ

Таня одна.

Таня. Поверил, поверил! *(Взвизгивает, прыгает.)* Ей-богу, поверил! Вот чудо-то! *(Взвизгивает.)* Теперь сделаю, только бы Семен не сробел.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

Таня и Федор Иваныч (возвращается).

Федор Иваныч. Ну что же, сказала свой секрет?

Таня. Сказала. Да я и вам открою, только после... А у меня и к вам, Федор Иваныч, просьба есть.

Федор Иваныч. Какая же это ко мне-то просьба?

Таня *(стыдливо)*. Вы мне как второй отец были, я вам как перед богом откроюсь.

Федор Иваныч. Да ты не виляй, прямо к делу.

Таня. Да что дело? Дело то, что Семен на мне жениться хочет.

Федор Иваныч. Вот как! То-то я примечаю...

Таня. Да что ж мне скрываться? Мое дело сиротское, а вы сами знаете здешнее городское заведение: всякий пристает; хоть бы Григорий Михайлыч, проходу от него нету. Тоже и этот... знаете? Они думают, что у меня души нет, что я только им для забавы далась...

Федор Иваныч. Умница, хвалю! Ну, так что же?

Таня. Да Семен писал отцу, а он, отец-то, нынче меня увидал, да сейчас и говорит: избаловался,—про сына-то. Федор Иваныч! *(Кланяется.)* Будьте мне заместо отца, поговорите с стариком, с Семеновым отцом. Я бы их в кухню провела, а вы бы зашли, да и поговорили старику.

Федор Иваныч *(улыбаясь)*. Это сватом я, значит, буду? Что ж, можно.

Таня. Федор Иваныч, голубчик, будьте заместо отца родного, а я век за вас буду бога молить.

Федор Иваныч. Хорошо, хорошо; пройду ужо. Обещаю, так сделаю. *(Берет газету.)*

Таня. Второй отец мне будете.

Федор Иваныч. Хорошо, хорошо.

Таня. Так я буду в надежде... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

Федор Иваныч один.

Федор Иваныч *(кивает головой)*. А ласковая девочка, хорошая. А ведь сколько их таких пропадает, подумаешь! Только ведь промахнись раз один — пошла по рукам... Потом в грязи ее уж не сыщешь. Не хуже, как Наталья сердечная... А тоже была хорошая, тоже мать родила, лелеяла, выращивала... *(Берет газету.)* Ну-ка, что Фердинанд наш, как изворачивается?..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Театр представляет внутренность людской кухни. Мужики, раздевшись и запотев, сидят у стола и пьют чай. Федор Иваныч с сигарой на другом конце сцены. На печке старый повар, не видный первые четыре явления.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Три мужика и Федор Иваныч.

Федор Иваныч. Мой совет, ты ему не препят-

ствуй. Если его желание есть и ее тоже, так и с богом. Девушка хорошая, честная. На это не смотри, что она щеголиха. Это по-городски, нельзя без этого. А девушка умная.

2-й мужик. Что ж, коли его охота есть. Ему жить с ней, а не мне. Только уж оченно чиста. Как ее в избу введешь? Свекрови-то она и погладиться не дастся.

Федор Иваныч. Это, братец ты мой, не от чистоты, а от характера. Коли доброго характера, так будет покорна и уважительна.

2-й мужик. Да уж возьму, коли так малый усетился, чтобы беспременно ее взять. Тоже с немилой жить беда! Со старухой посоветуюсь, да и с богом.

Федор Иваныч. Ну, и по рукам.

2-й мужик. Да уж видно, что так.

1-й мужик. И как тебе фортунит, Захар: приехал за совершением дела, а глядь — сноху за сына какую кралю высватал. Только бы спрыснуть, значит, чтобы хворменно было.

Федор Иваныч. Этого совсем не нужно.

Неловкое молчание.

Я ведь вашу жизнь крестьянскую очень понимаю. Я, вам скажу, сам подумываю, где бы землицы купить. Домик построил бы да крестьянствовал. Хоть бы в вашей стороне.

2-й мужик. Разлюбезное дело!

1-й мужик. Двистительно, при деньгах можно в деревне себе всякое удовольствие получить.

3-й мужик. Что и говорить! Деревенское дело, скажем, во всяком разе слободно, не то, что в городу.

Федор Иваныч. Что ж, примете в общество, коли у вас поселюсь?

2-й мужик. Отчего же не принять? Вина старикам выставишь, сейчас примут.

1-й мужик. Да питейное заведение, примерно, или трактир откроете, житье такое будет, что умирать не надо. Царствуй, и больше никаких.

Федор Иваныч. Там видно будет. А только хочется на старости лет спокойно пожить. Жить мне и здесь хорошо — жалко и оставить: Леонид Федорович ведь редкой доброты человек.

1-й мужик. Это двистительно. Да что же он наше-то дело? Ужели ж так, без последствий?

Федор Иваныч. Он-то бы рад.

2-й мужик. Видно, он жены боится.

Федор Иваныч. Не боится, а тоже согласия нет.

3-й мужик. А ты бы, отец, постарался, а то как нам жить? Земля малая...

Федор Иваныч. Да вот посмотрим, что выйдет от Татьяниных хлопот. Ведь она взялась.

3-й мужик *(пьет чай)*. Отец, помилосердствуй! Земля малая, не токмо скотину,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Федор Иваныч. Да кабы в моих руках дело было. *(Ко 2-му мужику.)* Так так, братец, сваты мы с тобой будем. Кончено дело об Тане-то?

2-й мужик. Да уж сказал коли я, и без пропою назад не попячусь. Только бы дело наше вышло.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, входит кухарка, заглядывает на печку, делает туда знаки и тотчас же начинает оживленно говорить с Федором Иванычем.

Кухарка. Сейчас из белой кухни позвали Семена вверх; барин да энтот, что вызывает с ним, лысый-то, посадили его да велели на место Капчича действовать.

Федор Иваныч. Что ты врешь!

Кухарка. Как же! сейчас Тане Яков сказывал.

Федор Иваныч. Чудно́ это!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и кучер.

Федор Иваныч. Ты что?

Кучер *(к Федору Иванычу)*. Так и скажите, что я не нанимался с собаками жить. Пускай другой кто живет, а я с собаками жить не согласен.

Федор Иваныч. С какими собаками?

Кучер. Да привели от Василья Леонидыча трех кобелей к нам в кучерскую. Напакостили, воют, а приступиться нельзя — кусаются. Злые, черти! — того и гляди, сожрут. И то хочу поленом ноги им перебить.

Федор Иваныч. Да когда же это?

Кучер. Да нынче привели с выставки, какие-то

дорогие, пустопсовые, что ль, леший их знает! Либо собакам в кучерской, либо кучерам жить. Так и скажите.

Федор Иваныч. Да, это непорядок. Я пойду спрошу.

Кучер. Их бы сюда, что ль, к Лукерье.

Кухарка *(горячо)*. Тут люди обедают, а ты кобелей запереть хочешь. Уж и так...

Кучер. А у меня кафтаны, полости, сбруя. А чистоту спрашивают. Ну, в дворницкую, что ль.

Федор Иваныч. Надо Василью Леонидычу сказать.

Кучер *(сердито)*. Повесил бы себе на шею кобелей этих, да и ходил бы с ними, а то сам-то небось на лошадях ездить любит. Красавчика испортил ни за что. А лошадь была!.. Эх, житье! *(Уходит, хлопая дверью.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без кучера.

Федор Иваныч. Да, непорядки, непорядки! *(К мужикам.)* Ну, так так-то, пока прощайте, ребята!

Мужики. С богом.

Федор Иваныч уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, без Федора Иваныча. Как только Федор Иваныч уходит, на печке слышно кряхтенье.

2-й мужик. Уж и гладок же, ровно анарал.

Кухарка. Да что и говорить! Горница особая, стирка на него вся от господ, чай, сахар — это все господское, и пища со стола.

Старый повар. Как черту не жить,— накрал!

2-й мужик. Это чей же, на печке-то?

Кухарка. Да так, человечек один.

Молчание.

1-й мужик. Ну, да и у вас, посмотрел я давеча, ужинали, капиталец дюже хорош.

Кухарка. Жаловаться нельзя. На это она не скупа. Белая булка по воскресеньям, рыба в постные дни по праздникам, а кто хошь, и скоромное ешь.

2-й мужик. Разве постом лопает кто?

Кухарка. Э, да все почитай. Только и постятся,

что кучер (не этот, что приходил, а старый...), да Сема, да я, да икономка, а то все скоромное жрут.

2-й мужик. Ну, а сам-то?

Кухарка. Э, хватился! да он и думать забыл, какой такой пост есть.

3-й мужик. О господи!

1-й мужик. Дело господское, по книжкам дошли. Потому умственность!

3-й мужик. Ситник-то каждый день, я чай?

Кухарка. О, ситник! Не видали они твоего ситника! Посмотрел бы пищу у них: чего-чего нет!

1-й мужик. Господская пища, известно, воздушная.

Кухарка. Воздушная-то, воздушная,— ну, да и здоровы жрать.

1-й мужик. В аппеките, значит.

Кухарка. Потому запивают. Вин этих сладких, водок, наливок шипучих, к каждому кушанью — свое. Ест и запивает, ест и запивает.

1-й мужик. Она, значит, в препорцию и проносит пищу-то.

Кухарка. Да уж как здоровы жрать — беда! У них ведь нет того, чтоб сел, поел, перекрестился да встал, а бесперечь едят.

2-й мужик. Как свиньи, в корыто с ногами.

Мужики смеются.

Кухарка. Только, господи благослови, глаза продерут, сейчас самовар, чай, кофе, шиколад. Только самовара два отопьют, уж третий ставь. А тут завтрак, а тут обед, а тут опять кофий. Только отвалятся, сейчас опять чай. А тут закуски пойдут: конфеты, жамки — и конца нет. В постели лежа — и то едят.

3-й мужик. Вот так так. *(Хохочет.)*

1-й и 2-й мужики. Да ты чего?

3-й мужик. Хоть бы денек так пожить!

2-й мужик. Ну, а когда же дела делают?

Кухарка. Какие у них дела? В карты да в фортепьяны — только и делов. Барышня, так та, бывало, как глаза продерет, так сейчас к фортепьянам, и валяй! А эта, что живет, учительша, стоит, ждет, бывало, скоро ли опростаются фортепьяны; как отделалась одна, давай эта закатывать. А то двое фортепьян поставят,

да по двое, вчетвером запузыривают. Так-то запузыривают, аж здесь слышно.

3-й мужик. Ох, господи!

Кухарка. Ну, вот только и делов: в фортепьяны, а то в карты. Как только съехались, сейчас карты, вино, закурят — и пошло на всю ночь. Только встанут — поесть опять!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Семен.

Семен. Чай да сахар!

1-й мужик. Милости просим, садись.

Семен *(подходит к столу)*. Благодарю покорно.

1-й мужик наливает ему чай.

2-й мужик. Где был?

Семен. Вверху был.

2-й мужик. Что ж, какие же там дела?

Семен. Да и не поймешь. Не знаю, как сказать.

2-й мужик. Да что ж, дело какое?

Семен. Да и не знаю, как сказать, силу какую-то во мне пытали. Да я не пойму. Татьяна говорит: делай, мы, говорит, нашим мужикам землю охлопочем, продаст.

2-й мужик. Да как же она сделает-то?

Семен. Да не пойму от нее, она не сказывает. Только, говорит, делай, как я велю!

2-й мужик. Что ж делать-то?

Семен. Да сейчас ничего. Посадили меня, свет потушили, велели спать. А Татьяна тут же схоронилась. Они не видят, а я вижу.

2-й мужик. Что ж это, к чему?

Семен. А бог их знает — не поймешь.

1-й мужик. Известно, для разгулки времени.

2-й мужик. Ну, видно, этих делов не разберем мы с тобой. А вот ты сказывай: денег ты много забрал?

Семен. Я не брал, все зажито, двадцать восемь рублей, должно.

2-й мужик. Это ладно. Ну, а коли бог даст, о земле сладимся, ведь я тебя, Семка, домой возьму.

Семен. С моим удовольствием.

2-й мужик. Набаловался ты, я чай. Пахать не захочешь?

Семен. Пахать-то? Давай сейчас. Косить, пахать, это все из рук не вывалится.

1-й мужик. А все, примерно, после городского жительства не поманится.

Семен. Ничего, и в деревне жить можно.

1-й мужик. А вот дядя Митрий на твое место охотится, на великатную жизнь.

Семен. Ну, дядя Митрий, наскучит. Оно, глядеться, легко, а беготни тоже много. Замотаешься.

Кухарка. Вот ты бы, дядя Митрий, посмотрел балы у них. Вот подивился бы!

3-й мужик. А что ж, едят всё?

Кухарка. Куды тебе? Посмотрел бы, что было! Меня Федор Иваныч провел. Посмотрела я: барыни — страсть! Разряжены, разряжены, что куда тебе! А по сих мест голые, и руки голые.

3-й мужик. О господи!

2-й мужик. Тьфу, скверность!

1-й мужик. Значит, клеймат так позволяет.

Кухарка. Так-то и я, дяденька, глянула: что ж это? — все телешом. Веришь ли, старые — наша барыня, у ней, мотри, внуки,— тоже оголились.

3-й мужик. О господи!

Кухарка. Так ведь что: как вдарит музыка, как взыграли,— сейчас это господа подходят каждый к своей, обхватит и пошел кружить.

2-й мужик. И старухи?

Кухарка. И старухи.

Семен. Нет, старухи сидят.

Кухарка. Толкуй, я сама видела!

Семен. Да нет же.

Старый повар *(высовываясь, хрипло)*. Полька-мазурка это. Э, дура, не знает! — танцуют так...

Кухарка. Ну, ты, танцорщик, помалкивай знай. Во, идет кто-то.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Григорий. Старый повар поспешно скрывается.

Григорий *(кухарке)*. Давай капусты кислой!

Кухарка. Только с погреба пришла, опять лезть. Кому это?

Григорий. Барышням тюрю. Живо! С Семеном пришли, а мне некогда.

Кухарка. Вот наедятся сладко, так, что больше не лезет, их и потянет на капусту.

1-й мужик. Для прочистки, значит.

Кухарка. Ну да, опростают место, опять валяй! *(Берет чашку и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, без кухарки.

Григорий *(мужикам)*. Вишь, расселись. Вы смотрите: барыня узнает, она вам такую задаст трепку, не хуже утрешнего. *(Смеется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Три мужика, Семен и старый повар (на печке).

1-й мужик. Двистительно, штурму сделала давеча — беда!

2-й мужик. Давеча хотел он, видно, вступиться, а потом как глянул, что она крышу с избы рвет, захлопнул дверь: будь ты, мол, неладна.

3-й мужик *(махая рукой)*. Все одно положение. Тоже моя старуха, скажем, другой раз распалится — страсть! Уж я из избы вон иду. Ну ее совсем! Того гляди, скажем, рогачом зашибет. О господи!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Яков (вбегает с рецептом).

Яков. Сема, беги в аптеку, живо, возьми порошки вот барыне!

Семен. Да ведь он не велел уходить.

Яков. Успеешь. Твое дело еще, поди, после чаю... Чай да сахар!

1-й мужик. Милости просим.

Семен уходит.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, без Семена.

Яков. Некогда, да уж налейте чашечку для компании.

1-й мужик. Да вот предлегает разговорка, как давеча ваша госпожа очень как себя гордо повела.

Яков. О, эта горяча— страсть! Так горяча— сама себя не помнит. Другой раз заплачет даже.

1-й мужик. А что, примерно, я спросить хотел? Она что-то давеча предлегала макроту. Макроту, макроту, говорит, занесли. К чему это приложить, макроту эту самую?

Яков. О, это макровы. Это, они говорят, такие козявки есть, от них, мол, и болезни все. Так вот, мол, что на вас они. Уж они после вас мыли-мыли, брызгали-брызгали, где вы стояли. Такая специя есть, от ней дохнут они, козявки-то.

2-й мужик. Так где же они на нас, козявки-то эти?

Яков *(пьет чай)*: Да они, сказывают, такие махонькие, что и в стекла не видать.

2-й мужик. А почем она знает, что они на мне? Може, на ней этой пакости больше моего.

Яков. А вот поди, спроси их!

2-й мужик. А я полагаю, пустое это.

Яков. Известно, пустое; надо же дохтурам выдумывать, а то за что бы им деньги платить? Вот к нам каждый день ездит. Приехал, поговорил — десятку.

2-й мужик. Вре?..

Яков. А то один есть такой, что сотенную.

1-й мужик. Ну! и сотенную?

Яков. Сотенную? Ты говоришь: сотенную,— по тысяче берет, коли за город ехать. Давай, говорит, тысячу, а не дашь — издыхай себе!

3-й мужик. О господи!

2-й мужик. Что ж, он слово какое знает?

Яков. Должно, что знает. Жил я прежде у генерала, под Москвой, сердитый был такой, гордый — страсть, генерал-то! Так заболела у него дочка. Сейчас послали за этим. Тысячу рублей — приеду... Ну, сговорились, приехал. Так что-то не потрафили ему. Так, батюшки мои, как цыкнет на генерала. А! говорит, так так-то ты меня уважаешь, так-то? Так не стану ж лечить! — Так куда тебе! генерал-то и гордость свою забыл, всячески улещает. Батюшка! только не бросай!

1-й мужик. А тысячу-то отдали?

Яков. А то как же?..

2-й мужик. То-то шальные деньги-то. Что б мужик на эти деньги наделал!

3-й мужик. А я думаю, пустое все. Как у меня

тады нога прела. Лечил, лечил, скажем, рублей пять пролечил. Бросил лечить, а она и зажила.

Старый повар на печке кашляет.

Яков. Опять тут, сердешный!

1-й мужик. Какой такой мужчинка будет?

Яков. Да нашего барина повар был, к Лукерье ходит.

1-й мужик. Кухмистер, значит. Что ж, здесь проживает?

Яков. Не... Здесь не велят. А где день, где ночь. Есть три копейки — в ночлежном доме, а пропьет все — сюда придет.

2-й мужик. Как же он так?

Яков. Да так, ослаб. А тоже человек какой был, как барин! При золотых часах ходил, по сорока рублей в месяц жалованья брал. А теперь давно с голоду бы помер, кабы не Лукерья.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и кухарка (с капустой).

Яков *(к Лукерье)*. А я вижу, Павел Петрович опять тут?

Кухарка. Куда ж ему деться —. замерзнуть, что ли?

3-й мужик. Что делает винцо-то! Винцо-то, скажем... *(Щелкает языком с соболезнованием.)*

2-й мужик. Известно, окрепнет человек — крепче камня; ослабнет — слабее воды.

Старый повар *(слезает с печи, дрожит и ногами и руками)*. Лукерья! Говорю, дай рюмочку.

Кухарка. Куда лезешь! Я те дам такую рюмочку!..

Старый повар. Боишься ты бога? Умираю. Братцы, пятачок...

Кухарка. Говорю, полезай на печь.

Старый повар. Кухарка! пор-рюмочки. Христа ради, говорю, понимаешь ты — Христом прошу!

Кухарка. Иди, иди. Чаю вот на!

Старый повар. Что чай? Что чай? Пустое питье, слабое. Винца бы, только глоточек... Лукерья!

3-й мужик. Ах сердешный, мается как.

2-й мужик. Да дай ему, что ль.

Кухарка (*достает в поставце и наливает рюмку*). На вот, больше не дам.

Старый повар (*хватает, пьет дрожа*). Лукерья! Кухарка! Я выпью, а ты понимай...

Кухарка. Ну, ну, разговаривай! Лезь на печку, и чтобы духа твоего не слышно было.

Старый повар лезет покорно и не переставая ворчит что-то себе под нос.

2-й мужик. Что значит — ослаб человек!

1-й мужик. Двистительно, слабость-то человеческая.

3-й мужик. Да что и говорить.

Старый повар укладывается и все ворчит. Молчание.

2-й мужик. Ну, что я хотел спросить: эта вот девушка живет у вас с нашей стороны — Аксиньина-то. Ну что? Как? Как она живет, значит, честно ли?

Яков. Девушка хорошая, похвалить можно.

Кухарка. Я тебе, дядя, истину скажу, как я здешнее заведение твердо знаю: хочешь ты Татьяну за сына брать — бери скорее, пока не изгадилась, а то не миновать.

Яков. Да, это истинно так. Вот летось Наталья, у нас девушка жила. Хорошая девушка была. Так ни за что пропала, не хуже этого... (*Показывает на повара.*)

Кухарка. Потому тут нашей сестры пропадает — плотину пруди. Всякому манится на легонькую работу да на сладкую пищу. Ан глядь, со сладкой-то пищи сейчас и свихнулась. А свихнулась, им уж такая не нужна. Сейчас эту вон — свеженькую на место. Так-то Наташа сердешная: свихнулась — сейчас прогнали. Родила, заболела, весною прошлой в больнице и померла. И какая девушка была!

3-й мужик. О господи! Народ слабый. Жалеть надо.

Старый повар. Как же, пожалеют они, черти! (*Спускает с печи ноги.*) Я у плиты тридцать лет прожарился. А вот не нужен стал, издыхай, как собака!.. Как же, пожалеют!

1-й мужик. Это двистительно, положения известная.

2-й мужик. Пили, ели, кудрявчиком звали; попили, поели — прощай, шелудяк!

3-й мужик. О господи!

Старый повар. Понимаешь ты много. Что значит: сотей а ла бамон? Что значит: бавасари? Что я сделать мог! Мысли! Император мою работу кушал! А теперь не нужен стал чертям. Да не поддамся я!

Кухарка. Ну, ну, разговорился. Вот я тебя!.. Залезай в угол, чтоб не видать тебя было, а то Федор Иваныч зайдет или еще кто, и выгонят меня с тобой совсем.

Молчание.

Яков. Так знаете мою сторону-то, Вознесенское?

2-й мужик. Как же не знать. От нас верст семнадцать, больше не будет, а бродом меньше. Ты что же, землю-то держишь?

Яков. Брат держит, а я посылаю. Я сам хоть здесь, а умираю об доме.

1-й мужик. Двистительно.

2-й мужик. Анисим, значит, брат тебе?

Яков. Как же, брат родный! На том концу.

2-й мужик. Как не знать — третий двор.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Таня (вбегает).

Таня. Яков Иваныч! что вы тут прохлаждаетесь? Зовет!

Яков. Сейчас. Что там?

Таня. Фифка лает, есть хочет; а она ругается на вас: какой, говорит, он злой. Жалости, говорит, в нем нет. Ей давно обедать пора, а он не несет!.. *(Смеется.)*

Яков *(хочет уходить)*. О, сердита? Как бы чего не вышло!

Кухарка *(Якову)*. Капусту-то возьмите.

Яков. Давай, давай! *(Берет капусту и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же, без Якова.

1-й мужик. Кому же это обедать теперь?

Таня. А собаке. Собака эта ее... *(Присаживается и берется за чайник.)* Чай-то есть ли? а то я принесла еще. *(Всыпает.)*

2-й мужик. Обедать собаке?

Таня. Как же! Коклетку особенную делают, чтобы не жирная была. Я на нее, на собаку-то, белье стираю.

3-й мужик. О господи!

Таня. Как тот барин, что собаку хоронил.

2-й мужик. Это как же так?

Таня. А так,— рассказывал один человек,— издох у него пес, у барина-то. Вот он и поехал зимой хоронить его. Похоронил, едет и плачет, барин-то. А мороз здоровый, у кучера из носу течет, и он утирается... Дайте налью. *(Наливает чай.)* Из носу-то течет, а он все утирается. Увидал барин: «Что, говорит, о чем ты плачешь?» А кучер говорит: «Как же, сударь, не плакать, какая собака была!» *(Хохочет.)*

2-й мужик. А сам, я чай, думает: хоть бы ты и сам издох, так я бы плакать не стал... *(Хохочет.)*

Старый повар *(с печки)*. Это правильно, верно!

Таня. Хорошо, приехал домой барин, сейчас к барыне: «Какой, говорит, наш кучер добрый: он всю дорогу плакал,— так ему жаль моего Дружка. Позовите его: на, мол, выпей водки, а вот тебе награда — рубль». Так-то и она, что Яков собаки ее не жалеет.

Мужики хохочут.

1-й мужик. Хворменно!

2-й мужик. Вот так так!

3-й мужик. Ай, девушка, насмешила!

Таня *(наливает еще чай)*. Кушайте еще!.. То-то, оно так кажется, что жизнь хорошая, а другой раз противно все эти гадости за ними убирать. Тьфу! В деревне лучше.

Мужики перевертывают чашки.

(Наливает.) Кушайте на здоровье, Ефим Антоныч! Я налью, Митрий Власьевич!

3-й мужик. Ну, налей, налей.

1-й мужик. Ну как же, умница, дело наше происходит?

Таня. Ничего, идет...

1-й мужик. Семен сказывал...

Таня *(быстро)*. Сказывал?

2-й мужик. Да не понять от него!

Таня. Мне сказать теперь нельзя, а только стараюсь, стараюсь. Вот она — и бумага ваша! *(Показывает бумагу за фартуком.)* Только бы одна штука удалась... *(Взвизгивает.)* Уж как бы хорошо было!

2-й мужик. Ты смотри, бумагу-то не затеряй. За нее тоже денежки плачены.

Таня. Будьте покойны. Ведь только чтобы подписал он?

3-й мужик. А то чего же еще? Подписал, скажем, и крышка. *(Перевертывает чашку.)* Да будет уж.

Таня *(сама с собой)*. Подпишет, вот увидите, подпишет. Еще кушайте. *(Наливает.)*

1-й мужик. Только охлопочи насчет свершения продажи земли, миром и замуж можем отдать. *(Отказывается от чая.)*

Таня *(наливает и подает)*. Кушайте.

3-й мужик. Только сделай и замуж отдадим и на свадьбу, скажем, плясать приду. Хоть отродясь не плясывал, плясать буду!

Таня *(смеется)*. Да уж я буду в надежде.

Молчание.

2-й мужик *(оглядывая Таню)*. Так-то так, а не гожаешься ты для мужицкой работы.

Таня. Я-то? Что ж, вы думаете, силы нету? Вы бы посмотрели, как я барыню затягиваю. Другой мужик так не потянет.

2-й мужик. Да куда ж ты ее затягиваешь?

Таня. Да так на костях исделано, как куртка, по сих пор. Ну, на шнуры и стягиваешь, как вот запрягают, еще в руки плюют.

2-й мужик. Засупониваешь, значит?

Таня. Да, да, засупониваю. А ногой в нее ведь не упрешься. *(Смеется.)*

2-й мужик. Зачем же ты ее затягиваешь?

Таня. А вот затем.

2-й мужик. Что ж, она обреклась, что ль?

Таня. Нет, для красоты.

1-й мужик. Пузу, значит, ей утягивает для хворомы.

Таня. Так так стянешь, что у нее глаза вон лезут, а она говорит: «Еще». Так все руки обожжешь, а вы говорите: силы нет.

Мужики смеются и качают головами.

Однако я заболталась. *(Убегает, смеясь.)*

3-й мужик. Вот так девушка, насмешила!

1-й мужик. Да уж как аккуратна!

2-й мужик. Ничего.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Три мужика, кухарка, старый повар (на печке). Входят Сахатов и Василий Леонидыч. У Сахатова в руках ложка чайная.

Василий Леонидыч. Не то чтобы обед, а déjeuner dînatoir[1]. И прекрасный, я вам скажу, был завтрак: поросячьи окорочка — прелесть! Рулье отлично кормит. Я ведь только сейчас приехал. *(Увидев мужиков.)* А мужики опять здесь?

Сахатов. Да, да, это все прекрасно, но мы пришли спрятать предмет. Так куда же спрятать?

Василий Леонидыч. Виноват, я сейчас. *(К кухарке.)* А собаки где же?

Кухарка. В кучерской собаки. Разве можно в людскую?

Василий Леонидыч. А, в кучерской? Ну, хорошо.

Сахатов. Я жду.

Василий Леонидыч. Виноват, виноват. А, что? спрятать? Да, Сергей Иванович, так вот что я вам скажу: мужику, одному из этих, в карман. Вот хоть этому. Ты послушай. А, что? Где у тебя карман?

3-й мужик. А на что тебе карман! Ишь ты, карман! У меня в кармане деньги.

Сахатов. Ну, где кошель?

3-й мужик. А тебе на что?

Кухарка. Что ты! Молодой барин это.

Василий Леонидыч *(хохочет)*. А вы знаете, отчего он испугался так? Я вам сейчас скажу: у него денег пропасть. А, что?

Сахатов. Да, да, понимаю. Ну, так вот что: вы поговорите с ними, а я покамест незаметно положу вон в эту сумку — так, чтоб и они не знали, не могли ничем указать ему. Поговорите с ними.

Василий Леонидыч. Сейчас, сейчас. Ну, так как же, ребятушки, купите землю-то? А, что?

1-й мужик. Мы-то предлегаем как всей душой. Да вот все не происходит в движение делу.

Василий Леонидыч. А вы не скупитесь. Земля — дело важное. Я вам говорил — мяту. А то можно табак еще.

---

[1] плотный завтрак *(франц.)*.

1-й мужик. Это двистительно, всякие продухты можно.

3-й мужик. А ты, отец, попроси батюшку. А то как жить? Земля малая,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда.

Сахатов *(положил ложку в сумку 3-го мужика)*. C'est fait [1]. Готово. Пойдемте. *(Уходит.)*

Василий Леонидыч. А вы не скупитесь. А? Ну, прощайте. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Три мужика, кухарка и старый повар (на печке).

3-й мужик. Я говорил: на фатеру. Ну, по гривне, скажем, отдали бы, по крайности покойно, а тут помилуй бог. Деньги, говорит, давай. К чему это?

2-й мужик. Должно, выпимши.

Мужики переворачивают чашки, встают и крестятся.

1-й мужик. А ты помни, как он слово закинул, чтоб мяту сеять? Тоже понимать надо.

2-й мужик. Как же, мяту сей, вишь. Ты попытай-ка, горбом поворочай — запросишь мяты небось... Ну, благодарим покорно!.. А что ж, умница, где нам лечь тут?

Кухарка. Ложитесь — на печку один, а то по лавкам.

3-й мужик. Спаси Христос. *(Молится богу.)*

1-й мужик. Кабы бог дал свершения дела. *(Ложится.)* Завтра после обеда на машину бы закатились, во вторник и дома бы.

2-й мужик. Свет-то тушить будете?

Кухарка. Где тушить! Всё прибегать будут: то того, то другого... Да вы ложитесь, я заверну.

2-й мужик. На малой земле как проживешь? Я нынче ведь с рожества хлеб покупаю. И солома овсяная дошла. А то закатил бы четыре десятинки, Семку бы домой взял.

1-й мужик. Твое дело семейное. Без нужды! Землю уберешь, только подавай. Только бы свершилось дело.

3-й мужик. Царицу небесную просить надо. Авось смилосердуется.

[1] Готово *(франц.)*.

Тишина, вздохи. Потом слышны топот шагов, шум голосов, двери растворяются настежь, и стремительно вваливаются: Гросман с завязанными глазами, держащий за руку Сахатова, профессор и доктор, толстая барыня и Леонид Федорович. Бетси и Петрищев, Василий Леонидыч и Марья Константиновна, барыня и баронесса, Федор Иваныч и Таня. Три мужика, кухарка и старый повар (невидим). Мужики вскакивают. Гросман входит быстрыми шагами, потом останавливается.

Толстая барыня. Вы не заботьтесь: я слежу, я взялась следить и строго исполняю свою обязанность. Сергей Иваныч, вы не ведете?

Сахатов. Да нет же.

Толстая барыня. Вы не ведите, но и не противьтесь. *(К Леониду Федоровичу.)* Я знаю эти опыты. Я сама их делала. Я, бывало, чувствую истечение, и как только почувствую...

Леонид Федорович. Позвольте попросить соблюдать тишину.

Толстая барыня. Ах, я это очень понимаю! Я это на себе испытала. Как только внимание развлеклось, я уж не могу...

Леонид Федорович. Шш...

Ходят, ищут около 1-го и 2-го мужика и подходят к 3-му. Гросман спотыкается на скамейку.

Баронесса. Mais dites-moi, on le paye? [1]

Барыня. Je ne saurais vous dire [2].

Баронесса. Mais c'est un monsieur? [3]

Барыня. Oh, oui [4].

Баронесса. Ça tient du miraculeux. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'il trouve? [5]

Барыня. Je ne saurais vous dire. Mon mari vous l'expliquera. *(Увидав мужиков, оглядывается и видит кухарку.)* Pardon... [6] Это что?

Баронесса подходит к группе.

(Кухарке.) Кто пустил мужиков?

---

[1] Скажите, ему платят? *(франц.)*

[2] Не смогу вам сказать *(франц.)*.

[3] Он из господ? *(франц.)*

[4] О, да *(франц.)*.

[5] Это сверхъестественно. Не правда ли? Как это он находит? *(франц.)*

[6] Не могу вам сказать. Мой муж вам это объяснит... Простите... *(франц.)*

Кухарка. Яков привел.

Барыня. Якову кто приказал?

Кухарка. Не могу знать. Федор Иваныч их видели.

Барыня. Леонид!

Леонид Федорович не слышит, занят отыскиванием и шикает.

Федор Иваныч! Это что значит? Разве вы не видали, что я дезинфицировала всю переднюю, а теперь вы мне всю кухню заразили, черный хлеб, квас...

Федор Иваныч. Я полагал, что здесь не опасно; а люди по делу. Идти им далеко, а из своей деревни.

Барыня. В том-то и дело, что из курской деревни, где, как мухи, мрут от дифтерита. А главное — я приказывала, чтоб их не было в доме!.. Приказывала я или нет? *(Подходит к кучке, собравшейся около мужиков.)* Осторожнее! Не дотрогивайтесь до них: они все в дифтеритной заразе!

Никто ее не слушает; она с достоинством отходит и неподвижно стоит, дожидаясь.

Петрищев *(сопит громко носом)*. Дифтеритная — не знаю, а некоторая другая зараза в воздухе есть. Вы слышите?

Бетси. Полноте врать! Вово, в какой сумке!

Василий Леонидыч. В той, той! Подходит, подходит.

Петрищев. Что это тут, духи́ или ду́хи?

Бетси. Вот когда ваши папироски кстати. Курите, курите, ближе ко мне.

Петрищев нагибается и окуривает.

Василий Леонидыч. Добирается, я вам скажу. А, что?

Гросман *(с беспокойством шарит около 3-го мужика)*. Здесь, здесь. Я чувствую, что здесь.

Толстая барыня. Истечение чувствуете?

Гросман нагибается к сумочке и достает ложку.

Все. Браво!

Общий восторг.

Василий Леонидыч. А? так вот где наша ложечка нашлась! *(На мужика.)* Так ты так-то?

3-й мужик. Чего так-то? Не брал я твоей ложечки. И что путает? Не брал я, и не брал, и душа моя не знает. А вольно ему! Я видел, он приходил не за добрым. Кошель, говорит, давай. А я не брал, вот те Христос, не брал.

Молодежь обступает и смеется.

Леонид Федорыч *(сердито на сына).* Вечно глупости! *(3-му мужику.)* Да не беспокойся, дружок! Мы знаем, что ты не брал; это опыт был.

Гросман *(снимает повязку и делает вид, как бы очнулся).* Воды, если можно... позвольте.

Все хлопочут около него.

Василий Леонидыч. Пойдемте отсюда в кучерскую. Я вам покажу, какой кобель один там у меня. Epatant![1] А, что?

Бетси. И какое слово гадкое. Разве нельзя сказать: собака?

Василий Леонидыч. Нельзя. Ведь нельзя про тебя сказать: какая Бетси человек épatant? Надо сказать: девица; так и это. А, что? Марья Константиновна, правда? Хорошо? *(Хохочет.)*

Марья Константиновна. Ну, пойдем.

Марья Константиновна, Бетси, Петрищев и Василий Леонидыч уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же, без Бетси, Марьи Константиновны, Петрищева и Василия Леонидыча.

Толстая барыня *(Гросману).* Что? Как? Отдохнули? *(Гросман не отвечает. К Сахатову.)* Вы, Сергей Иванович, чувствовали истечение?

Сахатов. Я ничего не чувствовал. Да, прекрасно, прекрасно. Вполне удачно.

Баронесса. Admirable! Ça ne le fait pas souffrir?[2]

Леонид Федорыч. Pas le moins du monde[3].

Профессор *(Гросману).* Позвольте вас попросить. *(Подает термометр.)* При начале опыта было

---

[1] Поразительный! *(франц.)*
[2] Восхитительно! Ему не больно? *(франц.)*
[3] Ничуть *(франц.)*.

тридцать семь и две. *(Доктору.)* Так, кажется? Да будьте добры, пульс проверьте. Трата неизбежна.

Доктор *(Гросману)*. Ну-ка, господин, позвольте ваш пульс. Проверим, проверим. *(Вынимает часы и держит его за руку.)*

Толстая барыня *(к Гросману)*. Позвольте. Но ведь то состояние, в котором вы находились, нельзя назвать сном?

Гросман *(устало)*. Тот же гипноз.

Сахатов. Стало быть, надо понимать так, что вы сами гипнотизировали себя?

Гросман. А отчего же нет? Гипноз может наступить не только при ассоциации, при звуке тамтам, например, как у Шарко́, но и при одном вступлении в гипногенную зону.

Сахатов. Это так, положим, но все-таки желательно точнее определить, что такое гипноз?

Профессор. Гипноз есть явление превращения одной энергии в другую.

Гросман. Шарко́ не так определяет.

Сахатов. Позвольте, позвольте. Таково ваше определение, но Либо́ мне сам говорил...

Доктор *(оставляя пульс)*. А, хорошо, хорошо, только температуру теперь.

Толстая барыня *(вмешиваясь)*. Нет, позвольте! Я согласна с Алексеем Владимировичем. И вот вам лучше всех доказательств. Когда я после своей болезни лежала без чувств, то на меня нашла потребность говорить. Я вообще молчалива, но тут явилась потребность говорить, говорить, и мне говорили, что я так говорила, что все удивлялись. *(К Сахатову.)* Впрочем, я вас перебила, кажется?

Сахатов *(достойно)*. Нисколько. Сделайте одолжение.

Доктор. Пульс восемьдесят два, температура повысилась на ноль целых три десятых.

Профессор. Ну, вот вам и доказательство! Так и должно было быть. *(Вынимает записную книжку и записывает.)* Восемьдесят два, так? И тридцать семь и пять десятых? Как только вызван гипноз, так непременно усиленная деятельность сердца.

Доктор. Я как врач могу засвидетельствовать то, что ваше предсказание вполне подтвердилось.

Профессор *(к Сахатову)*. Так вы говорили?..

Сахатов. Я хотел сказать, что Либо́ мне сам говорил, что гипноз есть только особенное психическое состояние, увеличивающее внушаемость.

Профессор. Это так, но все-таки главное — закон эквивалентности.

Гросман. Кроме того, Либо́ — далеко не авторитет, а Шарко́ всесторонне исследовал и доказал, что гипноз, производимый ударом, травмою...

Сахатов. Да я и не отрицаю трудов Шарко́. Я его тоже знаю; я говорю только то, что говорил мне Либо́.

Гросман *(горячась)*. В Сальпетриере три тысячи больных, и я прослушал полный курс.

Профессор. Позвольте, господа, не в этом дело.

Вместе.

Толстая барыня *(вмешиваясь)*. Я в двух словах вам объясню. Когда мой муж был болен, то все доктора отказались...

Леонид Федорович. Пойдемте, однако, в дом. Баронесса, пожалуйте!

Все уходят, говоря вместе и перебивая друг друга.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Три мужика, кухарка, Федор Иваныч, Таня, старый повар (на печке), Леонид Федорович и барыня.

Барыня *(останавливает за рукав Леонида Федоровича)*. Сколько раз я вас просила не распоряжаться в доме! Вы знаете только свои глупости, а дом на мне. Вы заразите всех.

Леонид Федорович. Да кто? Что? Ничего не понимаю.

Барыня. Как? Люди больные в дифтерите ночуют в кухне, где постоянное сношение с домом.

Леонид Федорович. Да я...

Барыня. Что я?

Леонид Федорович. Да я ничего не знаю.

Барыня. Надо знать, коли вы отец семейства. Нельзя этого делать.

Леонид Федорович. Да я не думал... Я думал...

Барыня. Слушать вас противно!

Леонид Федорович молчит.

(К Федору Иванычу.) Сейчас вон! Чтоб их не было в моей кухне! Это ужасно. Никто не слушает, всё назло... Я оттуда их прогоню, они их сюда пустят. *(Все больше и больше волнуется и доходит до слез.)* Всё назло! Всё назло! И с моей болью... Доктор! Доктор! Петр Петрович!.. И он ушел! *(Всхлипывает и уходит, за ней Леонид Федорович.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Три мужика, Таня, Федор Иваныч, кухарка и старый повар (на печке). Картина.
Все стоят долго молча.

3-й мужик. Ну их к богу совсем! Тут, того гляди, в полицию попадешь. А я в жизнь не судился. Пойдем на фатеру, ребята!

Федор Иваныч *(Тане)*. Как же быть-то?

Таня. Да ничего, Федор Иваныч. В кучерскую их.

Федор Иваныч. Да как же в кучерскую? И то кучер жаловался, там полно собак.

Таня. Ну, так в дворницкую.

Федор Иваныч. А как узнают?

Таня. Ничего не узнают. Уж будьте покойны, Федор Иваныч. Разве можно их ночью гнать? Они и не найдут теперь.

Федор Иваныч. Ну, делай как знаешь, только бы тут их не было. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Три мужика, Таня, кухарка и старый повар. Мужики собирают сумки.

Старый повар. Вишь, черти проклятые! С жиру-то! Черти!..

Кухарка. Молчи уж ты-то. Спасибо, не увидали.

Таня. Так пойдемте, дяденьки, в дворницкую.

1-й мужик. Ну, а что же дело-то наше? Как же, примерно, насчет подписки, руки приложения? Что ж, в надежде нам быть?

Таня. Вот через час всё узнаем.

2-й мужик. Исхитришься?

Таня *(смеется)*. Как бог даст.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Действие происходит вечером того же дня, в маленькой гостиной, где всегда производятся у Леонида Федоровича опыты.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Леонид Федорович и профессор.

Леонид Федорович. Так как же, рискнуть сеанс с нашим новым медиумом?

Профессор. Непременно. Медиум несомненно сильный. Главное же, желательно, чтобы медиумический сеанс у нас был нынче же и с тем же персоналом. Гросман непременно должен отозваться на влияние медиумической энергии, и тогда связь и единство явлений будут еще очевиднее. Вы увидите, что если медиум будет так же силен, как сейчас, то Гросман будет вибрировать.

Леонид Федорович. Так я, знаете, пошлю за Семеном и приглашу желающих.

Профессор. Да, да, я только сделаю себе некоторые заметки. *(Вынимает записную книжку и записывает.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Сахатов.

Сахатов. Там у Анны Павловны сели в винт, а я, как остающийся за штатом... да, кроме того, интересующийся сеансом, вот являюсь к вам... Что ж, будет сеанс?

Леонид Федорович. Будет, непременно будет!

Сахатов. Как же, и без медиумической силы господина Капчича?

Леонид Федорович. Vous avez la main heureuse [1]. Представьте себе, тот самый мужик, о котором я вам говорил, оказался несомненный медиум.

Сахатов. Вот как! О, да это особенно интересно!

Леонид Федорович. Да, да. Мы после обеда сделали с ним маленький предварительный опыт.

Сахатов. Успели сделать и убедиться?

Леонид Федорович. Вполне, и оказался замечательной силы медиум.

---

[1] У вас счастливая рука *(франц.)*.

Сахатов *(недоверчиво)*. Вот как!

Леонид Федорович. Оказывается, что в людской давно уж замечали. Он сядет к чашке, ложка сама вскакивает ему в руку. *(К профессору.)* Вы слышали?

Профессор. Нет, этого, собственно, я не слыхал.

Сахатов *(профессору)*. Но все-таки и вы допускаете возможность таких явлений?

Профессор. Каких явлений?

Сахатов. Ну, вообще, спиритических, медиумических, вообще сверхъестественных явлений.

Профессор. Дело в том, что́ мы называем сверхъестественным? Когда не живой человек, а кусок камня притянул к себе гвоздь, то каким показалось это явление для наблюдателей: естественным или сверхъестественным?

Сахатов. Да, конечно; но только такие явления, как притяжение магнита, постоянно повторяются.

Профессор. То же самое и здесь. Явление повторяется, и мы его подвергаем исследованию. Мало того, мы подводим исследуемые явления под общие другим явлениям законы. Явления ведь кажутся сверхъестественными только потому, что причины явлений приписываются самому медиуму. Но ведь это неверно. Явления производимы не медиумом, но духовной энергией через медиума: а это разница большая. Все дело — в законе эквивалентности.

Сахатов. Да, конечно, но...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Таня (входит и становится за портьеру).

Леонид Федорович. Одно только знайте, что как с Юмом и с Капчичем, так и теперь с этим медиумом вперед ни на что рассчитывать нельзя. Может быть неудача, а может быть и полная материализация.

Сахатов. Даже и материализация? Какая же может быть материализация?

Леонид Федорович. А такая, что придет умерший человек: отец ваш, дед, возьмет вас за руку, даст вам что-нибудь; или кто-нибудь вдруг подымется на воздух, как прошлый раз у нас с Алексеем Владимировичем.

Профессор. Конечно, конечно. Но главное де-

ло — в объяснении явлений и подведении их под общие законы.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и толстая барыня.

Толстая барыня. Анна Павловна мне позволила пройти к вам.

Леонид Федорович. Милости просим!

Толстая барыня. Но как, однако, Гросман устал. Он не мог чашки держать. Вы заметили, как он побледнел *(к профессору)* в ту минуту, как приблизился? Я сейчас же заметила, я первая сказала Анне Павловне.

Профессор. Несомненно, трата жизненной энергии.

Толстая барыня. Вот я и говорю, что этим злоупотреблять нельзя. Как же, гипнотизатор внушил одной моей знакомой, Верочке Коншиной,— да вы ее знаете,— чтоб она перестала курить, а у ней спина заболела.

Профессор *(хочет начать говорить)*. Измерение температуры и пульс очевидно показывают...

Толстая барыня. Я сию минуту, позвольте. Я ей и говорю: уж лучше курить, но не страдать так нервами. Разумеется, что курить вредно, и я бы желала отвыкнуть, но, что хотите, не могу. Я раз две недели не курила, а потом не выдержала.

Профессор *(опять делает попытку говорить)*. Показывают несомненно...

Толстая барыня. Да нет, позвольте! Я в двух словах. Вы говорите, что трата сил? И я хотела сказать, что когда я ездила на почтовых... Дороги тогда были ужасные, вы этого не помните, а я замечала, и, как хотите, наша нервность вся от железных дорог. Я, например, в дороге спать не могу,— хоть убейте, а не засну.

Профессор *(опять начинает, но толстая барыня не дает ему говорить)*. Трата сил...

Сахатов *(улыбаясь)*. Да, да.

Леонид Федорович звонит.

Толстая барыня. Я одну, другую, третью ночь не буду спать, а все-таки не засну.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Григорий.

Леонид Федорович. Скажите, пожалуйста,

Федору приготовить все для сеанса и позовите Семена сюда — буфетного мужика, Семена, слышите?

Григорий. Слушаю-с! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Леонид Федорович, профессор, толстая барыня и Таня (спрятанная).

Профессор *(к Сахатову)*. Измерение температуры и пульс показали трату жизненной энергии. То же будет и при медиумических проявлениях. Закон сохранения энергии...

Толстая барыня. Да, да. Я только еще хотела сказать, что я очень рада, что простой мужик оказался медиум. Это прекрасно. Я всегда говорила, что славянофилы...

Леонид Федорович. Пойдемте пока в гостиную.

Толстая барыня. Позвольте, я в двух словах... Славянофилы правы, но я всегда говорила своему мужу, что ни в чем не надо преувеличивать. Золотая середина, знаете. А то как же утверждать, что в народе все хорошо, когда я сама видела...

Леонид Федорович. Не угодно ли в гостиную?

Толстая барыня. Вот такой мальчик и уж пьет. Я его сейчас же разбранила. И он благодарен был потом. Они — дети, а детям, я всегда говорила, нужна и любовь и строгость.

Все уходят, разговаривая.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Таня (одна выходит из-за двери).

Таня. Ах, удалось бы только! *(Завязывает нитки.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Таня и Бетси (входит поспешно).

Бетси. Папá нет тут? *(Вглядываясь в Таню.)* Ты что тут?

Таня. А я так, Лизавета Леонидовна, взошла, хотела... так вошла... *(Смущается.)*

Бетси. Да ведь тут сеанс сейчас будет? *(Замечает, что Таня собирает нитки, пристально смотрит на нее и вдруг заливается хохотом.)* Таня! это ведь ты все делаешь? Да уж не отпирайся. И тот раз ты? Ведь ты, ты?

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка!

Бетси *(в восторге)*. Ах, как это хорошо! Вот не ожидала! Зачем же ты это делала?

Таня. Барышня, милая, да вы не выдайте!

Бетси. Да нет, ни за что. Я ужасно рада! Да как же ты делаешь?

Таня. Да так и делаю: спрячусь, а потом, как потушат, вылезу и делаю.

Бетси *(показывая на нитку)*. А это зачем? Да, не говори, понимаю, задеваешь...

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка, я только вам откроюсь. Прежде я так шалила, а теперь дело хочу сделать.

Бетси. Как, что? Какое дело?

Таня. Да вот, видели, мужики пришли, хотят землю купить, а папаша не продают и бумагу не подписали и им назад отдали. Федор Иваныч говорит: духи ему запретили. Вот я и вздумала.

Бетси. Ах какая же ты умница! Делай, делай. Да как же ты будешь делать?

Таня. Да я так придумала: как они свет потушат, сейчас я начну стучать, швырять, ниткой их по головам, а под конец бумагу об земле — она у меня — и брошу на стол.

Бетси. Ну и что ж?

Таня. А как же? Они удивятся. Бумага была у мужиков, и вдруг здесь. А тут же велю...

Бетси. Да ведь Семен нынче медиум!

Таня. Так я ему велю... *(Не может говорить от смеха.)* Велю давить руками, кто под рукой будет. Только не папашу,— это он не посмеет,— и пусть давит кого других, пока подпишут.

Бетси *(смеется)*. Да ведь так не делают. Медиум сам ничего не делает.

Таня. Да ничего, это все одно,— авось и так выйдет.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Таня и Федор Иваныч. Бетси делает знаки Тане и уходит.

Федор Иваныч *(Тане)*. Ты что тут?

Таня. Да я к вам, Федор Иваныч, батюшка!..

Федор Иваныч. Чего же ты?

Таня. Да об деле моем, к вам, что́ я просила.

Федор Иваныч *(смеясь)*. Сосватал, сосватал, и по рукам ударили. Только не пили.

Таня *(взвизгивает)*. Неужто заправду?

Федор Иваныч. Да уж я тебе говорю. Он говорит: со старухой посоветуюсь, да и с богом.

Таня. Так и сказал?.. *(Взвизгивая.)* Ах, голубчик, Федор Иваныч, век за вас буду бога молить!

Федор Иваныч. Ну, ладно, ладно. Теперь некогда. Велено убирать для сеанса.

Таня. Дайте я вам пособлю. Как же убирать?

Федор Иваныч. Да как? Да вот: стол посреди комнаты, стулья, гитару, гармонию. Лампу не надо — свечи.

Таня *(устанавливает все с Федором Иванычем)*. Так, что ли? Сюда гитару, сюда чернильницу... *(Ставит.)* Так?

Федор Иваныч. Да неужели в самом деле Семена посадят?

Таня. Должно быть. Ведь уж сажали.

Федор Иваныч. Удивление! *(Надевает pince-nez.)* Да чист ли он?

Таня. Почем я знаю!

Федор Иваныч. Так ты вот что...

Таня. Что, Федор Иваныч?

Федор Иваныч. Поди ты, возьми щеточку ногтяную и мыла Тридас,— хоть у меня возьми... И все ты ему остриги когти и вымой чисто-на́чисто.

Таня. Он и сам вымоет.

Федор Иваныч. Ну так скажи только. Да белье вели надеть чистое.

Таня. Хорошо, Федор Иваныч. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Федор Иваныч один, садится в кресло.

Федор Иваныч. Учены, учены, хоть бы Алексей Владимирович, профессор он, а все другой раз сильно сомнение берет. Народные суеверия, грубые, истреб-

ляются, суеверия домовых, колдунов, ведьм... А ведь если вникнуть, ведь это такое же суеверие. Ну, разве возможно это, чтобы души умерших и говорили бы и на гитаре играли бы? А дурачит их кто-нибудь или сами себя. А уж это с Семеном и не поймешь что. *(Рассматривает альбом.)* Ведь вот их альбом спиритический. Ну, возможное ли это дело, чтобы фотографию с духа снять? А вот изображение — турок и Леонид Федорович сидят. Удивительна слабость человеческая!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Федор Иваныч и Леонид Федорович.

Леонид Федорович *(входя)*. Что, готово?

Федор Иваныч *(встает не торопясь)*. Готово. *(Улыбаясь.)* Только не знаю, как бы ваш новый медиум не скомпрометовал вас, Леонид Федорович.

Леонид Федорович. Нет, мы испытывали с Алексеем Владимировичем. Удивительно сильный медиум!

Федор Иваныч. Уж этого не знаю. Только чист ли он? Вы вот не позаботились руки ему велеть вымыть. А то все-таки неудобно.

Леонид Федорович. Руки? Ах, да. Нечисты, ты думаешь?

Федор Иваныч. Да как же, мужик. А тут дамы, и Марья Васильевна.

Леонид Федорович. Ну и прекрасно.

Федор Иваныч. Да еще я хотел вам доложить: Тимофей, кучер, приходил жаловаться, что нельзя ему чистоту соблюсти от собак.

Леонид Федорович *(устанавливая предметы на столе, рассеянно)*. Каких собак?

Федор Иваныч. Да Василью Леонидычу нынче борзых привели тройку, в кучерскую поместили.

Леонид Федорович *(досадливо)*. Скажи Анне Павловне, как она хочет, а мне и некогда.

Федор Иваныч. Да ведь вы знаете их пристрастие...

Леонид Федорович. Ну, как хочет она, так и делает. А от него мне, кроме неприятностей... да и некогда.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и Семен (в поддевке, входит, улыбается).

Семен. Приказали прийти?

Леонид Федорович. Да, да. Покажи руки. Ну, и прекрасно, прекрасно. Так вот, дружок, ты так же делай, как давеча, садись и отдавайся чувству. А сам ничего не думай.

Семен. Чего ж думать? Что думать, то хуже.

Леонид Федорович. Вот, вот, вот. Чем менее сознательно, тем сильнее. Не думай, а отдавайся настроению: хочется спать — спи, хочется ходить — ходи; понимаешь?

Семен. Как не понять? Хитрости тут нисколько.

Леонид Федорович. И главное — не смущайся. А то ты сам можешь удивиться. Ты пойми, что как мы живем, так невидимый мир духов тут же живет.

Федор Иваныч *(поправляя)*. Незримые существа, понимаешь?

Семен *(смеется)*. Как не понять? Как вы сказывали, так это очень просто.

Леонид Федорович. Можешь подняться на воздух или еще что-нибудь, то ты не робей.

Семен. Чего ж робеть? Это все можно.

Леонид Федорович. Ну, так я пойду позову всех. Все готово?

Федор Иваныч. Кажется, всё.

Леонид Федорович. А грифельные доски?

Федор Иваныч. Внизу, сейчас принесу. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Леонид Федорович и Семен.

Леонид Федорович. Ну, так хорошо. Так ты не смущайся и будь свободнее.

Семен. Нешто поддевку снять: оно слободнее будет.

Леонид Федорович. Поддевку? Нет, нет, не надо. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Семен один.

Семен. Опять то же велела делать, а она опять будет свое швырять. И как она не боится?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Семен и Таня (входит без ботинок, в платье цвета *обой*); Семен хохочет.

Таня *(шикает)*. Шш!.. Услышат! Вот на пальцы спички наклей, как давеча. *(Наклеивает.)* Что же, все помнишь?

Семен *(загибая пальцы)*. Перво-наперво спички намочить. Махать — раз. Другое дело — зубами трещать, вот так...— два. Вот третье забыл.

Таня. А третье-то пуще всего. Ты помни: как бумага на стол падет — я еще в колокольчик позвоню,— так ты сейчас же руками вот так... Разведи шире и захватывай. Кто возле сидит, того и захватывай. А как захватишь, так жми. *(Хохочет.)* Барин ли, барыня ли, знай — жми, все жми, да и не выпускай, как будто во сне, а зубами скрыпи али рычи, вот так... *(Рычит.)* А как я на гитаре заиграю, так как будто просыпайся, потянись, знаешь, так, и проснись. Все помнишь?

Семен. Все помню, только смешно больно.

Таня. А ты не смейся. А засмеешься — это еще не беда. Они подумают, что во сне. Одно только, взаправду не засни, как они свет-то потушат.

Семен. Небось, я себя за уши щипать буду.

Таня. Так ты смотри, Семочка, голубчик. Только делай все, не робей. Подпишет бумагу. Вот увидишь. Идут... *(Лезет под диван.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Семен и Таня. Входят Гросман, профессор, Леонид Федорович, толстая барыня, доктор, Сахатов, барыня. Семен стоит у двери.

Леонид Федорович. Милости просим, все неверующие! Несмотря на то, что медиум новый, случайный, я нынче жду очень знаменательных проявлений.

Сахатов. Очень, очень интересно.

Толстая барыня *(на Семена)*. Mais il est très bien [1].

Барыня. Как буфетный мужик, да, но только...

Сахатов. Жены всегда не верят в дело своих мужей. Вы совсем не допускаете?

Барыня. Разумеется, нет. В Капчиче, правда, есть что-то особенное, но уж это бог знает что такое!

[1] А *он очень хорош (франц.)*.

Толстая барыня. Нет, позвольте, Анна Павловна, это нельзя так решать. Когда еще я была не замужем, видела один замечательный сон. Сны, знаете, бывают такие, что вы не знаете, когда начинается, когда кончается; так я видела именно такой сон...

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Те же, Василий Леонидыч и Петрищев входят.

Толстая барыня. И мне многое было открыто этим сном. Нынче уж эти молодые люди *(указывает на Петрищева и на Василия Леонидыча)* всё отрицают.

Василий Леонидыч. А я никогда, я вам скажу, ничего не отрицаю. А, что?

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же. Входят Бетси и Марья Константиновна и вступают в разговор с Петрищевым.

Толстая барыня. А как же можно отрицать сверхъестественное? Говорят: не согласно с разумом. Да разум-то может быть глупый, тогда что? Ведь вот на Садовой,— вы слышали? — каждый вечер являлось. Брат моего мужа—как это называется?.. не beau-frère [1], а по-русски... не свекор, а еще как-то? Я никогда не могу запомнить этих русских названий,— так он ездил три ночи сряду и все-таки ничего не видал, так я и говорю...

Леонид Федорович. Так кто же да кто остается?

Толстая барыня. Я, я!

Сахатов. Я!

Барыня *(к доктору)*. Неужели вы остаетесь?

Доктор. Да, надо хоть раз посмотреть, что тут Алексей Владимирович находит. Отрицать бездоказательно тоже нельзя.

Барыня Так решительно принять нынче вечером?

Доктор. Кого принять?.. Ах да, порошок. Да, примите, пожалуй. Да, да, примите... Да я зайду.

Барыня. Да, пожалуйста. *(Громко.)* Когда кончите, messieurs et mesdames, милости просим ко мне отдохнуть от эмоций, да и винт докончим.

Толстая барыня. Непременно.

Сахатов. Да, да!

Барыня уходит.

[1] деверь *(франц.)*.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же, без барыни.

Бетси *(Петрищеву)*. Я вам говорю, оставайтесь. Я вам обещаю необыкновенные вещи. Хотите пари?

Марья Константиновна. Да разве вы верите?

Бетси. Нынче верю.

Марья Константиновна *(Петрищеву)*. А вы верите?

Петрищев. «Не верю, не верю обетам коварным». Ну, да если Елизавета Леонидовна велит...

Василий Леонидыч. Останемся, Марья Константиновна. А, что? Я что-нибудь такое épatant придумаю.

Марья Константиновна. Нет, вы не смешите. Я ведь не могу удержаться.

Василий Леонидыч *(громко)*. Я — остаюсь!

Леонид Федорович *(строго)*. Прошу только тех, кто остается, не делать из этого шутки. Это дело серьезное.

Петрищев. Слышишь? Ну, так останемся. Вово, садись сюда, да смотри не робей.

Бетси. Да, вы смеетесь, а вот увидите, что́ будет.

Василий Леонидыч. А что как в самом деле? Вот штука-то будет! А, что?

Петрищев *(дрожит)*. Ой, боюсь, боюсь. Марья Константиновна, боюсь!.. дрожки ножат.

Бетси *(смеется)*. Тише!

Все садятся.

Леонид Федорович. Садитесь, садитесь. Садись, Семен!

Семен. Слушаю-с. *(Садится на край стула.)*

Леонид Федорович. Садись хорошенько.

Профессор. Садитесь правильно, на середину стула, совершенно свободно. *(Усаживает Семена.)*

Бетси, Марья Константиновна и Василий Леонидыч хохочут

Леонид Федорович *(возвышая голос)*. Прошу тех, кто остается, не шалить и относиться к делу серьезно. Могут быть дурные последствия. Вово, слышишь? Если не будешь сидеть смирно, уйди.

Василий Леонидыч. Смирно! *(Прячется за спину толстой барыни.)*

Леонид Федорович. Алексей Владимирович, вы усыпите.

Профессор. Нет, зачем же я, когда Антон Борисович тут? У него гораздо больше и практики в этом отношении и силы... Антон Борисович!

Гросман. Господа! *я, собственно, не спирит.* Я только изучал гипноз. Гипноз я изучал, правда, во всех его известных проявлениях. Но то, что называется спиритизмом, мне совершенно неизвестно. От усыпления субъекта я могу ожидать известных мне явлений гипноза: летаргии, абулии, анестезии, анелгезии, каталепсии и всякого рода внушений. Здесь же предполагаются к исследованью не эти, а другие явления, и потому желательно бы было знать, какого рода эти ожидаемые явления и какое они имеют научное значение.

Сахатов. Вполне присоединяюсь к мнению господина Гросмана. Такое разъяснение было бы очень и очень интересно.

Леонид Федорович *(к профессору).* Я думаю, Алексей Владимирович, вы не откажетесь объяснить вкратце.

Профессор. Отчего ж, я могу объяснить, если этого желают. *(К доктору.)* А вы, пожалуйста, измерьте температуру и пульс. Объяснение мое будет неизбежно поверхностно и кратко.

Леонид Федорович. Да, вкратце, вкратце...

Доктор. Сейчас. *(Вынимает термометр и подает.)* Ну-ка, молодец!.. *(Устанавливает.)*

Семен. Слушаю-с.

Профессор *(вставая и обращаясь к толстой барыне, а потом садясь).* Господа! Явление, которое мы исследуем, представляется обыкновенно, с одной стороны, как нечто новое, с другой стороны, как нечто выходящее из ряда естественных условий. Ни то, ни другое не справедливо. Явление это не ново, а старо, как мир, и не сверхъестественно, а подлежит все тем же вечным законам, которым подлежит и все существующее. Явление это определялось обыкновенно как общение с миром духовным. Определение это неточно. По определению этому мир духовный противуполагается миру материальному, но это несправедливо: противуположения этого нет. Оба мира так тесно соприкасаются, что нет никакой возможности провести демаркационную линию, отделя-

ющую один мир от другого. Мы говорим: материя слагается из молекул...

Петрищев. Скучная материя!

Шепот, хохот.

Профессор *(остановившись и потом продолжая)*. Молекулы — из атомов, но атомы, не имея протяжения, суть, в сущности, не что иное, как точки приложения сил. То есть, строго говоря, не сил, а энергии — той самой энергии, которая так же едина и неуничтожима, как и материя. Но как материя одна, а виды ее различны, так точно и энергия. До последнего времени нам были известны только четыре превращающиеся один в другой вида энергии. Нам известны энергии: динамическая, термическая, электрическая и химическая. Но четыре вида энергии далеко не исчерпывают всего разнообразия ее проявлений. Виды проявления энергии многообразны, и один из таких новых, малоизвестных видов энергии и исследуется нами. Я говорю об энергии медиумизма...

Опять шепот и хохот в углу молодежи.

(Останавливается и, строго оглянувшись, продолжает.) Медиумическая энергия известна человечеству давным-давно: предсказания, предчувствия, виденья и многие другие — все это не что иное, как проявление медиумической энергии. Явления, производимые ею, известны давным-давно. Но самая энергия не признавалась таковой до самого последнего времени, до тех пор, пока не *было признано той среды, колебания которой и производят* медиумические явления. И точно так же, как явления света были необъяснимы до тех пор, пока не было признано существование невесомого вещества, эфира,— точно так же и медиумические явления казались таинственными до тех пор, пока не была признана та несомненная теперь истина, что в промежутках частиц эфира находится другое, еще более тонкое, чем эфир, невесомое вещество, не подлежащее закону трех измерений...

Опять шепот, хохот и повизгивание.

(Опять оглядывается строго.) И точно так же, как математические вычисления подтвердили неопровержимо существование невесомого эфира, дающего явления света и электричества, точно так же блестящий ряд самых точных опытов гениального Германа Шмита и Иосифа

Шмацофена несомненно подтвердили существование того вещества, которое наполняет вселенную и может быть названо духовным эфиром.

Толстая барыня. Да, теперь я понимаю. Как я благодарна...

Леонид Федорович. Да; но нельзя ли, Алексей Владимирович, несколько... сократить?

Профессор *(не отвечая)*. Итак, ряд строго научных опытов и исследований, как я имел честь сообщить вам, выяснили нам законы медиумических явлений. Опыты эти выяснили нам то, что погружение некоторых личностей в гипнотическое состояние, отличающееся от обыкновенного сна только тем, что при погружении в этот сон деятельность физиологическая не только не понижается, но всегда повышается, как это мы сейчас видели,— оказалось, что погружение в это состояние какого бы то ни было субъекта неизменно влечет за собой некоторые пертурбации в духовном эфире — пертурбации, совершенно подобные тем, которые производит погружение твердого тела в жидкое. Пертурбации же эти и суть то, что мы называем медиумическими явлениями...

Хохот, шепот.

Сахатов. Это совершенно справедливо и понятно; но позвольте спросить: если, как вы изволите говорить, погружение медиума в сон производит пертурбации духовного эфира, то почему же эти пертурбации выражаются всегда, как это подразумевается обыкновенно в спиритических сеансах, проявлением деятельности душ умерших личностей?

Профессор. А потому, что частицы этого духовного эфира суть не что иное, как души живых, умерших и неродившихся, так что всякое сотрясение этого духовного эфира неизбежно вызывает известное движение его частиц. Частицы же эти суть не что иное, как души людей, входящие этим движением в общение между собою.

Толстая барыня *(к Сахатову)*. Что же тут не понимать? Это так просто... Очень, очень благодарю вас!

Леонид Федорович. Мне кажется, что теперь все ясно, и мы можем приступить.

Доктор. Малый в самых нормальных условиях: температура тридцать семь и две десятых, пульс семьдесят четыре.

Профессор *(вынимает книжку и записывает)*. Подтверждением того, что я имел честь сообщить, может служить то, что погружение медиума в сон неизбежно, как мы сейчас и увидим, вызовет подъем температуры и пульса, точно так же, как и при гипнозе.

Леонид Федорович. Да, да, виноват, я только хотел сказать Сергею Иванычу на то, что он спрашивал: почему мы узнаем, что с нами общаются души умерших? Мы узнаем это потому, что тот дух, который приходит, прямо нам говорит,— просто, как я говорю,— говорит нам, кто он и зачем пришел, и где он, и хорошо ли ему? Последний сеанс был испанец дон Кастильос, и он все сказал нам. Он сказал нам, кто он, и когда умер, и то, что ему тяжело за то, что он участвовал в инквизиции. Мало того, он сообщил нам то, что с ним случилось в то самое время, как он говорил с нами, а именно то, что в то самое время, как он говорил с нами, он должен был вновь рождаться на землю и потому не мог докончить начатого с нами разговора. Да вот вы сами увидите...

Толстая барыня *(перебивая)*. Ах, как интересно! Может быть, испанец у нас в доме родился и маленький теперь.

Леонид Федорович. Очень может быть.

Профессор. Я думаю, пора бы начинать.

Леонид Федорович. Я только хотел сказать...

Профессор. Поздно уж.

Леонид Федорович. Ну, хорошо. Так можем приступить. Пожалуйста, Антон Борисович, усыпите медиума...

Гросман. Как вы желаете, чтоб я усыпил субъекта? Есть много употребительных приемов. Есть способ Бреда, есть египетский символ, есть способ Шарко.

Леонид Федорович *(к профессору)*. Это все равно, я думаю.

Профессор. Безразлично.

Гросман. Так я употреблю свой способ, который я демонстрировал в Одессе.

Леонид Федорович. Пожалуйста!

Гросман машет руками над Семеном, Семен закрывает глаза и потягивается.

Гросман *(приглядывается)*. Засыпает, заснул. Замечательно быстрое наступление гипноза. Очевидно, субъект уже вступил в анестетическое состояние. Заме-

чательно, необыкновенно восприимчивый субъект и мог бы быть подвергнут интересным опытам!.. *(Садится, встает, опять садится.)* Теперь можно бы проколоть ему руки. Если желаете...

Профессор *(к Леониду Федоровичу)*. Замечаете, как сон медиума действует на Гросмана? Он начинает вибрировать.

Леонид Федорович. Да, да... Теперь можно тушить?

Сахатов. Но почему же нужна темнота?

Профессор. Темнота? А потому, что темнота есть одно из условий, при которых проявляется медиумическая энергия, так же как известная температура есть условие известных проявлений химической или динамической энергии.

Леонид Федорович. И не всегда. Многим, и мне, являлись и при свечах, и при солнце.

Профессор *(перебивая)*. Можно тушить?

Леонид Федорович. Да, да. *(Тушит свечи.)* Господа! теперь прошу вниманья.

Таня вылезает из-под дивана и берет в руки нитку, привязанную к бра.

Петрищев. Нет, мне понравился испанец. Как он, в середине разговора, вниз головой... что называется: piquer une tête [1].

Бетси. Нет, вы подождите, посмотрите, что будет!

Петрищев. Я одного боюсь: как бы Вово не захрюкал поросенком.

Василий Леонидыч. Хотите? Я хвачу...

Леонид Федорович. Господа! прошу не разговаривать, пожалуйста...

Тишина. Семен лижет палец, мажет им косточки на руке и машет ими.

Свет! Видите свет?

Сахатов. Свет! Да, да, вижу; но позвольте...

Толстая барыня. Где, где? Ах, не видала! Вот он. Ах!..

Профессор *(к Леониду Федоровичу, шепотом, указывая на Гросмана, который двигается)*. Вы заметьте, как он вибрирует. Двойная сила.

Опять показывается свет.

---

[1] кувырком *(франц.)*.

Леонид Федорович *(к профессору)*. А ведь это он.

Сахатов. Кто он?

Леонид Федорович. Грек Николай. Его свет. Не правда ли, Алексей Владимирович?

Сахатов. Что такое грек Николай?

Профессор. Некий грек, монашествовавший при Константине в Царьграде и посещавший нас последнее время.

Толстая барыня. Где же он? Где же он? Я не вижу.

Леонид Федорович. Его нельзя еще видеть. Алексей Владимирович, он всегда особенно благосклонен к вам. Спросите его.

Профессор *(особенным голосом)*. Николай! Ты это?

Таня стучит два раза в стену.

Леонид Федорович *(радостно)*. Он! Он!

Толстая барыня. Ай, ай! Я уйду.

Сахатов. Почему же предполагается, что это он?

Леонид Федорович. А два удара. Утвердительный ответ: иначе было бы молчание.

Молчание. Сдержанный хохот в углу молодежи. Таня бросает на стол колпак с лампы, карандаш, утиралку перьев.

(Шепотом.) Замечайте, господа, вот колпак с лампы. Еще что-то. Карандаш! Алексей Владимирович, карандаш.

Профессор. Хорошо, хорошо. Я слежу и за ним и за Гросманом. Вы замечаете?

Гросман встает и оглядывает предметы, упавшие на стол.

Сахатов. Позвольте, позвольте. Я бы желал посмотреть, не производит ли всего этого сам медиум?

Леонид Федорович. Вы думаете? Так сядьте подле, держите его за руки. Но будьте уверены, он спит.

Сахатов *(подходит, задевает головой за нитку, которую спускает Таня, и испуганно нагибается)*. Да... а-а!.. Странно, странно. *(Подходит, берет за локоть Семена. Семен рычит.)*

Профессор *(к Леониду Федоровичу)*. Слышите, как действует присутствие Гросмана? Новое явление, надо записать... *(Выбегает и записывает, потом возвращается.*

Леонид Федорович. Да... Но нельзя же оставлять Николая без ответа, надо начинать...

Гросман *(встает, подходит к Семену, поднимает и опускает его руку)*. Теперь интересно бы произвести контрактуру. Субъект в полном гипнозе.

Профессор *(к Леониду Федоровичу)*. Вы видите, видите?

Гросман. Если вы желаете...

Доктор. Да уж позвольте, батюшка, Алексею Владимировичу распорядиться, штука-то выходит серьезная.

Профессор. Оставьте его. Он говорит уже во сне.

Толстая барыня. Как я рада теперь, что решилась присутствовать. Страшно, но все-таки я рада, потому что я мужу всегда говорила...

Леонид Федорович. Прошу помолчать.

Таня проводит ниткой по голове толстой барыни.

Толстая барыня. Ай!

Леонид Федорович. Что? Что?

Толстая барыня. Он меня за волосы взял.

Леонид Федорович *(шепотом)*. Не бойтесь, ничего, подайте ему руку. Рука бывает холодная, но я это люблю.

Толстая барыня *(прячет руку)*. Ни за что!

Сахатов. Да, странно, странно!

Леонид Федорович. Он здесь и ищет общения. Кто хочет спросить что-нибудь?

Сахатов. Позвольте, я спрошу.

Профессор. Сделайте одолжение.

Сахатов. Верю я или нет?

Таня стучит два раза.

Профессор. Ответ утвердительный.

Сахатов. Позвольте, я еще спрошу. Есть у меня в кармане десятирублевая бумажка?

Таня стучит много раз и проводит ниткой по голове Сахатова.

Ах!.. *(Хватает нитку и обрывает ее.)*

Профессор. Я бы просил присутствующих не делать неопределенных или шутливых вопросов. Ему неприятно.

Сахатов. Нет, позвольте, у меня в руке нитка.

Леонид Федорович. Нитка? Держите ее. Это часто бывает; не только нитка, но шелковые снурки, самые древние.

Сахатов. Нет, однако откуда же нитка?

Таня бросает в него подушкой.

Позвольте, позвольте! Что-то мягкое ударило меня в голову. Позвольте свет,— тут что-нибудь...

Профессор. Мы просим вас не нарушать проявления.

Толстая барыня. Ради бога, не нарушайте! И я хочу спросить, можно?

Леонид Федорович. Можно, можно. Спрашивайте.

Толстая барыня. Я хочу спросить о своем желудке. Можно? Я хочу спросить, что мне принимать, аконит или белладонну?

Молчание, шепот в стороне молодых людей, и вдруг Василий Леонидыч кричит, как грудной ребенок: «Уа! уа!» Хохот. Захватывая носы и рты и фыркая, девицы с Петрищевым убегают.

Ах, это верно, и этот монах опять родился!

Леонид Федорович *(в бешенстве, гневным шепотом)*. Кроме глупости, от тебя ничего. Если не умеешь держать себя прилично, то уйди.

Василий Леонидыч уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Леонид Федорович, профессор, толстая барыня, Сахатов, Гросман, доктор, Семен и Таня. **Темнота.** молчание.

Толстая барыня. Ах, как жаль! Теперь уж нельзя спрашивать. Он родился.

Леонид Федорович. Нисколько. Это глупости Вово. А *он* тут. Спрашивайте.

Профессор. Это часто бывает; эти шутки, насмешки — самое обыкновенное явление. Я полагаю, что *он* здесь еще. Впрочем, мы можем спросить. Леонид Федорович, вы?

Леонид Федорович. Нет, пожалуйста, вы. Меня это расстроило. Так неприятно! Эта бестактность!..

Профессор. Хорошо, хорошо!.. Николай! ты здесь еще?

Таня стучит два раза и звонит в колокольчик. Семен начинает рычать и разводить руками. Захватывает Сахатова и профессора и давит их.

Какое неожиданное проявление! Воздействие на самого медиума. Этого не бывало. Леонид Федорович, наблюдайте, мне неловко. Он давит меня. Да смотрите, что Гросман? Теперь нужно полное внимание.

Таня бросает мужицкую бумагу на стол.

Леонид Федорович. Что-то упало на стол.

Профессор. Смотрите, что упало.

Леонид Федорович. Бумага! Сложенный лист бумаги.

Таня бросает дорожную чернильницу.

Чернильница!

Таня бросает перо.

Перо!

Семен рычит и давит.

Профессор *(задавленный)*. Позвольте, позвольте, совершенно новое явление: не вызванная медиумическая энергия действует, а сам медиум. Однако откройте чернильницу и положите на бумагу перо, он напишет, напишет.

Таня заходит сзади Леонида Федоровича и бьет его по голове гитарой.

Леонид Федорович. Ударил меня по голове! *(Смотрит на стол.)* Перо не пишет еще, и бумага сложена.

Профессор. Посмотрите, что за бумага, делайте скорей; очевидно, двойная сила: его и Гросмана — производит пертурбации.

Леонид Федорович *(выходит с бумагой в дверь и тотчас возвращается)*. Необычайно! Бумага эта — договор с крестьянами, который я нынче утром отказался подписать и отдал назад крестьянам. Вероятно, *он* хочет, чтоб я подписал его?

Профессор. Разумеется! Разумеется! Да вы спросите.

Леонид Федорович. Николай! Или ты желаешь...

Таня стучит два раза.

Профессор. Слышите? Очевидно, очевидно!

Леонид Федорович берет перо и выходит. Таня стучит, играет на гитаре и гармонии и лезет опять под диван. Леонид Федорович возвращается. Семен потягивается и прокашливается.

Леонид Федорович. Он просыпается. Можно зажечь свечи.

Профессор *(поспешно)*. Доктор, доктор, пожалуйста, температуру и пульс. Вы увидите, что сейчас обнаружится повышение.

Леонид Федорович *(зажигает свечи)*. Ну что, господа неверующие?

Доктор *(подходя к Семену и вставляя термометр)*. Ну-ка, молодец. Что, поспал? Ну-ка, это вставь и давай руки. *(Смотрит на часы.)*

Сахатов *(пожимает плечами)*. Могу утверждать, что медиум не мог делать всего того, что происходило. Но нитка?.. Я бы желал объяснения нитки.

Леонид Федорович. Нитка, нитка! Тут были явления посерьезнее.

Сахатов. Не знаю. Во всяком случае — je réserve mon opinion [1].

Толстая барыня *(к Сахатову)*. Нет, как же вы говорите: je réserve mon opinion. А младенец-то с крылышками? Разве вы не видали? Я сначала подумала, что это кажется; но потом ясно, ясно, как живой...

Сахатов. Могу говорить только о том, что́ видел. Я не видал этого, не видал.

Толстая барыня. Ну как же! Совсем ясно было видно. А с левой стороны монах в черном одеянье, еще нагнулся к нему...

Сахатов *(отходит)*. Какое преувеличение!

Толстая барыня *(обращается к доктору)*. Вы должны были видеть. Он с вашей стороны поднимался.

Доктор, не слушая ее, продолжает считать пульс.

(Гросману.) И свет, свет от него, особенно вокруг личика. И выраженье такое кроткое, нежное, что-то вот этакое небесное! *(Сама нежно улыбается.)*

Гросман. Я видел свет фосфорический, предметы изменяли место, но более я ничего не видел.

---

[1] я остаюсь при своем мнении *(франц.)*.

Толстая барыня. Ну, полноте! Это вы так. Это оттого, что вы, ученые школы Шарко́, не верите в загробную жизнь. А меня никто теперь, никто в мире не разуверит в будущей жизни.

Гросман уходит от нее.

Нет, нет, что ни говорите, а это одна из самых счастливых минут в моей жизни. Когда Саразате играл, и эта... Да! *(Никто ее не слушает. Она подходит к Семену.)* Ну, ты мне скажи, ты, дружок, что чувствовал? Очень тебе было тяжело?

Семен *(смеется)*. Так точно.

Толстая барыня. Все-таки терпеть можно?

Семен. Так точно. *(К Леониду Федоровичу.)* Прикажете идти?

Леонид Федорович. Иди, иди.

Доктор *(к профессору)*. Пульс тот же, но температура понизилась.

Профессор. Понизилась? *(Задумывается и вдруг догадывается.)* Так и должно было быть,— должно было быть понижение! Двойная энергия, пересекаясь, должна была произвести нечто вроде интерференции. Да, да.

Леонид Федорович. Мне одно жалко, что полной материализации не было. Но все-таки... господа, милости просим в гостиную.

Толстая барыня. Особенно меня поразило, когда он взмахнул крылышками, и видно было, как он поднимается.

Гросман *(Сахатову)*. Если бы держаться одного гипноза, можно бы произвести полную эпилепсию. Успех мог бы быть совершенный.

Сахатов. Интересно, но не вполне убедительно! — все, что могу сказать.

Говорят все вместе, уходя.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Леонид Федорович с бумагой. Входит Федор Иваныч.

Леонид Федорович. Ну, Федор, какой сеанс был — удивительный! Оказывается, что землю-то надо уступить крестьянам на их условиях.

Федор Иваныч. Вот как!

Леонид Федорович. Да как же? *(Показывает бумагу.)* Представь, бумага, которую я им отдал, оказалась на столе. Я подписал.

Федор Иваныч. Как же она попала сюда?

Леонид Федорович. Да вот попала. *(Уходит.)*

Федор Иваныч уходит за ним.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Таня одна, вылезает из-под дивана и смеется.

Таня. Батюшки мои! Голубчики! Набралась я страху, как он за нитку поймал. *(Визжит.)* Ну, да все-таки вышло,— подписал!

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Таня и Григорий.

Григорий. Так это ты их дурачила?

Таня. А вам что?

Григорий. А что ж, думаешь, барыня за это похвалит? Нет, шалишь, теперь попалась. Расскажу твои плутни, коли по-моему не сделаешь.

Таня. И по-вашему не сделаю, и ничего вы мне не сделаете.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Театр представляет декорацию первого действия.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Два выездных лакея в ливреях. Федор Иваныч и Григорий.

1-й лакей *(с седыми бакенбардами)*. Нынче к вам к третьим. Спасибо, в одной стороне приемные дни. У вас прежде по четвергам было.

Федор Иваныч. Затем переменили на субботу, чтобы заодно: у Головкиных, у Граде-фон-Грабе...

2-й лакей. У Щербаковых так-то хорошо, что как бал, так лакеям угощение.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же. Сверху сходят княгиня с княжной. Бетси провожает их. Княгиня глядит в книжечку, на часы и садится на ларь. Григорий надевает ей ботики.

Княжна. Нет, ты, пожалуйста, приезжай. А то ты откажешься, Додо откажется — ничего и не выйдет.

Бетси. Не знаю. К Шубиным надо непременно. Потом репетиция.

Княжна. Успеешь. Нет, ты, пожалуйста. Ne nous fais pas faux bond [1]. Федя будет и Коко.

Бетси. J'en ai par dessus la tête de votre Coco [2].

Княжна. Я думала, что я его здесь найду. Ordinairement il est d'une exactitude...[3]

Бетси. Он непременно будет.

Княжна. Когда я его вижу с тобой, мне кажется, что он только что сделал или вот сделает предложение.

Бетси. Да уж, вероятно, придется пройти через это. И так неприятно!

Княжна. Бедный Коко! Он так влюблен.

Бетси. Cessez, les gens [4].

Княжна садится на диванчик, разговаривая шепотом. Григорий надевает ей ботики.

Княжна. Так до вечера.

Бетси. Постараюсь.

Княгиня. Так скажите папа, что я ничему не верю, но приеду посмотреть его нового медиума. Чтоб он дал знать. Прощайте, ma toute belle [5]. *(Целует и уходит с княжной.)*

Бетси уходит наверх.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Два лакея, Федор Иваныч и Григорий.

Григорий. Не люблю старух обувать: не перегнется никак, от живота не видит, тычет мимо всё; то ли дело молоденькую — приятно и ножку в руки взять.

---

[1] Не обмани *(франц.)*.
[2] Мне до смерти надоел ваш Коко *(франц.)*.
[3] Обычно он точен... *(франц.)*
[4] Перестань, прислуга *(франц.)*.
[5] моя красавица *(франц.)*.

2-й лакей. Тоже разбирает.

1-й лакей. Нашему брату этого разбирать не полагается.

Григорий. Отчего ж не разбирать, разве мы не люди? Это они думают, что мы не понимаем; как сейчас разговорились, взглянули на меня, сейчас: ле жан.

2-й лакей. А это что ж?

Григорий. А это значит по-русски: не говори, поймут. За обедом тоже; а я понимаю. Вы говорите: разница,— никакой нет.

1-й лакей. Разница большая, кто понимает.

Григорий. Разницы нет никакой. Нынче я лакей, а завтра, может, и не хуже их жить буду. И за лакеев замуж выходят, разве не бывало? Пойти покурить. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Григория.

2-й лакей. А смелый этот у вас молодой человек.

Федор Иваныч. Пустой малый, неспособен к службе; в конторщиках был, набаловался. Я и не советовал брать, да барыне понравился — виден для выезда.

1-й лакей. Я бы его к нашему графу, он бы его поставил в точку. Ох! не любит этаких вертунов. Лакей, так будь лакей, звание свое оправдай; а эта гордость не пристала.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, сверху сбегает Петрищев и достает папироску. Навстречу ему входит Коко Клинген в pince-nez.

Петрищев *(в задумчивости)*. Да, да. Мое второе то же, что «ка». Кар-тож-ка. Мое всё... Да, да... А, Кокоша-Картоша! Откуда?

Коко Клинген. От Щербаковых. Ты вечно глупости...

Петрищев. Нет, ты слушай, шарада: мое первое то же, что «кин», мое второе то же, что «ка», а мое всё далеко гоняет телят.

Коко Клинген. Не знаю, не знаю. И некогда.

Петрищев. А куда тебе еще?

Коко Клинген. Как куда? К Ивиным, спевка, надо быть. Потом к Шубиным, потом на репетицию. Ведь и ты должен быть?

Петрищев. Как же, непременно. И на репетиции и на морковетиции. Ведь то я был дикий, а теперь я и дикий и генерал.

Коко Клинген. Ну, а сеанс вчерашний что?

Петрищев. Умора! Мужик был; но главное дело — всё в темноте. Вово младенцем пищал. Профессор объяснял, а Марья Васильевна разъясняла. Потеха! Жаль, что ты не был.

Коко Клинген. Боюсь, mon cher; [1] ты как-то это умеешь шутками отделываться, а мне всё кажется, что чуть скажу словечко, сейчас повернут так, что я сделал предложение. Et ça ne m'arrange pas du tout, du tout. Mais du tout, du tout! [2]

Петрищев. А ты делай предложение с сказуемым, вот ничего и не будет. Так заходи к Вово, вместе поедем на редькотицию.

Коко Клинген. Не понимаю, как ты можешь водиться с таким дураком. Уж так глуп, вот уж истинно шалопай!

Петрищев. А я его люблю. Люблю Вово, но *«странною любовью», «к нему не зарастет народная тропа»... (Уходит в комнату Василья Леонидыча.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Два лакея, Федор Иваныч и Коко Клинген. Бетси провожает даму. Коко значительно кланяется.

Бетси *(трясет ему руку, боком к даме)*. Вы не знакомы?

Дама. Нет.

Бетси. Барон Клинген. Что ж вы вчера не были?

Коко Клинген. Никак не мог, не успел.

Бетси. Жаль, очень было интересно. *(Смеется.)* Вы бы увидали, какие были manifestations [3]. Ну что же, наша шарада подвигается?

Коко Клинген. О да! Стихи на mon second [4] готовы, Ник сочинил, а я музыку.

Бетси. Как же, как? Скажите.

---

[1] Мой дорогой *(франц.)*.

[2] А это мне нисколько не улыбается, нисколько, нисколько! *(франц.)*

[3] проявления *(франц.)*.

[4] мое второе *(франц.)*.

Коко Клинген. Позвольте, как?.. Да! Рыцарь поет Нанне. *(Поет.)*

Как прекрасна натура,
Льет на душу мне надежду...
Нанна, Нанна! на, на, на!

Дама. Это mon second *на*, а mon premier [1] что же?

Коко Клинген. Mon premier— это *Аре*,— имя дикарки.

Бетси. *Аре*, это, видите, дикарка, которая хочет съесть предмет своей любви... *(Хохочет.)* Она ходит, тоскует и поет:

Ах, аппетит...

Коко *(перебивая)*. Меня мутит...

Бетси *(подхватывает)*.

Кого-то есть желаю.
Хожу, брожу...

Коко Клинген.

Не нахожу...

Бетси.

Кого жевать — не знаю...

Коко Клинген.

Вдали вот плот...

Бетси.

Сюда плывет;
На нем два генерала...

Коко Клинген.

Мы два генерала,
Судьба нас связала,
На остров послала.

И опять refrain: [2]

Судьба нас связала,
На остров посла-а-ла.

Дама. Charmant! [3]

Бетси. Вы поймите, как глупо!

[1] мое первое *(франц.)*.
[2] припев *(франц.)*.
[3] Прелестно! *(франц.)*

Коко Клинген. В том-то и прелесть.

Дама. Кто же Аре?

Бетси. Я, я костюм сделала, а мама говорит: «Неприлично». А нисколько не неприличнее, чем на бале. *(К Федору Иванычу.)* Что, здесь от Бурдье?

Федор Иваныч. Здесь, на кухне сидит.

Дама. Ну, а *арена* как же?

Бетси. Да вы увидите. Не хочу вам портить удовольствия. Au revoir [1].

Дама. Прощайте! *(Раскланиваются. Дама уходит.)*

Бетси *(к Коко Клингену)*. Пойдемте к maman.

Бетси и Коко Клинген уходят наверх.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Федор Иваныч, два лакея и Яков (выходит из буфета с подносом, чаем, печеньем; запыхавшись идет через переднюю).

Яков *(лакеям)*. Мое почтение, мое почтение!

Лакеи кланяются.

(Федору Иванычу.) Хоть бы вы приказали Григорью Михайлычу подсобить. Замучился на отделку... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, без Якова.

1-й лакей. Старательный это у вас человек.

Федор Иваныч. Хороший малый, да вот не нравится барыне,— не виден, говорит, из себя. А тут еще наклепали на него вчера, что он мужиков в кухню пустил. Как бы не разочли! А малый хороший.

2-й лакей. Каких мужиков?

Федор Иваныч. Да пришли из нашей курской деревни землю покупать; дело ночное, да и земляки. Один буфетному мужику отец. Ну и провели их в кухню. А тут случись угадыванье мыслей; спрятали вещь в кухню, пришли все господа, увидала их барыня — беда! Как, говорит, люди, может быть, зараженные, а их в кухню!.. Очень она напугана заразой этой.

---

[1] До свиданья *(франц.)*.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Григорий.

Федор Иваныч. Пойдите, Григорий, подсобите Якову Иванычу, а я здесь побуду один. Один не поспевает.

Григорий. Неловок, оттого и не поспевает. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, без Григория.

1-й лакей. И что это за новая мода пошла нынче — эти заразы!.. Так и ваша боится?

Федор Иваныч. Пуще огня! У нас только заботы теперь, что окуривать, обмывать, обрызгивать.

1-й лакей. То-то я слышу дух такой тяжелый. *(С оживлением.)* Ни на что не похоже, какие грехи с этими заразами. Скверно совсем! Даже бога забыли. Вот у нашего барина сестры, княгини Мосоловой, дочка умирала. Так что же? Ни отец, ни мать и в комнату не вошли, так и не простились. А дочка плакала, звала проститься,— не вошли! Доктор какую-то заразу нашел. А ведь ходили же за нею и горничная своя и сиделка — и ничего, обе живы остались.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, Василий Леонидыч и Петрищев (выходят из дверей с папиросками).

Петрищев. Да пойдем же, я только Кокошу-Картошу захвачу.

Василий Леонидыч. Болван твой Кокоша! Я тебе скажу, терпеть его не могу. Вот пустой-то малый, настоящий полотер! Ничем не занят, только шляется. А, что?..

Петрищев. Ну, так погоди, все-таки я прощусь.

Василий Леонидыч. Ну, хорошо, я пойду собак посмотрю, в кучерскую. Кобель один, так так зол, что кучер говорит, чуть не съел его. А, что?

Петрищев. Кто кого съел? Неужели кучер съел кобеля?

Василий Леонидыч. Ну, ты вечно... *(Одевается и уходит.)*

Петрищев *(задумчиво)*. Ма-кин-тож, кар-тожка... Да, да. *(Идет наверх.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Два лакея, Федор Иваныч и Яков (пробегает через сцену в начале и конце явления).

Федор Иваныч *(Якову)*. Чего еще?

Яков. Тартинок нет! Я говорил... *(Уходит.)*

2-й лакей. А вот еще у нас барчук заболел. Так сейчас свезли его в гостиницу с нянькой, так там без матери и помер.

1-й лакей. То-то греха не боятся! Я полагаю, что от бога никуда не уйдешь.

Федор Иваныч. И я так думаю.

Яков бежит наверх с тартинками.

1-й лакей. И то возьмите во внимание, что ежели теперь так всех бояться, то надо запереться в четырех стенах, как в тюрьме ровно, да так и сидеть.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и Таня, потом Яков.

Таня *(кланяется лакеям)*. Здравствуйте!

Лакеи кланяются.

Федор Иваныч! мне вам два слова сказать.

Федор Иваныч. Ну что?

Таня. Да пришли, Федор Иваныч, мужички опять...

Федор Иваныч. Ну так что же? Бумагу-то ведь я Семену отдал...

Таня. Бумагу я им отдала. Уж как благодарят-то, и не знаю как. Теперь только просят деньги от них принять.

Федор Иваныч. Да где они?

Таня. Тут, у крыльца стоят.

Федор Иваныч. Ну что ж, я скажу.

Таня. Да еще просьба моя к вам, батюшка Федор Иваныч.

Федор Иваныч. Что еще?

Таня. Да что, Федор Иваныч, мне уж оставаться нельзя здесь. Попросите, чтоб отпустили меня.

Яков вбегает.

Федор Иваныч *(Якову)*. Что ты?

Яков. Самовар другой да апельсины.

Федор Иваныч. У экономки спроси.

Яков убегает.

Это что ж так?

Таня. Да ведь как же! Теперь мое дело такое.

Яков *(вбегая)*. Апельсинов мало.

Федор Иваныч. Подай, что есть.

Яков убегает.

Не время ты выбрала: ведь видишь, суета...

Таня. Да ведь сами знаете, Федор Иваныч, этой суете угомону не бывает, сколько ни жди,— вы сами знаете,— а ведь мое дело навек... Вы, батюшка Федор Иваныч, как мне добро такое сделали, будьте отец родной, выберите времечко, скажите. А то рассердится, билет не даст.

Федор Иваныч. Да что же тебе так загорелось?

Таня. Да как же, Федор Иваныч, дело теперь сладилось... Я бы к маменьке, к крестной поехала, приготовилась бы. А на красную горку и свадьба. Скажите, батюшка Федор Иваныч!

Федор Иваныч. Ступай теперь — не место тут.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Сверху сходит барин (пожилой) и молча уходит со 2-м лакеем. Таня уходит. Федор Иваныч, 1-й лакей и Яков (входит).

Яков. Что же, Федор Иваныч, это обида живая! Теперь меня расчесть хочет. Ты, говорит, все колотишь, Фифку забыл и против моего приказания мужиков в кухню пустил. А вы сами знаете: я ничего знать не знаю! Только сказала мне Татьяна: проведи в кухню, а я не знаю, по чьему приказу.

Федор Иваныч. Что ж, разве она говорила?

Яков. Сейчас говорила. Уж вы заступитесь, Федор Иваныч! А то семейство только стало поправляться, а тут сойдешь с места, когда-то опять попадешь. Федор Иваныч, пожалуйста!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Федор Иваныч, 1-й лакей и барыня провожает старую графиню с фальшивыми волосами и зубами. Графиню одевает 1-й лакей.

Барыня. Непременно, как же? Я так истинно тронута.

Графиня. Кабы не нездоровье, я бы чаще у вас бывала.

Барыня. Право, возьмите Петра Петровича. Он груб, но никто так не может успокоить; так просто, ясно у него все.

Графиня. Нет, уж я привыкла.

Барыня. Осторожнее.

Графиня. Merci, mille fois merci [1].

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Григорий, растрепанный, в волнении, выскакивает из буфета.
За ними виден Семен.

Семен. А ты к ней не приставай.

Григорий. Я тебя, мерзавца, научу, как драться! Ах ты, негодяй!

Барыня. Что это такое? Что вы, в кабаке, что ли?

Григорий. Не могу жить от этого мужика грубого.

Барыня *(с досадой)*. Вы с ума сошли, разве вы не видите. *(К графине.)* Merci, mille fois merci. A mardi [2].

Графиня и 1-й лакей уходят.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Федор Иваныч, барыня, Григорий и Семен.

Барыня *(к Григорию)*. Что такое?

Григорий. Я хоть в должности лакея, но я имею свою гордость и не позволю всякому мужику меня толкать.

Барыня. Да что такое случилось?

Григорий. Да вот Семен ваш набрался храбрости, что он с господами сидел. Драться лезет.

Барыня. Что такое? За что?

Григорий. А бог его знает.

Барыня *(к Семену)*. Что это такое значит?

Семен. Что ж он к ней пристает?

Барыня. Да что у вас было?

Семен *(улыбаясь)*. Да так, он Таню, горничную,

[1] Благодарствуйте, тысячу раз благодарствуйте *(франц.)*.
[2] Благодарствуйте, тысячу раз благодарствуйте. До вторника *(франц.)*.

все хватает, а она не хочет. Вот я его отстранил рукой... так, маленечко.

Григорий. Хорошо отстранил, чуть ребра не сломал. И фрак разорвал. Да ведь он что говорит: «На меня, говорит, по-вчерашнему, сила нашла», и начал давить.

Барыня *(к Семену)*. Как ты смеешь драться в моем доме?

Федор Иваныч. Позвольте доложить, Анна Павловна, надо вам сказать, что Семен имеет чувства к Тане, и как они теперь сосватаны, а Григорий — что ж, надо правду сказать — обращается нехорошо, неблагородно. Ну, вот Семен, я полагаю, и обиделся на него.

Григорий. Совсем нет; это из-за злобы, что я плутовство их все открыл.

Барыня. Какое плутовство?

Григорий. А в сеансе. Все вчерашние штуки не Семен, а Татьяна делала. Я сам видел, как она из-под дивана лезла.

Барыня. Что такое из-под дивана лезла?

Григорий. Честное слово могу дать. Она и бумагу принесла и кинула на стол. Кабы не она, бумагу не подписали бы и мужикам землю не продали бы.

Барыня. Вы сами видели?

Григорий. Своими глазами. Прикажите позвать ее, она не отопрется.

Барыня. Позовите ее.

Григорий уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же, без Григория. За сценой шум, голос швейцара: «Нельзя, нельзя!» Показывается швейцар, мимо него врываются три мужика. Впереди 2-й мужик, 3-й мужик спотыкается, падает и хватается за нос.

Швейцар. Нельзя, идите!

2-й мужик. Авось не беда. Разве мы за худым чем? — мы денежки отдать.

1-й мужик. Двистительно, как за подписью руки приложенья, дело в окончании, мы только денежки предоставить с нашей благодарностью.

Барыня. Погодите, погодите благодарить, все это

был обман. Еще не кончено. Не продано еще. Леонид! Позовите Леонида Федоровича.

Швейцар уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же и Леонид Федорович выходит, но, увидав барыню и мужиков, хочет уйти назад.

Барыня. Нет, нет, пожалуйте сюда! Я говорила вам, что нельзя продавать землю в долг, и все вам говорили. А вас обманывают, как самого глупого человека.

Леонид Федорович. То есть в чем? Я не понимаю, какой обман.

Барыня. Стыдились бы вы! Вы седой, а вас, как мальчишку, обманывают и смеются над вами. Жалеете для сына какие-нибудь триста рублей для его общественного положения, а самих вас, как дурака, проводят на тысячи.

Леонид Федорович. Да ты, Annette, успокойся.

1-й мужик. Мы только в получении суммы, значит...

3-й мужик *(достает деньги)*. Отпусти ты нас, ради Христа!

Барыня. Погодите, погодите.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Те же, Григорий и Таня.

Барыня *(строго к Тане)*. Ты была вчера вечером во время сеанса в маленькой гостиной?

Таня, вздыхая, оглядывается на Федора Иваныча, Леонида Федоровича и Семена.

Григорий. Да уж нечего вилять, когда я сам видел...

Барыня. Говори, была? Я знаю все, признавайся. Я тебе ничего не сделаю. Мне только хочется уличить вот его *(указывает на Леонида Федоровича)*, барина... Ты кинула бумагу на стол?

Таня. Я не знаю, что и отвечать. Одно, что нельзя ли меня домой отпустить?

Барыня *(к Леониду Федоровичу)*. Вот видите, вас дурачат.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Те же. Входит Бетси в начале явления и стоит незамеченная.

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна!

Барыня. Нет, милая! Ты ведь, может быть, убытку сделала на несколько тысяч. Продали землю, которую не надо было продавать.

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна.

Барыня. Нет, ты ответишь. Плутовать нельзя. К мировому судье подам.

Бетси *(выступая)*. Отпустите ее, мама. А коли вы хотите ее судить, то и меня вместе с ней,— я с ней вместе вчера все делала.

Барыня. Ну, да уж когда ты, то, кроме самого гадкого, ничего и быть не могло.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Те же и профессор.

Профессор. Здравствуйте, Анна Павловна! Здравствуйте, барышня! А я вам несу, Леонид Федорович, отчет о тринадцатом съезде спиритуалистов в Чикаго. Удивительная речь Шмита.

Леонид Федорович. А, очень интересно!

Барыня. Я вам гораздо интереснее расскажу. Оказывается, что и вас и мужа дурачила эта девчонка. Бетси на себя говорит, но это чтоб дразнить меня; а дурачила вас безграмотная девчонка, а вы верите! Вчера никаких ваших медиумических явлений не было, а это она *(указывая на Таню)* все делала.

Профессор *(раздеваясь)*. Как, то есть?

Барыня. Да так, что она в темноте и на гитаре играла, и мужа по голове била, и все глупости ваши делала, и сейчас призналась.

Профессор *(улыбаясь)*. Так что же это доказывает?

Барыня. Доказывает, что ваш медиумизм — вздор! Вот что доказывает.

Профессор. Оттого, что эта девушка хотела обманывать, от этого медиумизм — вздор, как вы изволите выражаться? *(Улыбаясь.)* Странное заключение! Очень может быть, что девушка эта хотела обманывать: это часто бывает; может быть, она что-нибудь и делала, но то, что она делала,— делала она то, что было про-

явлением медиумической энергии,— было проявлением медиумической энергии. Даже весьма вероятно, что то, что делала эта девушка, вызывало, соллицитировало, так сказать, проявление медиумической энергии, давало ей определенную форму.

Барыня. Опять лекция!..

Профессор *(строго)*. Вы говорите, Анна Павловна, что эта девушка, может быть, и эта милая барышня что-то делали; но свет, который мы все видели, а в первом случае понижение, а во втором — повышение температуры, а волнение и вибрирование Гросмана,— что же, это тоже делала эта девушка? А это факты, факты, Анна Павловна! Нет, Анна Павловна, есть вещи, которые надо исследовать и вполне понимать, чтобы говорить о них,— вещи слишком серьезные, слишком серьезные...

Леонид Федорович. А дитя, которое ясно видела Марья Васильевна! Да и я видел... Это не могла же сделать эта девушка.

Барыня. Вы думаете, что вы умны, а вы — дурак!

Леонид Федорович. Ну, я уйду. Алексей Владимирович, пойдемте ко мне. *(Уходит в кабинет.)*

Профессор *(пожимая плечами, идет за ним)*. Да, как еще мы далеки от Европы!

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Барыня, три мужика, Федор Иваныч, Таня, Бетси, Григорий, Семен и Яков (входит)

Барыня *(вслед Леониду Федоровичу)*. Обманули его, как дурака, а он ничего не видит. *(Якову.)* Тебе что?

Яков. На много ли персон прикажете накрывать?

Барыня. На много ли?.. Федор Иваныч? Принять от него серебро! Вон сейчас! От него всё. Этот человек меня в гроб сведет. Вчера чуть-чуть не заморил собачку, которая ничего ему не сделала. Мало ему этого, он же зараженных мужиков вчера в кухню завел, и опять они здесь. От него всё! Вон, сейчас вон! Расчет, расчет! *(Семену.)* А если ты себе вперед позволишь шуметь в моем доме, я тебя, скверного мужика, выучу!

2-й мужик. Да что же, коли он скверный мужик, так и держать его нечего, а давай расчет, вот и все.

Барыня *(слушая его, вглядывается в 3-го мужи-*

ка). Да смотрите: у этого сыпь на носу, сыпь! Он больной, он резервуар заразы!! Ведь я вчера говорила, чтобы их не пускать, и вот они опять тут. Гоните их вон!

Федор Иваныч. Что же, не прикажете деньги принять?

Барыня. Деньги? Деньги возьми, но их, особенно этого больного, вон, сию минуту вон! Он совсем гнилой!

3-й мужик. Напрасно ты, мать, ей-богу, напрасно. У моей старухи, скажем, спроси. Какой я гнилой? Я, как стеклышко, скажем.

Барыня. Еще разговаривает?.. Вон, вон! Все назло!.. Нет, я не могу, не могу! Пошлите за Петром Петровичем. *(Убегает, всхлипывая.)*

Яков и Григорий уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без барыни, Якова и Григория.

Таня *(к Бетси).* Барышня, голубушка, как же мне быть теперь?

Бетси. Ничего, ничего. Поезжай с ними, я устрою. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Федор Иваныч, три мужика, Таня и швейцар.

1-й мужик. Как же, почтенный, получение суммы теперича?

2-й мужик. Отпусти ты нас.

3-й мужик *(мнется с деньгами).* Кабы знать, я ни в жисть не взялся бы. Это засушит хуже лихой болести.

Федор Иваныч *(швейцару).* Проводи их ко мне, там и счеты есть. Там и получу. Идите, идите.

Швейцар. Пойдемте, пойдемте.

Федор Иваныч. Да благодарите Таню. Кабы не она, быть бы вам без земли.

1-й мужик. Двистительно, как изделала предлог, так и в действие произвела.

3-й мужик. Она нас людьми изделала; а то бы что? земля малая, не то что скотину,— курицу, скажем, и ту выпустить некуда. Прощевай, умница! Приедешь на село, приходи мед есть.

2-й мужик. Дай домой приеду, свадьбу готовить стану, пиво варить. Только приезжай.

Таня. Приеду, приеду! *(Визжит.)* Семен! То-то хорошо-то!

Мужики уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Федор Иваныч, Таня и Семен.

Федор Иваныч. С богом. Ну, смотри, Таня, когда домком заживешь, я приеду к тебе погостить. Примешь?

Таня. Голубчик ты мой, как отца родного примем! *(Обнимает и целует его.)*

Занавес

Конец

ПЕТР ХЛЕБНИК

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Действие происходит в III столетии в **Сирии.**

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Площадь перед домом. Сидят нищие: две женщины, трое мужчин, проходят жители. Нищие просят, им подают.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Входит нищий странник.

Странник. Здорово, товарищ.

1-й нищий. Откуда?

Странник. Из Каира. Хорошо ли собираете?

1-й нищий. Плохо, богатых мало.

Странник. Как мало? А вот какие богатые дома *(указывает)*. У этого, должно быть, тысячи.

Нищая. Да, у этого богатства много, да он удавится, а ничего нищему не подаст.

2-й нищий. Все знают Петра Хлебника. С тех пор, как я здесь живу, тридцать лет, никогда никому корки хлеба не дал.

3-й нищий. И жена и дочь такие же.

2-я нищая. Нет, дочь все-таки добрее. Служанка сказывала.

1-я нищая. Нет на свете скупее человека этого Петра, никогда никому не подаст.

Странник. Как не даст. Кто умеет просить, выпросит.

1-й нищий. Как же, попробуй.

Странник. А вот выпрошу. Нет того человека, кто бы мне не дал, если я пристану.

Нищая и нищий. Как же, выпросишь, не даст.

Странник. Об заклад.

1-й нищий. О чем?

Все обступают странника.

Странник. Да вот хочешь об заклад на три деньги?

1-й нищий. Идет. *(Бьют по рукам и смеются.)* Давай деньги.

Странник и нищий отдают деньги первой нищей.

2-й нищий. Вот он как раз идет. Несет князю хлебы.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Выходит Петр с рабом, несущим корзину хлеба.

Странник *(подходит к Петру)*. Христа ради страннику бездомному. Вы наши отцы, смилуйтесь. Кормилец, Христа ради, с голода умираю и т. д.

Петр *(идет не оборачиваясь)*.

Странник пристает, падает в ноги, хватает за полы.

Отвяжись.

Странник. Родимый, батюшка и т. д.

Петр. Пошел прочь.

Странник *(забегает с другой стороны, падает в ноги)*. Батюшка и т. д.

Петр. Отстань, убью. *(Нагибается, берет камень.)*

Странник. Милостивец. Пожалей. *(Хватает за руку и т. д.)*

Петр. Говорил, изобью.. Отстань. *(Схватывает хлеб из корзины, бросает в него и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Петра.

Странник *(подхватывает хлеб и бежит к нищим)*. Что, говорил? Моя взяла. Вот она, Петрова милостыня. *(Показывает хлеб.)* Давай деньги мои.

2-й нищий. Ну, брат, счастлив ты. Выиграл, угости за это.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Внутренность дома. На первом плане сидят жена и дочь Петра. В глубине сцены кровать, на которой лежит Петр, мечется и бредит.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Петр. Разбойники, разорили. Куда столько муки всыпали. Плати деньги. Режь. Царь. Цветы заиграли. Прощайте. *(Затихает.)*

Жена. Вот уж вечером третий день будет, а все не лучше. Как бы не помер.

Входит юродивая.

Юродивая. Здравствуй, девонька. Все плачешь. Мужа хоронить хочешь. Не робей, не помрет. Не готов еще он. Тридцать лет деньги собирал, теперь столько еще лет надо деньги расшвыривать. Тогда только готов будет.

Мать. Будет тебе, Дунюшка, пустяки говорить. Поесть хочешь?

Юродивая. Не надо мне есть. Эй, старик, спишь, что ли?

Дочь уходит.
Петр прислушивается.

Нельзя богатому внить в царство божие. Не пролезешь, зацепишься. А не пролезешь, в ад к муринам попадешь.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Входит врач. Те же и врач, без дочери.

Петр *(вскакивает и кричит)*. Тебе что нужно? И ты меня душить хочешь?

Врач. Успокойся, болезнь твоя пройдет. *(Берет его за руку и усаживает на постель.)*

Юродивая. Дурак, дурак, глупости делаешь, мое дело портишь. Не хочу смотреть. *(Убегает.)*

Врач. Держите его. *(Ощупывает, остукивает и говорит про себя.)* Здесь нет. Здесь начинается. Слышу, вот он. Этого я выгоню. Вся болезнь тут. Исцелишься, будь спокоен. Лежи смирно. *(Вынимает стклянку, дает ему пить и передает жене другую, чтобы растирать его.)* Вечером разотрите его. Вот так. *(Врач уходит, жена за ним.)*

Петр *(один, долго лежит молча, вдруг вскакивает и садится)*. Что же это? Это смерть. Чувствую, что умираю. Вот он и ангел за душой пришел. Он говорит, исцелеешь. Какое исцеление, когда смерть. Боже мой, что же будет со мной там? Неужели правда, что нельзя войти богатому в царство божие? Неужели правда, что зачтется мне вся жестокость моя, что не давал я просящему, не жалел вдову, сироту, больного, убогого? Неужели это правда? Как же не понимал я этого? Лучше бы мне не половину, а все отдать, чем идти теперь к этим черным. Вот они, вот они, уже тащат к себе мою душу. *(Смотрит вверх.)* Да, вот они, весы, на них будут вешать мои добрые и злые дела. Вот они принесли на одну сторону деньги, что я поотнимал у вдов и сирот, жалованье, что я не отдал рабочим, обиды, ругательства, побои. Вот они верхом наложили эту чашу весов, и уже пошли весы книзу, и вот они возрадовались, дьяволы. Ай, ай, пропал! Что теперь положат на другую сторону?.. Что же это? Хлеб. Только один хлеб, тот хлеб, что я тогда бросил в надоедливого нищего. Батюшки, поднялись весы, перетянул хлеб все злые дела мои... Так вот оно что значит, милосердие. Только бы не умереть мне теперь. Знал бы я, что бы сделал. По слову Христову роздал бы все имение нищим, не оставил бы себе ничего. *(Падает на постель и засыпает.)*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Перед крыльцом дома Петра. Петр на крыльце, кругом огромная толпа нищих и всякого народа. Петр из мешка оделяет деньги.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

1-й нищий *(на 2-го)*. Ты уж другой раз берешь.

Толкаются.

2-й нищий. Врешь, ты сам три раза брал.

Женщина. Ай, батюшки, задавили.

Голос из толпы. А ты не лезь.

3-й нищий. Мне, мне, пять человек детей, мал мала меньше...

Различные возгласы.

Петр. Берите, берите, достанет, только не обижайте друг друга. Довольно я обижал всех, простите Христа ради.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Жена *(прибегает)*. Что же ты это, разбойник, делаешь! Нищими нас оставить хочешь? То не в меру скуп, а теперь не в меру щедр стал. Разбойник! *(Отнимает у него деньги и вталкивает в дом. Кричит на народ и разгоняет.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Петр Хлебник выходит с рабом Елизаром.

Петр. Так обещай же, что сделаешь то, о чем буду просить тебя.

Елизар. Все сделаю, потому что люблю тебя теперь больше, чем люблю отца с матерью. Люблю потому, что вижу в тебе дух божий.

Петр. Обещаешь, клянешься?

Елизар. Обещаю, клянусь.

Петр. Видишь ли, семья не дозволяет мне раздать последнее имение мое. Не могу я силой идти против них, и не могу я остаться так, как я был. Понял я теперь грех мой и хочу искупить его и служить одному богу. Сказано: «Продай имение свое и отдай его нищим». Мне не дают раздать остального имения моего. Я не волен в нем, но в себе я волен, и себя я хочу отдать людям. Так пойдем же со мной на базар, где продают невольников, свяжи мне руки и выведи меня и продай как невольника своего. А деньги, которые выручишь, отдай нищим.

Елизар. Хозяин, не могу сделать этого.

Петр. А как же ты обещал и клялся мне?

Елизар. Не делай этого, жаль мне тебя.

Петр. Что же не жалел ты меня, когда я делал зло и губил себя? А жалеешь теперь, когда хочу спасти себя.

Елизар. Пусть будет воля твоя.

Жена *(выходит)*. Что вы делаете здесь? Будет вам растабарывать. Идите в дом.

Уходят.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Базар. Невольницы и невольники связанные, в цепях, и их хозяева. 1-й хозяин с 2-мя невольниками. 2-й хозяин со стариком невольником и с сыном, мальчиком-невольником. Елизар с Петром. Покупатели.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

1-й покупатель. Что ты просишь за эту? *(Показывает на невольницу.)*

1-й хозяин. Двести гривен.

1-й покупатель. Что умеет делать?

1-й хозяин. Пляшет, поет.

1-й покупатель. Стряпать умеет?

1-й хозяин. Для стряпни возьми старую.

1-й покупатель. Не нужно.

2-й покупатель *(подходит к старику и молодому)*. Что просишь за двух?

2-й хозяин. Сто тридцать.

2-й покупатель. Кто же тебе это даст. *(Трогает за руку старика.)* В нем силы нет, а тот молод.

2-й хозяин. Да я дешевле не возьму.

2-й покупатель. Не надо, не надо. *(Подходит к Петру.)* На какую годен работу?

Елизар *(тихо)*. Не могу, уволь.

Петр. Помни, что ты поклялся, не погуби меня. *(К покупателю.)* Гожусь на всякую. Могу и черную работу, и писать и считать могу.

2-й покупатель. Что просишь?

Петр *(шепотом Елизару)*. Говори: сто гривен.

Елизар. Сто гривен.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Подходят два египтянина.

1-й египтянин *(к покупателю)*. Для чего торгуете?

2-й покупатель. Мне в черную работу надо.

А этот и писать и считать умеет, а такие на тяжелый труд ненадежны.

1-й египтянин. А мне такого и нужно. По нашей торговле дорогими каменьями нужно не тяжелую работу, а чистоту, расчетливость и верность.

Петр. Хозяин, возьми меня, будешь доволен. Буду служить, как сын отцу родному.

1-й египтянин. Ты мне нравишься. *(К Елизару.)* Какая цена?

Елизар. Сто гривен.

1-й египтянин. Получи деньги.

Елизар *(плачет)*. Не могу.

Петр *(обнимает Елизара)*. Прощай. Отдай же деньги, как я сказал тебе.

Елизар. Все сделаю, только бы душа твоя была покойна. Прощай, дорогой хозяин.

Петр. Молчи. *(Уходит с египтянином.)*

Елизар один плачет.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Действие происходит в Египте. Немой привратник пропускает врача и купца в двери и объясняет знаками, что хозяин сейчас придет. Уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Врач. Должно быть, он говорит, что хозяин дома, и просит нас войти. Пойдем.

Купец. Да я знаю, что они гостеприимные люди.

Входит 1-й египтянин.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

1-й египтянин *(обращаясь к купцу)*. Радуюсь видеть вас у себя. Милости просим. Вы, должно быть, устали от дороги и не откажетесь вкусить моей хлеба-соли.

Купец. Благодарю. Мы и друг мой врач из далекой Сирии приехали по делам торговли в ваш город и очень рады посетить вас.

Египтянин *(хлопает в ладоши и зовет)*. Мефодий! *(К гостям.)* Прошу садиться.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Входит Петр в одежде прислуживающего раба и, увидев врача, пугается и отворачивается.

Петр. Что прикажет хозяин?

Египтянин. Принеси дорогим гостям хлеба, вина и винограду. Гости с твоей стороны. Ты не знаешь их?

Петр. Нет, я не знаю. *(Уходит.)*

Врач *(к хозяину)*. А ты был когда-нибудь в нашем городе?

Египтянин. Был восемь лет тому назад. В то самое время, как купил того самого раба, которого вы сейчас видели.

Врач. Да это было в то самое время, как в нашем городе случилось то необыкновенное дело, которого никто не может понять до сих пор.

Египтянин. Какое же это было необыкновенное дело?

Врач. А это было то, что один из самых богатых людей нашего города, Петр Хлебник, обладавший огромными садами и землями и бывший самым скупым человеком в стране, вдруг поверил христианскому закону и роздал все, что мог раздать, а так как не мог всего раздать, то, как рассказывают, сам себя продал в рабство, цену за себя отдал нищим и исчез неизвестно куда.

Купец. Жена его до сих пор повсюду рассылает людей, чтобы найти его, но никто не знает, где он и что он.

Египтянин. Какая удивительная история. Каких он был лет и какого вида?

В это время входит Петр, неся кувшин с вином и плоды.

Врач. Ему было уже лет под пятьдесят и из себя был роста среднего, скорее худой, чем толстый, подобно рабу этому.

Петр закрывает себе лицо и поспешно уходит.

Какое славное лицо у этого раба.

Египтянин. Он не раб, а золото. С тех пор, как он у меня, все дела мои процветают. Я много раз отда-

вал ему свободу, но он не хочет брать ее. Он раб, но один из самых лучших людей, которых я знал когда-либо. Мефодий, пойди сюда.

Входит Петр.

Врач *(к купцу)*. Посмотри, он, право, похож на Петра Хлебника.

Петр бежит к дверям.

Петр. Немой, отопри.

Дверь отворяется, Петр убегает. Немой входит и говорит.

Немой. Это был святой, я видел, когда он вышел в ворота, как сияние окружило его, и он исчез.

Египтянин. Чудо, немой заговорил.

Купец и врач. Это он, это он, он скрылся, чтобы люди не восхваляли его.

Занавес

Конец

ЖИВОЙ ТРУП

Драма в шести действиях

(двенадцати картинах)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Федор Васильевич Протасов (Федя).
Елизавета Андреевна Протасова (Лиза), его жена.
Миша, мальчик, их сын.
Анна Павловна, мать Лизы.
Саша, сестра Лизы.
Виктор Михайлович Каренин.
Анна Дмитриевна Каренина, мать его.
Марья Васильевна Крюкова, подруга Лизы.
Сергей Дмитриевич Абрезков, князь.
Маша, цыганка.
Иван Макарович, старый цыган, отец Маши.
Настасья Ивановна, старая цыганка, мать Маши.

Михаил Андреевич.
Афремов
Стахович
Буткевич
Коротков
} приятели Феди.

Иван Петрович Александров.
Петушков, художник.
Артемьев.
Вознесенский, секретарь Каренина.
Судебный следователь.
Письмоводитель судебного следователя.
Мельников.
Петрушин, адвокат.
Молодой адвокат.
Доктор.
Офицер у цыган.
Музыкант.

Катя
Гаша
} цыганки.

Цыганка.
1-й цыган.
2-й цыган.
Дама в суде.
Офицер в суде.
Судейский.
Няня Протасовых.
Дуняша, горничная Протасовых.
Лакей Протасовых.
Лакей Карениных.
Женщина в трактире.
Половой в трактире.
Городовой.
Курьер.
Хозяин трактира.
Господин в суде.
Судьи, зрители, свидетели.
Цыгане и цыганки (хор).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анна Павловна, полная седая дама, в корсете, сидит одна за чайным столом.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Анна Павловна и няня с чайником.

Няня. Можно у вас водицы?

Анна Павловна. Можно. Что Мишечка?

Няня. Да беспокоен. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребеночек страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут.

Анна Павловна. Да, кажется, теперь успокоилась.

Няня. Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Саша.

Саша *(входит. К няне)*. Лиза в детской вас ищет.

Няня. Иду, иду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анна Павловна и Саша.

Анна Павловна. Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться.

Саша. Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна.

Анна Павловна. Не спокойна,— а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека, освободиться от такого золота.

Саша. Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а, напротив, удиви-

тельный, удивительный человек, несмотря на его слабости.

Анна Павловна. Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках — свои ли, чужие ли...

Саша. Мама, он никогда чужих не брал.

Анна Павловна. Все равно, женины.

Саша. Да ведь он же отдал все свое состояние жене.

Анна Павловна. Еще бы не отдать, когда он сам знает, что он все промотает.

Саша. Промотает ли, не промотает, я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, особенно с таким, как Федя.

Анна Павловна. По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?

Саша. Нет у него любовниц.

Анна Павловна. Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня, нет, шалишь; я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.

Саша. Как вы это говорите легко.

Анна Павловна. Нет, не легко. Мне, матери, видеть дочь разведенной не легко. Поверь, что очень не легко. Но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.

Саша. Может быть, и не кончено.

Анна Павловна. Только бы он дал развод.

Саша. Что же будет хорошего?

Анна Павловна. Будет то, что она молода и еще может быть счастлива.

Саша. Ах, мама, это ужасно, что вы говорите; не может Лиза полюбить другого.

Анна Павловна. Отчего не может? если она будет свободна. Найдутся люди в тысячу раз лучше вашего Феди и будут счастливы жениться на Лизе.

Саша. Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Викто́ра Каренина.

Анна Павловна. Отчего же не думать про него? Он любит ее десять лет, и она любит его.

Саша. Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.

Анна Павловна. Знаем мы эту дружбу. Только бы не было препятствий.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же. Входит горничная.

Анна Павловна. Что вы?

Горничная. Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.

Анна Павловна. Какая барыня?

Горничная. Лизавета Андреевна, барыня.

Анна Павловна. Ну так что ж?

Горничная. Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.

Анна Павловна *(удивленно)*. Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем? *(Саше.)* Ты не знаешь?

Саша. Может быть, знаю, а может быть, не знаю.

Анна Павловна. Все секреты.

Саша. Лиза придет, она вам скажет.

Анна Павловна *(качая головой, к горничной)*. А самовар подогреть надо. Возьми, Дуняша.

Горничная берет самовар и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анна Павловна и Саша.

Анна Павловна *(к Саше, которая встала и хочет идти)*. Вышло, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.

Саша. Послала, может быть, совсем не за тем.

Анна Павловна. Так за чем же?

Саша. Теперь, в эту минуту, Каренин для нее все равно, что Трифоновна.

Анна Павловна. А вот увидишь. Ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешения.

Саша. Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать это.

Анна Павловна. Да вот увидишь. И я очень, очень рада.

Саша. Увидим. *(Напевает и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Анна Павловна одна.

Анна Павловна *(покачивает головой и бормочет)*. И прекрасно. И пускай... И прекрасно, и пускай... Да...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анна Павловна и горничная.

Горничная *(входит)*. Виктор Михайлович приехали.

Анна Павловна. Ну что же. Проси, да скажи барыне.

Горничная проходит во внутреннюю дверь.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Анна Павловна и Виктор Каренин.

Каренин *(входит, здоровается с Анной Павловной)*. Лизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. А я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад... Лизавета Андреевна здорова?

Анна Павловна. Она здорова, ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. *(Грустно.)* Да, да, тяжелое время... Вы ведь всё знаете...

Каренин. Знаю. Ведь я тут был третьего дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?

Анна Павловна. Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.

Каренин. Да, вот где десять раз примерь, а раз отрежь. Резать по живому очень трудно.

Анна Павловна. Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.

Каренин. Отчего же?

Анна Павловна. Ну как же вы хотите после всех его гадостей, после того, как он клялся, что этого не будет и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?

Каренин. Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?

Анна Павловна. Развод. Он обещал развод, и мы настоим.

Каренин. Да, но Лизавета Андреевна так любила его...

Анна Павловна. Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?

Каренин. Для любви все можно.

Анна Павловна. Вы говорите — любить, но как же любить такого человека — тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было... *(Оглядывается на дверь и торопится рассказать).* Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает две тысячи, внести проценты. Он едет с этими деньгами и... пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет, и, наконец, получается записка — прислать ему белье и вещи...

Каренин. Да, да, я знаю.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же. Входят Саша и Лиза.

Анна Павловна. Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.

Каренин. Да, меня немного задержали. *(Здороваетсяся с сестрами.)*

Лиза. Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.

Каренин. Все, что могу.

Лиза. Вы ведь все знаете.

Каренин. Да, я знаю.

Анна Павловна. Так я вас оставлю. *(Саше.)* Пойдем. Оставь их одних. *(Уходит с Сашей.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Лиза и Каренин.

Лиза. Да, он написал мне письмо, что считает все конченным. Я *(удерживает слезы)*... так была оскорблена, так... ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.

Каренин. Но потом?

Лиза. Потом? Потом я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Ну, одним словом, отдайте ему это пись-

мо. Пожалуйста, Виктóр... отдайте ему это письмо и скажите... и привезите его.

Каренин. Хорошо. *(Удивленно.)* Да, но как же?

Лиза. Скажите, что я прошу его все забыть, все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо. Но я знаю его: первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет...

Каренин. Сделаю, что могу.

Лиза. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?

Каренин. Нет... Впрочем, надо говорить правду— да, удивляюсь...

Лиза. Но не сердитесь?..

Каренин. Разве я могу на вас сердиться?

Лиза. Я просила вас потому, что знаю, что вы любите его.

Каренин. И его и вас. Вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне: сделаю, что могу.

Лиза. Я знала. Я вам все скажу: я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?

Каренин. Разумеется, сейчас.

Лиза. Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.

Каренин *(встает)*. Но где искать его?

Лиза. Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас... адрес вот. Ну, так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.

Каренин. Сделаю все, что могу. *(Выжидает, потом кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Лиза одна.

Лиза. Не могу, не могу. Все лучше, чем... не могу.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Лиза, входит Саша.

Саша. Ну что? Послала?

Лиза делает утвердительный знак головой.

И он согласился?

Лиза. Разумеется.

Саша. Зачем его — не понимаю...

Лиза. Кого же?

Саша. Да ведь ты знаешь, что он влюблен в тебя?

Лиза. Это все было и прошло. Но кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?

Саша. Я уверена, потому что...

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же и Анна Павловна.

Анна Павловна входит, Саша замолкает.

Анна Павловна. А Виктор Михайлович где?

Лиза. Уехал.

Анна Павловна. Как уехал?

Лиза. Я просила его исполнить мою просьбу.

Анна Павловна. Какую просьбу? Опять секреты?

Лиза. Не секреты, а просто просила его самому передать письмо Феде.

Анна Павловна. Феде? Федор Васильевичу?

Лиза. Да, Феде.

Анна Павловна. Я думала, что между вами все отношения кончены.

Лиза. Я не могу расстаться с ним.

Анна Павловна. Как, опять все сначала?

Лиза. Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.

Анна Павловна. Так что же, ты хочешь вернуть его?

Лиза. Да.

Анна Павловна. Опять пустить к себе в дом эту гадину?

Лиза. Мама, я прошу вас не говорить так про моего мужа.

Анна Павловна. Он был муж.

Лиза. Нет, он теперь мой муж.

Анна Павловна. Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться?

Лиза. За что вы меня мучаете? Мне и так тяжело, а вы точно нарочно хотите...

Анна Павловна. Я мучаю, так я уеду. Не могу я видеть этого.

Лиза молчит.

Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего я в вас не понимаю. Все это по-новому. То развелась, решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.

Лиза. Ничего этого нет.

Анна Павловна. Каренин делал предложение... и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?

Лиза. Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.

Анна Павловна. Так мать выгони из дома, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и бог с вами, как хотите, так и делайте. *(Уходит, хлопая дверью.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Лиза и Саша.

Лиза *(падает на стул)*. Этого недоставало!

Саша. Ничего. Все будет хорошо. Мама́ мы успокоим.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же и Анна Павловна.

Анна Павловна *(молча проходит)*. Дуняша, мой чемодан!

Саша. Мама! Вы послушайте! *(Уходит за ней и подмигивает сестре.)*

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Комната у цыган. Хор поет «Канавелу». Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Афремов на стуле верхом против запевалы. Офицер у стола, на котором стоит шампанское и стаканы. Тут же музыкант записывает.

Афремов. Федя! Спишь?

Федя *(поднимается)*. Не разговаривайте. Это

степь, это десятый век, это не свобода, а воля... Теперь «Не вечерняя».

Цыган. Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.

Федя. Ну, ладно. А потом «Не вечерняя». *(Опять ложится.)*

Офицер. «Час роковой». Согласны?

Афремов. Пускай.

Офицер *(к музыканту)*. Что ж, записали?

Музыкант. Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скáла иная. Вот тут. *(Подзывает. К цыганке, которая смотрит.)* Это как? *(Напевает.)*

Цыганка. Да так и есть. Так чудесно.

Федя *(поднимаясь)*. Не запишет. А запишет да в оперу всунет — все изгадит. Ну, Маша, валяй хоть «Час»! Бери гитару. *(Встает, садится перед ней и смотрит ей в глаза.)*

Маша поет.

И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь «Не вечерняя».

Афремов. Нет, постой. Прежде мою, похоронную.

Офицер. Отчего похоронную?

Афремов. А это оттого, что когда я умру... понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане... понимаешь? Так жене завещаю. И запоют «Шэл мэ вéрста»,— так я из гроба вскочу,— понимаешь? *(Музыканту.)* Вот что запиши. Ну, катай.

Цыгане поют.

А, каково. Ну — «Размолодчики мои».

Поют. Афремов делает выходку. Цыгане улыбаются и, продолжая петь, хлопают. Афремов садится. Песня кончается.

Цыган. Ай да Михаил Андреевич, настоящий цыган.

Федя. Ну, теперь — «Не вечернюю».

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, входит цыган.

Цыган *(к Феде)*. Вас барин спрашивает.

Федя. Какой барин?

Цыган. Не знаю. Одет хорошо. Соболья шуба.

Федя. Барарай? Ну что же, зови.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, без цыгана.

Афремов. Кто ж это к тебе сюда?

Федя. А черт его знает. Кому до меня дело? *(Встает, шатаясь.)*

Маша уходит и что-то говорит по-цыгански с своими.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Маши. Входит Каренин. Оглядывается.

Федя. А, Викто́р. Вот кого не ждал. Раздевайся. Каким ветром тебя сюда занесло? Ну, садись. Слушай, Викто́р, «Не вечерняя».

Цыгане поют.

Вот это она. Вот это она. Удивительно, и где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?

Музыкант *(записывает)*. Да, очень оригинально.

Федя. Не оригинально, а это настоящее...

Афремов. Ну, чавалы, вы отдохните. *(Берет гитару и подсаживается к Кате.)*

Музыкант. В сущности, оно просто, но только ритм.

Каренин. Je voudrais vous parler sans témoins[1].

Федя. О чем?

Каренин. Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre, et puis...[2]

Федя *(берет письмо, читает, хмурится, потом ласково улыбается)*. Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?

Каренин. Знаю. И хочу сказать...

Федя. Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьян и мои слова невменяемы, то есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?

---

[1] Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей *(франц.)*.

[2] Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне это письмо и потом... *(франц.)*

Каренин. Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она... ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.

Федя *(слушает молча, глядя ему в лицо)*. Я все-таки не понимаю, почему ты?

Каренин. Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня...

Федя. Так...

Каренин. Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя: поедем домой.

Федя. Ты лучше меня. Какой вздор! Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого. А просто не могу и не хочу. Ну как я поеду?

Каренин. Поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...

Федя. А завтра что? Все буду я — я, она — она. Нет. *(Подходит к столу и пьет.)* Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слова, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал и кончено.

Каренин. Для тебя, но не для нее.

Федя. Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен.

Каренин хочет что-то сказать. Входит Маша.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Маша. Потом цыгане.

Федя *(перебивает его)*. Ты послушай, ты послушай. Маша, спой.

Цыгане сходятся.

Маша *(шепотом)*. Повеличать бы.

Федя *(смеется)*. Величать: Виктор сударь Михайлович...

Цыгане поют.

Каренин *(сконфуженно слушает, потом спрашивает)*. Сколько дать?

Федя. Ну, дай двадцать пять.

Каренин дает.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, без Каренина.

Федя. Чудесно! Теперь «Лен». *(Оглядывается.)* Удрал Каренин. Ну, черт с ним.

Цыгане разбредаются.

(Махает рукой, подходит к Маше, садится на диван рядом с ней.) Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.

Маша. Ну, а что я вас просила...

Федя. Что? Денег? *(Вынимает из кармана штанов.)* Ну что же, возьми.

Маша смеется, берет деньги и прячет в пазуху.

Федя *(цыганам)*. Вот и разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.

Маша. Как не понимать. Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь и пою лучше.

Федя. А меня любишь?

Маша. Видно, что люблю.

Федя. Удивительно. *(Целует ее.)*

Цыгане и цыганки уходят. Остаются парочки: Федя с Машей, Аремов с Катей, офицер с Гашей. Музыкант пишет, цыган перебирает вальс на гитаре.

Ведь я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе?

Маша. Разумеется, хорошо, когда хорошие гости. И нам весело.

Федя. Ты знаешь, кто это?

Маша. Слышала фамилию.

Федя. Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.

Маша. Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть.

Федя. Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.

Маша. Известно, коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.

Федя. А ты почем знаешь?

Маша. Должно, знаю.

Федя. Ну, поцелуй меня. Чавалы! Еще «Лен», и тогда шабаш.

Начинают петь.

Ах, хорошо! Кабы только не просыпаться. Так и помереть.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

После первого действия прошло две недели. У Лизы. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Саша выходит из двери.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Каренин. Ну, что?

Саша. Доктор сказал, что теперь опасности уж нет. И только не простудить.

Анна Павловна. Ну, слава богу. А то Лиза совсем извелась.

Саша. Он говорит, что это был или ложный круп, или в слабой форме... Это что? *(Указывая на корзинку.)*

Анна Павловна. Да это Викто́р привез виноград.

Каренин. Не хотите ли?

Саша. Да, она любит. Она очень нервна стала.

Каренин. Две ночи не спать, не есть.

Саша *(улыбаясь)*. Да вы тоже...

Каренин. Я другое дело.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же. Выходят доктор и Лиза.

Доктор *(внушительно)*. Так так-с. Через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держать так же...

Лиза. А если опять будет задыхаться?

Доктор. Не должно быть. Если будет — пульверизация. И, кроме того, порошок, утром один и вечером другой. Я сейчас пропишу.

Анна Павловна. Не хотите ли, доктор, чаю?

Доктор. Нет, благодарю, больные ждут. *(Садится к столу.)*

Саша приносит бумагу, чернила.

Лиза. Так, наверное, это не круп.

Доктор *(улыбаясь)*. Совершенно верно. *(Пишет.)*

Анна Павловна стоит над доктором.

Каренин. Ну, теперь выкушайте чая или, еще лучше, поспите, а то посмотрите, на что вы похожи.

Лиза. Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. *(Жмет ему руку.)*

Саша сердито отходит к доктору.

Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.

Каренин. Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.

Лиза. А кто ночи не спал, кто привез эту знаменитость? Всё вы...

Каренин. Уж я так награжден и тем, что Мика вне опасности, и, главное — вашей добротой. *(Опять жмет руку и смеется, показывая монету, оставшуюся у ней в руке.)*

Лиза *(улыбается)*. Это доктору. Только я никогда не умею как отдать.

Каренин. Ну и я тоже не могу.

Анна Павловна *(подходит)*. Что не могу?

Лиза. Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.

Анна Павловна. Давай я дам. Я умею как. Очень просто...

Доктор *(встает и дает рецепт)*. Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать и... *(Продолжает наставление.)*

Каренин у стола пьет чай. Отходят вперед Анна Павловна и Саша.

Саша. Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.

Анна Павловна. Что ж тут удивительного?

Саша. Противно...

Доктор уходит, прощается со всеми. Анна Павловна идет провожать его.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Лиза, Каренин и Саша.

Лиза *(Каренину)*. Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.

Каренин. Да вы выпейте чаю, съешьте что-нибудь.

Лиза. Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо, после этих страхов. *(Всхлипывает.)*

Каренин. А вот вы видите, как вы слабы.

Лиза. Я счастлива. Хотите взглянуть на него?

Каренин. Разумеется.

Лиза. Пойдемте со мной.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Саша и Анна Павловна.

Анна Павловна *(возвращается)*. Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?

Саша. Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж.

Анна Павловна. Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?

Саша. Я, за эту версту? Да я скорее не знаю за кого выйду, но не за него. Да и никогда мне в голову не приходило. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.

Анна Павловна. Какой же он чужой — друг детства.

Саша. Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.

Анна Павловна. Что же тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того — отчего же ей не полюбить и не выйти замуж за Викто́ра?

Саша. Это было бы ужасно. Отвратительно, отвратительно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Каренин и Лиза выходят. Каренин прощается молча. Саша сердито уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анна Павловна и Лиза.

Лиза *(к матери)*. Что с ней?

Анна Павловна. Право, не знаю.

Лиза вздыхает молча.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

У Афремова в кабинете. Вино в налитых стаканах. Гости.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Афремов, Федя, Стахович мохнатый, Буткевич бритый, Коротков, прихвостень.

Коротков. А я вам говорю, что за флагом останется: Ла-бель-буа — первая лошадь в Европе. Пари.

Стахович. Полно врать. Ведь ты знаешь, что никто тебе не верит. И пари держать не станет.

Коротков. Я тебе говорю. Твой Картуш за флагом.

Афремов. Да полноте ссориться. Я вас помирю. Спросите Федю. Он верно скажет.

Федя. Обе лошади хороши. Дело в ездоке.

Стахович. Гусев подлец. Надо только его в руках держать.

Коротков *(кричит)*. Нет!

Федя. Ну постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?

Коротков. Взял, да ничего не стоит. Это случай. Кабы Кронпринц не заболел — посмотрел бы.

Входит лакей.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и лакей.

Афремов. Что ты?

Лакей. Госпожа приехали, спрашивают Федор Васильевича.

Афремов. Какая? дама?

Лакей. Не могу знать. Только настоящая дама.

Афремов. Федя. К тебе дама!

Федя *(испуганно)*. Кто это?

Афремов. Не знает кто. *(Лакею.)* Проси в залу.

Федя. Да постой, я пойду посмотрю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, без Феди и лакея.

Коротков. Кто это к нему? Наверно, Машка.

Стахович. Какая Машка?

Коротков. Цыганка Маша. Втюрилась в него, как кошка влюблена.

Стахович. Какая милая. И поет.

Афремов. Прелесть! Танюша да она. Вчера они с Петром пели.

Стахович. Ведь экой счастливец этот...

Афремов. Что его бабы любят, бог с ним.

Коротков. Терпеть не могу цыганок. Никакого изящества нет.

Буткевич. Ну, не говори.

Коротков. Я их всех за одну француженку отдам.

Афремов. Ну, да ты известный эстет. Пойти посмотреть, кто это. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, без Афремова.

Стахович. Если Маша, так приведи ее сюда, пусть споет. Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.

Буткевич. А я думаю, что всё то же.

Стахович. Как то же, когда романсы пошлые вместо песни?

Буткевич. И романсы есть хорошие.

Коротков. А хочешь пари, что я заставлю спеть, и ты не узнаешь: песня это или романс?

Стахович. Коротков вечно пари.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Афремов.

Афремов *(входит)*. Господа, это не Маша. А принять ее негде, кроме здесь. Пройдемте в биллиардную.

«ЖИВОЙ ТРУП»

«ЖИВОЙ ТРУП»

Коротков. Давай пари. Что, заробел?

Стахович. Хорошо, хорошо.

Коротков. Вот и попадешь на бутылку.

Стахович. Ну, ладно. Вино захвати.

Уходят, разговаривая.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Входят Федя и Саша.

Федя. Пойдем сюда. Ах, ах. Как это ты. Да, да...

Саша *(смущенно)*. Федя, прости меня, если тебе неприятно, но, ради бога, выслушай меня. *(Голос ее дрожит.)*

Федя *(ходит по комнате. Саша села, смотрит на него)*. Слушаю.

Саша. Федя, вернись домой.

Федя. Я тебя очень понимаю, Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же: постарался бы как-нибудь вернуть все к старому, но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте,— ты бы наверное сделала то, что я, то есть ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни...

Саша. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?

Федя. Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной.

Саша. Никогда.

Федя. Это тебе кажется. *(Держит в руке письмо и гнет.)* Да не в том дело, то есть не то что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь, толстую бумагу перегибай так и этак. И сто раз перегнешь. Она все держится, а перегнешь сто первый раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. И ей также — поверь.

Саша. Нет, нет.

Федя. Говоришь нет, а сама знаешь, что да.

Саша. Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.

Федя. Да, для тебя.

Молчание. Оба смущены.

Саша *(встает)*. Неужели так и останется?

Федя. Должно быть.

Саша. Федя, вернись.

Федя. Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием... но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя. *(Целует ее в лоб.)*

Саша *(взволнованная)*. Нет, я не прощаюсь и не верю, и не хочу верить... Федя...

Федя. Ну так слушай же. Только слово, что то, что я тебе скажу, никому не скажешь. Даешь слово?

Саша. Разумеется.

Федя. Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Викто́р Каренин старый ее друг и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.

Саша. Нет.

Федя. Любит, как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа, но она любит и будет любить, когда препятствие это *(показывает на себя)* будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы. *(Голос дрожит.)*

Саша. Федя, не говори так.

Федя. Ведь ты знаешь, что это правда, и я буду рад их счастью, и лучше я ничего не могу сделать, и не вернусь, и дам им свободу, и так и скажи. И не говори, не говори, и прощай. *(Целует ее в голову и отворяет дверь.)*

Саша. Федя, я восхищаюсь перед тобой.

Федя. Прощай, прощай.

Саша уходит.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Федя один.

Федя. Да, да, чудесно, прекрасно. *(Звонит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Федя и лакей.

Федя. Позовите барина.

Лакей уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Федя один.

Федя. И правда, и правда.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Входит Афремов.

Афремов. Как же устроил?

Федя. Чудесно. «И божилась, и клялась...» Чудесно. Где все?

Афремов. Да там, играют.

Федя. Отлично. Пойдем... «побывать ко мне на час».

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Князь Абрезков — 60-летний элегантный холостяк. Бритый, с усами. Старый военный с большим достоинством и грустью. Анна Дмитриевна Каренина — мать Викто́ра, молодящаяся, 50 лет, grand-dame. Перебивает речь французскими словами. Лиза, Викто́р, лакей. Кабинет Анны Дмитриевны, роскошно-скромный, полный сувениров.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анна Дмитриевна пишет письмо.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Анна Дмитриевна и лакей.

Лакей. Князь Сергей Дмитриевич.

Анна Дмитриевна. Ну, разумеется. *(Оборачивается и поправляется перед зеркалом.)*

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков *(входит)*. J'espère que je ne force pas la consigne [1]. *(Целует руку.)*

Анна Дмитриевна. Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu [2]. А теперь, нынче, особенно. Вы получили мою записку?

Князь Абрезков. Получил, и вот мой ответ.

Анна Дмитриевна. Ах мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé, positivement ensorcelé [3]. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.

Князь Абрезков. Но что же именно, как стоит дело?

Анна Дмитриевна. Так, что во что бы то ни стало хочет жениться.

Князь Абрезков. Но как же муж?

Анна Дмитриевна. Дает развод.

Князь Абрезков. Вот как.

Анна Дмитриевна. И он, Виктор, идет на это, и вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Tout ça est dégoutant [4]. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он с своей чуткостью, робостью...

Князь Абрезков. Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...

Анна Дмитриевна. Да, но отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью-дружбой, которая идет через всю жизнь? Такую любовь я понимаю, ценю.

Князь Абрезков. Теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus [5]. Что делать. Но как же быть с ним?

Анна Дмитриевна. Нет, про него не говорите. Но это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня.

---

[1] Надеюсь, что я не нарушаю приказа *(франц.)*.
[2] вы всегда желанный гость *(франц.)*.
[3] Он околдован, положительно околдован *(франц.)*.
[4] Все это отвратительно *(франц.)*.
[5] Душевная близость их уже не удовлетворяет *(франц.)*.

Я поехала, не застала ее, оставила карточку. Elle m'a fait demander quand je pourrai la recevoir [1]. И нынче *(смотрит на часы)*, во втором часу, стало быть сейчас, должна приехать. Я обещала Викто́ру принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя. И по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.

Князь Абрезков. Благодарствуйте.

Анна Дмитриевна. Вы поймите, что это посещение ее решает все дело — судьбу Викто́ра. Мне надо или не согласиться... А как я могу...

Князь Абрезков. Вы совсем не знаете ее?

Анна Дмитриевна. Никогда не видала. Но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа. И хорошего человека. Ведь он товарищ Викто́ра и бывал у нас. Он был очень милый. Да какой бы он ни был. Quels que soient les torts qu'il a eus vis-à-vis d'elle [2], нельзя бросать мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Викто́р с своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной. Сколько раз — недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод несогласен с истинным христианством, и теперь сам идет на это. Si elle a pu le charmer à un tel point [3], я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, и все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите. Что по-вашему? Как надо? Вы говорили с Викто́ром?

Князь Абрезков. Я говорил с ним. И я думаю, что он любит ее, привык любить так, любовь эта взяла такую власть над ним — а он человек, медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого, кроме ее, любить не будет и без нее и с другой счастлив быть не может.

Анна Дмитриевна. А как Варя Казанцева пошла бы за него. И какая девушка и как любит.

Князь Абрезков *(улыбаясь)*. C'est compter sans son hôte [4]. Это теперь совсем несбыточно. И, я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.

Анна Дмитриевна. На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены? Я не понимаю, как вы

---

[1] Она меня просила, когда я смогу принять ее *(франц.)*.
[2] Как бы он ни был виноват перед нею *(франц.)*.
[3] Если она могла очаровать до такой степени *(франц.)*.
[4] Это — считать без хозяина *(франц.)*.

можете спокойно говорить про это. Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына, и такого сына?

Князь Абрезков. Да что же делать, милый друг. Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя... Да потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком. А Лиза Рахманова очень хорошая, милая женщина; я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.

Анна Дмитриевна. Нравственная женщина, которая решается бросить мужа.

Князь Абрезков. Я не узнаю вас. Вы недобры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, *пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все* ее состояние,— у нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.

Анна Дмитриевна. Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.

Князь Абрезков. А ваша религия?

Анна Дмитриевна. Да, да, прощение. «Как и мы оставляем должникам нашим». Mais c'est plus fort que moi [1].

Князь Абрезков. Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна бы была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда он в своем уме, советует ей это сделать.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Анна Дмитриевна, князь Абрезков, входит Каренин, целует руку матери, здоровается с князем Абрезковым.

Каренин. Мама! Я зашел сказать вам одно: Лизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном: если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...

---

[1] Но это выше моих сил *(франц.)*.

Анна Дмитриевна *(перебивая его)*. Разумеется, продолжаю быть несогласна.

Каренин *(продолжая речь и хмурясь)*. ...то прошу, умоляю вас об одном: не говорите о своем несогласии, не решайте в отрицательном смысле.

Анна Дмитриевна. Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я по крайней мере уж никак не начну.

Каренин. Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.

Анна Дмитриевна. Не понимаю одно: как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем, с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?

Каренин. Мама! Это жестоко с вашей стороны! Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?

Анна Дмитриевна. Я люблю тебя, хочу тебе счастья.

Каренин *(к князю Абрезкову)*. Сергей Дмитриевич!

Князь Абрезков. Разумеется, вы хотите ему счастья, но нам, с нашими сединами, уже трудно понимать молодежь. А особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.

Анна Дмитриевна. Вот, вот, именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это, vous êtes majeur [1], но ты погубишь меня.

Каренин. Не узнаю вас. Это хуже, чем жестокость.

Князь Абрезков *(к Викто́ру)*. Перестань, Викто́р. Мама говорит всегда хуже, чем делает.

Анна Дмитриевна. Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.

Князь Абрезков. Это наверно.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Анна Дмитриевна, князь Абрезков, Каренин и лакей входит.

Князь Абрезков. Вот и она.

[1] ты совершеннолетний *(франц.)*.

Каренин. Я уйду.

Лакей. Лизавета Андреевна Протасова.

Каренин. Я ухожу, мама. Пожалуйста...

Князь Абрезков тоже встает.

Анна Дмитриевна. Просите. *(К князю Абрезкову.)* Нет, вы останьтесь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков. Я думал, вам легче en tête-à-tête [1].

Анна Дмитриевна. Нет, я боюсь. *(Суетится.)* Если я захочу остаться с ней tête-à-tête, я кивну вам. Ça dépendra... [2] А то мне остаться с ней, это свяжет меня. Я тогда так сделаю вам.

Князь Абрезков. Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.

Анна Дмитриевна. Как вы все против меня.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же. Входит Лиза в шляпе, в визитном платье.

Анна Дмитриевна *(поднимаясь)*. Я жалела, что не застала вас, но вот вы так добры, что сами приехали.

Лиза. Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.

Анна Дмитриевна. Вы знакомы? *(Указывает на князя Абрезкова.)*

Князь Абрезков. Как же, я имел честь быть представленным. *(Shake hands* [3]. *Садятся.)* Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.

Лиза. Да, мы дружны были очень. *(Оглядываясь робко на Анну Дмитриевну.)* И теперь дружны. *(К Анне Дмитриевне.)* Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.

Анна Дмитриевна. Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Викто́ром и бывал у нас до

---

[1] с глазу на глаз *(франц.)*.

[2] Это будет зависеть... *(франц.)*

[3] Здороваются за руку *(англ.)*.

своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас?

Лиза. Да, мы там женились.

Анна Дмитриевна. А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.

Лиза. Да, он нигде почти не бывал.

Анна Дмитриевна. И не познакомил меня с вами.

Неловкое молчание.

Князь Абрезков. Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Вы помните? Очень было мило. И вы играли.

Лиза. Нет... да... как же... помню. Я играла.

Опять молчание.

Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал... потому что он, то есть потому, что вы хотели меня видеть... но лучше все сказать... *(Всхлипывает.)* Мне очень тяжело... а вы добры.

Князь Абрезков. Да, я лучше уйду.

Анна Дмитриевна. Да, уйдите.

Князь Абрезков. До свиданья. *(Прощается с обеими женщинами и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Анна Дмитриевна и Лиза.

Анна Дмитриевна. Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.

Лиза. Андреевна.

Анна Дмитриевна. Ну все равно — Лиза. Мне вас жаль, вы мне симпатичны. Но я люблю Викто́ра. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще семилетним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой, и он соблюдал ее. Он чист, как девушка.

Лиза. Я знаю.

Анна Дмитриевна. Он никого женщин не любил. Вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы, матери,— у вас еще маленький, вам

рано,— мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать. Но отдать такой же чистой, как он.

Лиза. Я... Разве я...

Анна Дмитриевна. Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастны. И я его знаю. Теперь он готов все перенести, и перенесет, и никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет счастлив.

Лиза. Я думала об этом.

Анна Дмитриевна. Лиза, милая. Вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться — хоть он не скажет, никогда не скажет.

Лиза. Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что ж я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня. Я говорила: будем друзьями, но устройте себе свою жизнь, не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.

Анна Дмитриевна. Да, теперь не хочет.

Лиза. Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его блага.

Анна Дмитриевна. Да, да, я полюбила вас. (*Целует ее. Лиза плачет.*) Но все-таки, все-таки это ужасно. Если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.

Лиза. Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастию друга.

Анна Дмитриевна. Ах, как это все тяжело. Но все же будем любить друг друга, и бог поможет нам найти то, что мы хотим.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и Каренин.

Каренин (*выходя*). Мама, милая. Я все слышал. Я ожидал этого: вы полюбили ее. И все будет хорошо.

Лиза. Как мне жалко, что вы все слышали,— я бы не говорила...

Анна Дмитриевна. Все-таки ничего не решено. Я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была. *(Целует ее.)*

Каренин. Пожалуйста, только не меняйтесь.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира скромная, постель, письменный стол, диван.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Федя один.

В дверь стучат. Из-за двери женский голос: «Что ты заперся, Федор Васильевич? Федя, отопри».

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Федя и Маша.

Федя *(встает, отпирает дверь)*.

Входит Маша.

Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.

Маша. Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты, а обещал.

Федя. Ты знаешь, что — денег нет.

Маша. И зачем я тебя полюбила?

Федя. Маша!

Маша. Что Маша, Маша. Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь. А держишься за нее. Не хочешь, видно.

Федя. Ведь ты знаешь, отчего не хочу.

Маша. Пустяки всё. Правду говорят, что пустой ты человек.

Федя. Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь, так ты это сама знаешь.

Маша. Ничего тебе не больно...

Федя. Сама знаешь, что мне одна радость в жизни твоя любовь.

Маша. Моя-то моя. А твоей-то нет.

Федя. Ну, я уверять не стану. Да и незачем — ты сама знаешь.

Маша. Федя, за что ты меня мучишь?

Федя. Кто кого.

Маша *(плачет)*. Недобрый ты.

Федя *(подходит и обнимает ее)*. Маша! О чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя!

Маша. Любишь?

Федя. Кого же мне любить?

Маша. Только меня? Ну, читай, что ты написал.

Федя. Да тебе скучно будет.

Маша. Коли уж ты написал, так хорошо будет.

Федя. Ну, слушай. *(Читает.)* «Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта была крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день. Туман...»

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Федя и Маша. В дверь входит старый цыган Иван Макарович и старая цыганка Настасья Ивановна — родители Маши.

Настасья Ивановна *(подступая к дочери)*. Тут проклятая овца беглая. Барину почтенье. *(К дочери.)* Что ж ты с нами делаешь? А?

Иван Макарович *(к Феде)*. Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо, погано делаешь.

Настасья Ивановна. Надевай платок, марш сейчас. Вишь, убежала. Что я хору скажу? Путаешься с голышом. Что с него взять?

Маша. Не путаюсь я. А люблю барина, и больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что...

Иван Макарович. Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе задаром пели, тебя жалели. А ты что сделал.

Настасья Ивановна. Погубил ни за что дочку, кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную в навоз втоптал, вот что сделал. Бога в тебе нет.

Федя. Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра. Я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать.

Иван Макарович. Да вот не любил, когда у вас деньги были. Заплатил бы тогда в хор тысяч десять, и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи увел. Стыдно, барин. Стыдно.

Маша. Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете, опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь... Не хочу.

Настасья Ивановна. Ну, Машенька, сердечная, не бурчи. Нехорошо сделала, ну и пойдем.

Иван Макарович. Ну, будет разговаривать. Марш! *(Берет за руку.)* Простите, барин.

Все трое уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Федя. Входит князь Абрезков.

Князь Абрезков. Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.

Федя. С кем имею честь?.. *(Узнает.)* Ах, князь Сергей Дмитриевич. *(Здоровается.)*

Князь Абрезков. Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать. Но, услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.

Федя. Да, да. Прошу покорно. Благодарю вас за то, что вы мне сказали это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали, этой девушке-цыганке, певице,— несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты — чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам от меня угодно? Чем могу вам служить?

Князь Абрезков. Я, во-первых...

Федя. Простите меня, князь. Я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела — в чем оно?

Князь Абрезков. Не буду отрицать, вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.

Федя. Совершенно уверен.

Князь Абрезков. Дело мое в том, что сын мо-

его старого друга, Анны Дмитриевны Карениной, и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях... Вы мне позволите говорить о ваших отношениях к вашей жене, Лизавете Андреевне Протасовой?

Федя. Мои отношения с моей женой — могу сказать: моей бывшей женой — совершенно прекращены.

Князь Абрезков. Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.

Федя. Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или, скорее, моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречною женщиной.

Князь Абрезков. Так вот Викто́р Каренин, в особенности его мать просили меня узнать у вас о ваших намерениях.

Федя *(горячась)*. Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствия. Я знаю, что она любит Викто́ра Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком, и я думаю, что она будет с ним (как это говорится обыкновенно) счастлива. И que le bon dieu les bénisse [1]. Вот и все.

Князь Абрезков. Да, но мы бы...

Федя *(перебивает)*. И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Викто́ра, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противуположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но, как честная женщина, даже себе не признавалась в этом, но это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни... впрочем, что я делаю вам признание.

Князь Абрезков. Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее моей миссии определенные к вам мои человеческие отношения, мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...

Федя. Да и была, и, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую

---

[1] Пусть господь бог их благословит *(франц.)*.

она мне давала, и чего-то искал и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу, да мне и нельзя оправдываться. Я *был*, смело говорю *был* дурной муж, *был*, потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.

Князь Абрезков. Да, но вы знаете семью Викто́ра и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Он помогал ей, когда ей было трудно.

Федя. Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать, так должно было быть.

Князь Абрезков. Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения. Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи. Но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него и в особенности для матери немыслимо сближение с женщиной без церковного брака.

Федя. Да, я знаю его туп... прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать, но условия принятия вины на себя, в сей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.

Князь Абрезков. Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, и я понимаю вас.

Федя *(жмет руку)*. Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.

Князь Абрезков. Я вас тоже не понимаю. Вы, способный, умный человек, с такой чуткостью к добру, как это вы можете увлекаться, можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого, как вы погубили свою жизнь?

Федя *(пересиливает слезы волнения)*. Вот уж десять лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы... Спасибо вам. Как я дошел до своей

гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то что вкусно. А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно... И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка — не оперы и Бетховен, а цыгане... Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.

Князь Абрезков. Ну, а труд?

Федя. Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Ну, да что о себе говорить. Спасибо вам.

Князь Абрезков. Так что же мне сказать?

Федя. Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться,— чтобы ничто не мешало им жениться?

Князь Абрезков. Разумеется.

Федя. Сделаю. Скажите, что наверное сделаю.

Князь Абрезков. Когда же?

Федя. Постойте. Ну, скажем, две недели. Довольно?

Князь Абрезков *(вставая)*. Так и могу сказать?

Федя. Можете. Прощайте, князь, еще раз благодарю вас.

Князь Абрезков уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Федя один.

Федя *(сидит долго, молча улыбается)*. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

В трактире. Отдельный кабинет. Половой вводит Федю и Ивана Петровича Александрова.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Федя, Иван Петрович и половой.

Половой. Сюда пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит, а бумагу сейчас подам.

Иван Петрович. Протасов! Я войду.

Федя *(серьезный)*. Пожалуй, войди, но я занят и... Хочешь — войди.

Иван Петрович. Ты хочешь ответить на их требования? Я тебе скажу как. Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.

Федя *(половому)*. Бутылку шампанского.

Половой уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Федя и Иван Петрович.

Федя *(вынимает револьвер и кладет)*. Подожди немножко.

Иван Петрович. Что ж? что ты застрелиться хочешь. Можно, можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить. А ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений...

Федя. Ну да, ну да. Только...

Входит половой с бумагой и чернильницей.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и половой.

Федя *(прикрывает пистолет салфеткой)*. Откупори. Давай выпьем. *(Пьют. Федя пишет.)* Погоди немного.

Иван Петрович. За твое... большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я — я убью себя, затем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял *(хватает револьвер)* — раз, и готово. Но еще рано. *(Кладет револьвер.)* И мне писать нечего, они сами должны понять... Ах, вы...

Федя *(пишет)*. Немножко подожди.

Иван Петрович. Жалкие люди. Копошатся, хлопочут. И не понимают — ничего не понимают. Я не тебе. Я так, высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало: ценить своих гениев, а они всегда казнили их, гнали, мучали. Нет. Я не буду ва-

шей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Н-е-е-е-т. Лицемеры!

Федя *(кончил писать, выпивает и читает)*. Уйди, пожалуйста.

Иван Петрович. Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я то же сделаю. Но еще рано. Я только хочу сказать тебе...

Федя. Хорошо. Ты скажешь, но после, а теперь вот что, дружок: пожалуйста, отдай вот это хозяину *(подает ему деньги)* и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.

Иван Петрович. Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем, по крайней мере до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?

Федя. Сколько нужно.

Иван Петрович уходит.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Федя один.

Федя *(вздыхает облегченно, запирает за Иваном Петровичем дверь, берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и осторожно опускает. Мычит)*. Нет, не могу, не могу, не могу.

Стучат в дверь.

Кто там?

Из-за двери голос Маши: «Я».

Кто, я? Ах, Маша... *(Отворяет дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Федя и Маша.

Маша. Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. *(Видит револьвер.)* Вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?

Федя. Нет, не мог.

Маша. А меня-то нет разве? Безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех, грех. За мою любовь...

Ф е д я. Хотел их отпустить, обещал. А лгать не могу.

М а ш а. А я-то?

Ф е д я. Что ты? И тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучаться.

М а ш а. Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.

Ф е д я. Какая со мной жизнь? Поплака́ла бы, да и прожила бы.

М а ш а. И совсем не плакала бы, черт с тобой. Коли ты меня не жалеешь. *(Плачет.)*

Ф е д я. Маша! Дружок! Ведь я хотел лучше сделать.

М а ш а. Себе лучше.

Ф е д я *(улыбаясь)*. Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?

М а ш а. Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.

Ф е д я. Как что нужно? Много нужно.

М а ш а. Ну что? Что?

Ф е д я. Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.

М а ш а. Положим, что гадко. Я сама...

Ф е д я. Потом нужно точно их освободить, и жену и его. Что же, они хорошие люди. Зачем им мучаться? Это два.

М а ш а. Ну уж хорошего в ней мало, коли она тебя бросила.

Ф е д я. Не она бросила — я бросил.

М а ш а. Ну хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?

Ф е д я. А еще то, что ты хорошая, милая девочка — люблю тебя, и коли останусь жить, то погублю тебя.

М а ш а. Это уж не твое дело. Я сама про себя знаю, где погибну...

Ф е д я *(вздыхает)*. А главное, главное... Что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропал, не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящий я...

М а ш а. Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь, пьешь да кутишь... А ты живой человек — брось. Вот и все.

Ф е д я. Легко сказать.

М а ш а. И сделай так.

Ф е д я. Да вот как смотрю на тебя, так, кажется, все сделаю.

М а ш а. И сделаешь. Все сделаешь. *(Видит письмо.)* Это что же? Ты им писал? Что же писал?

Ф е д я. Что писал? *(Берет письмо и хочет разорвать.)* Теперь уже не нужно.

М а ш а *(вырывает письмо)*. Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?

Ф е д я. Да, что меня не будет.

М а ш а. Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?»?

Ф е д я. Читал, кажется.

М а ш а. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?

Ф е д я. Нет.

М а ш а. Ну вот. Давай сюда свое платье. Все, и бумажник.

Ф е д я. Да как же?

М а ш а. Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься.

Ф е д я. Да ведь это обман.

М а ш а. И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу. В кармане бумажник и это письмо.

Ф е д я. Ну, а потом?

М а ш а. А потом, потом уедем и будем жить во славу.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Т е ж е. Входит И в а н П е т р о в и ч.

И в а н П е т р о в и ч. Вот-те на. А револьвер? Я себе возьму.

М а ш а. Бери, бери. А мы едем.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Гостиная у Протасовой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Каренин и Лиза.

Каренин. Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.

Лиза. Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думай, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну как вам сказать...

Каренин. Опять: *вам*.

Лиза *(улыбаясь)*. Тебе. Да не мешайте, не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучало меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.

Каренин. Ты безнравственная женщина?

Лиза. Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стало быть, не нужна ему, я освободилась и почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас — тебя. Теперь в душе у меня ясно, и меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.

Каренин. Сейчас, сейчас решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.

Лиза. Он? Нет, это все та же его и слабость и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги.

Каренин. Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.

Лиза. Нет, деньги что-то нехорошее.

Каренин. Ну, ему бы уж можно было быть менее pointilleux [1].

Лиза. Какие мы делаемся эгоисты.

Каренин. Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности я теперь так счастлив. А счастье делает эгоистом. Ты виновата.

Лиза. Ты думаешь, что ты один. Я тоже. Я чув-

[1] щепетильным *(франц.)*.

ствую, что вся полна, купаюсь в своем счастии. Всё: и Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и, главное, я, я люблю.

Каренин. Да? Без раскаяния? Без возврата?

Лиза. С того дня все вдруг переменилось во мне.

Каренин. И не может вернуться?

Лиза. Никогда. Я только одного желаю, чтобы в тебе это было так же совсем кончено, как во мне.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и няня с ребенком. Входит няня с мальчиком. Мальчик идет к матери. Она берет его на колени.

Каренин. Какие мы несчастные люди.

Лиза. А что? *(Целует ребенка.)*

Каренин. Когда ты вышла замуж и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив, и мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения и я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы, к жене моего друга,— да и тебя я знал,— так что это не мучало меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучать тебя и я чувствовал, что я поддержка тебе и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом... когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его, и я в первый раз сказал все, и ты не сказала — нет, но в слезах ушла от меня, я был уже вполне счастлив, и если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал: ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь; maman полюбила тебя, возможность эта стала осуществляться, ты сказала мне, что любила и любишь меня, потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного,— чего бы, казалось, мне желать? Но нет, теперь, теперь я мучаюсь прошедшим, хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего, не было того, что напоминает о нем.

Лиза *(с упреком)*. Викто́р!

Каренин. Лиза, ты прости меня! То, что я гово-

рю, я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно затем, чтобы показать, как я дурен и как я знаю, что идти дальше некуда, что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.

Лиза. Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, а в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать: из него все исчезло, кроме тебя.

Каренин. Все?

Лиза. Все, все. Я бы не стала говорить.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и лакей.

Лакей. Господин Вознесенский.

Каренин. Это он от Феди с ответом.

Лиза *(Каренину)*. Зовите сюда.

Каренин *(встает и идет к двери)*. Ну вот и ответ.

Лиза *(отдает ребенка няне)*. Неужели все решится, Викто́р! *(Целует его.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Каренин, Лиза и Вознесенский входит.

Каренин. Ну что?

Вознесенский. Их нет.

Каренин. Как нет? И не подписал прошение?

Вознесенский. Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Лизавете Андреевне. *(Подает из кармана письмо.)* Я приехал на квартиру. Мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказали, чтобы я пришел через час, и найду ответ. Я пришел, и вот...

Каренин. Неужели опять откладыванье, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал.

Лиза. Да прочти что?

Каренин открывает письмо.

Вознесенский. Я не нужен вам?

Каренин. Да нет, прощайте, благодарю... *(Останавливается, удивленно читая.)*

Вознесенский уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Каренин и Лиза.

Лиза. Что? что?

Каренин. Это ужасно.

Лиза *(хватает письмо)*. Читай.

Каренин *(читает)*. «Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека — упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что, несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. C'est moi qui suis l'intrus [1]. Но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизаньку, но в действительности больше чем холоден. Знаю, что я неправ, и не могу измениться».

Лиза. Как это он...

Каренин *(продолжая читать)*. «Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консистории, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я ни гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие, просто *не могу*. Другой выход, к которому я прихожу,— самый простой: вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому, следовательно я должен уничтожиться...»

Лиза *(хватает за руку Каренина)*. Викто́р!

Каренин *(читает)*. «Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет.

P. S. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и непохоже на вас. Ну, что же делать. Я столько раз ошибался. Можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу: не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще, тут есть часовщик Евгеньев, не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте. Федя».

---

[1] Это я посторонний *(франц.)*.

Лиза. Он убил себя. Да?

Каренин. *(звонит, бежит в переднюю).* Верните господина Вознесенского.

Лиза. Я знала, я знала. Федя, милый Федя.

Каренин. Лиза!

Лиза. Неправда, неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.

Входит Вознесенский.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Вознесенский.

Каренин. Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?

Вознесенский. Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.

Каренин. Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.

Лиза. Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнай всё...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. На первом плане столик, у которого сидит опустившийся, оборванный Федя и с ним Петушков, внимательный, нежный человек с длинными волосами, духовного вида. Оба слегка выпивши.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Федя и Петушков.

Петушков. Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

Федя. Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека... а тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и эта чистая, самоотверженная любовь — отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.

Петушков. Да, это у нас в живописи валёр называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом. Ну, да не в том дело. Я понимаю, понимаю...

Ф е д я. Да, и это, кажется, один добрый поступок у меня за душой — то, что я не воспользовался ее любовью. А знаете отчего?

П е т у ш к о в. Жалость...

Ф е д я. Ох, нет. У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг, и когда она пела — ах, как пела, да и теперь, пожалуй, поет,— и всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание. *(Пьет.)*

П е т у ш к о в. Вот понимаю, понимаю. Идеально.

Ф е д я. Я вам что скажу: были у меня увлечения. И один раз я был влюблен, такая была дама — красивая, и я был влюблен, скверно, по-собачьи, и она мне дала rendez-vous[1]. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а... раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей — напротив. Всегда радуюсь, радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство... Могу падать еще, весь упасть, все с себя продам, весь во вшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не брильянт, а луч солнца, да,— во мне, со мной.

П е т у ш к о в. Понимаю, понимаю. Где же она теперь?

Ф е д я. Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.

За столом сзади слышен крик женщины. Х о з я и н приходит и г о р о д о в о й — уводят. Федя и Петушков глядят, слушают и молчат.

П е т у ш к о в *(после того, как там затихло.)* Да, ваша жизнь удивительная.

Ф е д я. Нет, самая простая. Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, три выбора — только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть, не умел, но, главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться — пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся. *(Пьет.)*

П е т у ш к о в. Ну, а семейная жизнь? Я бы был

[1] свидание *(франц.)*.

счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.

Федя. Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки,— знаешь, в квасе изюминка? — не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.

Петушков. Отчего вы говорите: как будто?

Федя. А оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтоб она в душу мне влезла, как Маша. Ну, да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяный. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да, да *(приходит в восторг)*, вот сейчас пришло в голову: оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучал за то... не то что не люблю... Да нет, просто не люблю. Ревновал — да, но и то прошло.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Артемьев.

Подходит Артемьев с кокардой, крашеными усами, в подправленной древней одежде.

Артемьев. Приятного аппетита. *(Кланяется Феде.)* Познакомились с артистом-художником?

Федя *(холодно)*. Да, мы знакомы.

Артемьев *(Петушкову.)* Что ж, портрет кончил?

Петушков. Нет, расстроилось.

Артемьев *(садится)*. Я не мешаю вам?

Федя и Петушков молчат.

Петушков. Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.

Артемьев. Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь. Свиньи. *(Отходит к соседнему столу и требует себе пива. Все время слушает разговор Феди с Петушковым, перегибаясь к ним.)*

Федя. Не люблю этого господина.

Петушков. Обиделся.

Федя. Ну, бог с ним. Не могу. Как такой чело-

век — у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?

Петушков. Говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?

Федя. Ах. *(Задумывается.)* Это удивительная история. Жена моя замужем.

Петушков. Как же? Развод?

Федя. Нет. *(Улыбается.)* Она от меня осталась вдовой.

Петушков. То есть как же?

Федя. А так же: вдовой. Меня ведь нет.

Петушков. Как нет?

Федя. Нет. Я труп. Да.

Артемьев перегибается, прислушивается.

Видите ли... Вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучал жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее,— нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это и был и есть хороший, очень хороший человек: честный, твердый, воздержный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее и потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучать ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга, а я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее и невозможнее, и кончилось тем, что...

Петушков. Как всегда...

Федя. Нет. Я уверен и знаю, что они оставались чисты. Он, религиозный человек, считал грехом брак без благословенья. Ну, стали требовать развод, чтоб я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь... И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал, а на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.

Петушков. Ну, а как же тело-то, не нашли же?

Федя. Нашли. Представьте. Через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула.— Он? — Он.— Так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь и благоденствуют. А я — вот он. И живу и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах, тень чья-то прошла по шторе. И иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет... *(Пьет.)*

Артемьев *(подходит)*. Ну, уж простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите — скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо.

Федя. Позвольте. Я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.

Артемьев. А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то — ваша супруга с господином, которые благоденствуют,— они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?

Федя. Прошу вас оставить меня.

Артемьев. Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.

Федя. Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.

Артемьев. Нет, говорили. Вот он свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп.

Половой. Мы ничего не знаем.

Федя. Негодяй.

Артемьев. Я негодяй? Эй, городовой. Акт составить.

Федя встает и уходит. Артемьев держит его. Приходит городовой.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Действие в деревне, на террасе, обросшей плющом.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Анна Дмитриевна Каренина, Лиза беременная, нянька с ребенком.

Лиза. Теперь уж едет со станции.

Мальчик. Кто едет?

Лиза. Папа.

Мальчик. Папа едет со станции?

Лиза. C'est étonnant comme il l'aime, tout-à-fait comme son père[1].

Анна Дмитриевна. Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?[2]

Лиза *(вздыхает)*. Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, maman?

Анна Дмитриевна. Я думаю, Лиза, что это дело чувства, и если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя,— ведь я его знала ребенком,— был мне неприятен, но теперь я только помню его милым юношей, другом Викто́ра и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. On aura beau dire, l'action est belle...[3] Надеюсь, Викто́р не забудет привезти шерсти, сейчас вся выйдет. *(Вяжет.)*

Лиза. Вот он и едет.

Слышны колеса и бубенчик. Лиза встает и подходит к краю террасы.

Кто-то с ним, дама. Маша! Я ее сто лет не видала. *(Идет к двери.)*.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же. Входят Каренин и Марья Васильевна.

Марья Васильевна[4] *(целуется с Лизой и Анной Дмитриевной)*. Викто́р меня встретил и увез.

Анна Дмитриевна. Прекрасно сделал.

Марья Васильевна. Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, и опять отложу, вот и приехала, если не прогоните,— до вечернего поезда.

Каренин *(целует жену и мать и мальчика)*. А я как счастлив, поздравьте меня. Два дня дома. Завтра всё без меня сделают.

Лиза. Прекрасно. Два дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь. Да?

---

[1] Это удивительно, как он его любит, совершенно как своего отца *(франц.)*.

[2] Тем лучше. Помнит ли он своего настоящего отца? *(франц.)*

[3] Что ни говори, поступок прекрасен... *(франц.)*

[4] В рукописи: *Маша*.

Марья Васильевна. Как похож! Какой молодец! Только бы не все наследовал; сердце отцовское.

Анна Дмитриевна. Но не слабость.

Лиза. Всё, всё. Викто́р согласен со мной, что если бы только смолоду оно было направлено.

Марья Васильевна. Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.

Лиза. И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.

Марья Васильевна. Да, я думаю.

Лиза. Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.

Анна Дмитриевна. Ну Викто́р, привез шерсть?

Каренин. Привез, привез. *(Берет мешок и выбирает.)* Вот шерсть, вот одеколон, и вот письма, и вот конверт казенный на твое имя *(подает жене)*. Ну-с, Марья Васильевна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза! Ведь в нижнюю угловую Марью Васильевну?

Лиза, бледная, трясущимися руками держит бумагу и читает.

Что с тобой? Лиза! Что там?

Лиза. Он жив. Боже мой! Когда он освободит меня! Викто́р! Что это? *(Рыдает.)*

Каренин *(берет бумагу и читает)*. Это ужасно.

Анна Дмитриевна. Что, да скажи же.

Каренин. Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.

Анна Дмитриевна. Какой ужасный человек... Зачем он это сделал?

Каренин. Все ложь, ложь.

Лиза. О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю. *(Уходит в слезах. Каренин за нею.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Анна Дмитриевна и Марья Васильевна.

Марья Васильевна. Как же он остался жив?

Анна Дмитриевна. Знаю только, что как только Викто́р прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затяну́ли. Все обман, все ложь.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Камера судебного следователя.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Судебный следователь. Мельников и письмоводитель.

Судебный следователь *(сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель. Перебирает бумаги)*. Да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.

Мельников. Она не упрекает, а огорчается.

Судебный следователь. Ну, хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. *(Письмоводителю.)* Просите.

Письмоводитель. Обоих?

Судебный следователь *(кончая курить и пряча папиросу)*. Нет, одну госпожу Каренину, или, правильнее, по первому мужу — Протасову.

Мельников *(уходя)*. А, это Каренина.

Судебный следователь. Да. Грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо. Ну, прощай.

Мельников уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Судебный следователь, письмоводитель и Лиза под вуалью, в черном, входит.

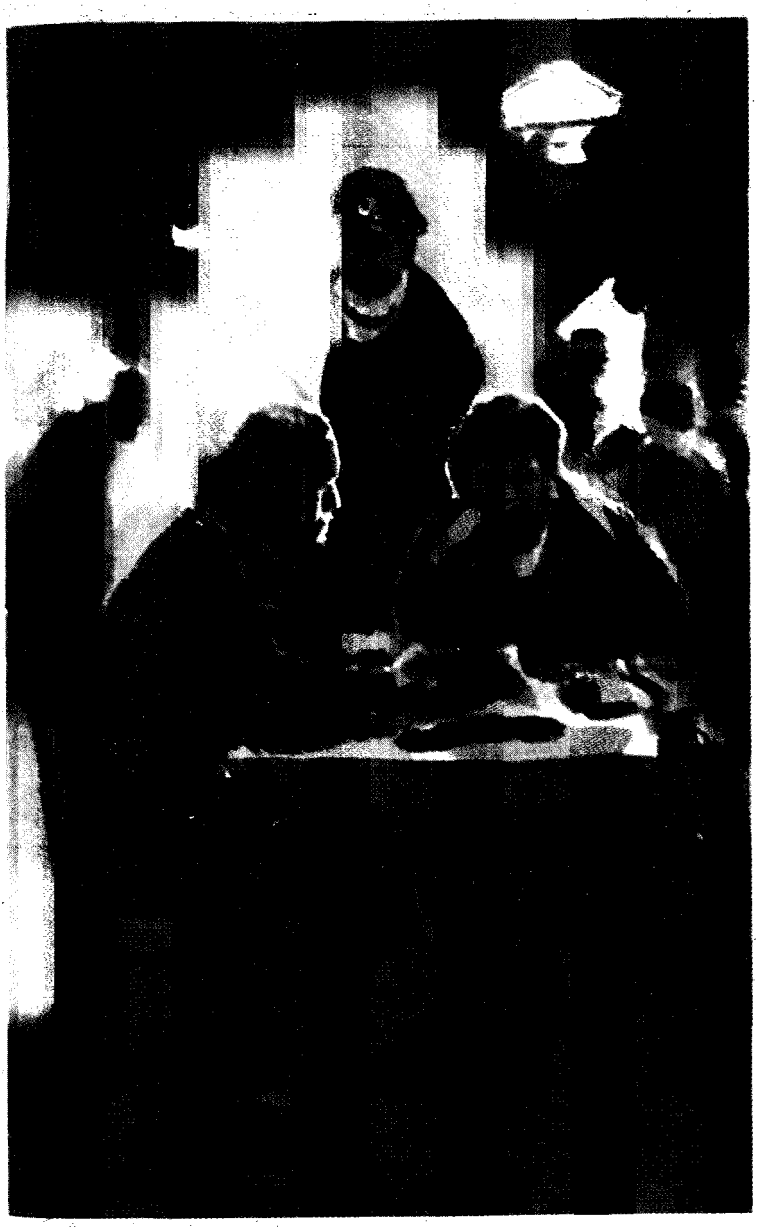
Судебный следователь. Прошу покорно. *(Указывая на стул.)* Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость... Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше — правда. Всегда лучше и даже практичнее.

Лиза. Мне нечего скрывать.

Судебный следователь. Так вот. *(Смотрит в бумаги.)* Ваше имя, звание, исповедание — это все я записал — так?

Лиза. Да.

Судебный следователь. Вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.



«ЖИВОЙ ТРУП»

«ЖИВОЙ ТРУП»

Лиза. Я не знала.

Судебный следователь. И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман — подобие самоубийства, с тем чтобы освободиться от него.

Лиза. Все это неправда.

Судебный следователь. Так вот позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги тысячу двести рублей?

Лиза. Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.

Судебный следователь. Так-с. Очень хорошо. Деньги эти посланы семнадцатого июля, то есть за два дня до его исчезновения.

Лиза. Кажется, что семнадцатого июля. Я не помню.

Судебный следователь. А почему прекращены были ходатайства в консистории в то же время и было отказано адвокату?

Лиза. Не знаю.

Судебный следователь. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?

Лиза. Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что, когда меня спросили, я ответила, кажется, что он.

Судебный следователь. Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо-с. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?

Лиза. Деньги эти посылал мой муж. И я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.

Судебный следователь. Очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивая государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверности, ну, одним словом, делал несчастье вам.

Л и з а. Я любила его.

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Да, но все-таки вам естественно желание освободиться, и вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением двоебрачия,— это понятно и мне. И присяжные поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.

Л и з а. *Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. (Плачет.)* Я не нужна больше?

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду, не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. *(Указывает кресло у окна. К письмоводителю.)* Попросите господина Каренина.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Т е ж е. Входит К а р е н и н, строго, торжественно.

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Прошу покорно.

К а р е н и н. Благодарю. *(Стоит.)* Что вам угодно?

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Я обязан снять допрос.

К а р е н и н. В качестве чего?

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь *(улыбаясь)*. Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.

К а р е н и н. Вот как? В чем же?

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. [В женитьбе на замужней женщине [1]]. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.

К а р е н и н. Благодарю.

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Ваше имя?

К а р е н и н. Виктор Каренин.

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Звание?

К а р е н и н. Камергер, действительный статский советник.

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Возраст?

К а р е н и н. Тридцать восемь лет.

С у д е б н ы й с л е д о в а т е л ь. Веры?

К а р е н и н. Православной, под судом и следствием не бывал. Ну-с?

---

[1] Текст редакторский, в рукописи: В двоеженстве.

Судебный следователь. Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?

Каренин. Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.

Судебный следователь. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?

Каренин. Я не желаю отвечать на этот вопрос.

Судебный следователь. Очень хорошо. С какою целью были посланы вами деньги тысячу двести рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти семнадцатого июля?

Каренин. Деньги эти были переданы мне моею женою.

Судебный следователь. Госпожою Протасовой?

Каренин. Моею женою для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.

Судебный следователь. Теперь еще один вопрос: почему вы прекратили ходатайство о разводе?

Каренин. Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.

Судебный следователь. Есть у вас это письмо?

Каренин. Письмо затеряно.

Судебный следователь. Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.

Каренин. Нужно вам еще что-нибудь?

Судебный следователь. Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга, а вам нужно оправдаться, и я сейчас советовал госпоже Протасовой и то же посоветовал бы вам: не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.

Каренин. Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей. А советы свои оставить. Можем мы уйти? *(Подходит к Лизе. Она встает и берет его за руку.)*

Судебный следователь. Очень сожалею, что должен задержать вас...

Каренин удивленно оборачивается.

О нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас. Хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же. Входит грязный, опустившийся Федя.

Федя *(обращается к Лизе и Каренину)*. Лиза, Лизавета Андреевна, Виктóр. Я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват... Простите, простите... *(Кланяется им в ноги.)*

Судебный следователь. Прошу вас отвечать на вопросы.

Федя. Спрашивайте.

Судебный следователь. Ваше имя?

Федя. Ведь вы знаете.

Судебный следователь. Прошу вас отвечать.

Федя. Ну, Федор Протасов.

Судебный следователь. Ваше звание, года, вера?

Федя *(молчит)*. Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.

Судебный следователь. Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.

Федя. Ну, коли не совестно, извольте. Звание — кандидат, года — сорок, веры — православной. Ну-с, дальше?

Судебный следователь. Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?

Федя. Наверно, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.

Судебный следователь. Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?

Федя. Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что — не помню. Все это вздор. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. И это бы так и осталось, если б не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.

Судебный следователь. Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги?

Федя молчит.

Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги?

Федя молчит.

Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам и им. Так как же?

Федя *(молчит и потом)*. Ах, господин следователь, как вам не стыдно. Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и, чтоб показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячи раз лучше вас.

Судебный следователь. Прошу вас...

Федя. Нечего просить. Я скажу все, что думаю. *(Письмоводителю.)* А вы пишите. По крайней мере в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. *(Возвышает голос.)* Живут три человека: я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы — любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я, негодный, ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая двадцатого числа по двугривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над

людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады...

Судебный следователь. Я вас выведу.

Федя. Я не боюсь никого, потому что я труп и со мной ничего не сделаете; нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.

Каренин. Мы можем уйти?

Судебный следователь. Сейчас. Подписать протокол.

Федя. И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.

Судебный следователь. Уведите его. Я арестую вас.

Федя *(к Каренину и Лизе)*. Так простите.

Каренин *(подходит и подает руку)*. Так, видно, должно было быть.

Лиза проходит. Федя низко кланяется.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Коридор в здании окружного суда. На заднем плане стеклянная дверь, у которой стоит курьер. Правее другая дверь, в которую вводят подсудимых. К первой двери подходит Иван Петрович, оборванный, хочет пройти.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Курьер и Иван Петрович.

Курьер. Куда? Нельзя. Вишь, лезет.

Иван Петрович. Отчего нельзя? Закон гласит: заседания публичны.

Раздаются аплодисменты.

Курьер. А вот нельзя, да и все. Не велено.

Иван Петрович. Невежа. Не знаешь, с кем говоришь.

Входит молодой адвокат во фраке.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и молодой адвокат.

Молодой адвокат. Что вы, по делу?

Иван Петрович. Нет, я публика. А вот невежда, цербер. Не пускает.

Молодой адвокат. Да ведь здесь не для публики?

Иван Петрович. Знаю. Там не пускают. Меня-то можно пустить.

Молодой адвокат. Погодите, перерыв будет сейчас. *(Хочет уходить, встречает князя Абрезкова.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и князь Абрезков.

Князь Абрезков. Позвольте узнать, в каком положении дело?

Молодой адвокат. Речи адвокатов. Петрушин говорит.

Опять аплодисменты.

Князь Абрезков. Что же, как подсудимые несут свое положение?

Молодой адвокат. С большим достоинством, особенно Каренин и Лизавета Андреевна. Не их судят, а *они* судят общество. Это чувствуется. На эту тему и говорит Петрушин.

Князь Абрезков. Ну, а Протасов?

Молодой адвокат. *Ужасно* взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен: перебивал несколько раз и прокурора и адвоката. В каком-то особенном возбуждении.

Князь Абрезков. Какой же результат полагаете?

Молодой адвокат. Трудно сказать. Состав присяжных смешанный. Во всяком случае, предумышленности не признáют, но все-таки...

Выходит господин, князь Абрезков двигается к двери.

Вы хотите пройти?

Князь Абрезков. Да, хотел бы.

Молодой адвокат. Вы князь Абрезков?

Князь Абрезков. Я.

Молодой адвокат *(к курьеру)*. Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный. *(Пропускает князя Абрезкова.)*

Дверь отворяется, и виден говорящий адвокат.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Курьер, молодой адвокат и Иван Петрович.

Иван Петрович. Аристократы! Я аристократ духа. А это выше.

Молодой адвокат. Ну уж извините. *(Проходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Курьер, Иван Петрович и Петушков поспешно идет.

Петушков. А, здравствуй, Иван Петрович! Что дело?

Иван Петрович. Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.

Курьер. А вы не шумите тут. Тут не кабак.

Опять аплодисменты, отворяются двери, выходят адвокаты, зрители: мужчины и дамы.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, дама и офицер.

Дама. Прекрасно. Прямо до слез довел.

Офицер. Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, отворяется другая дверь, выходят подсудимые: сначала Лиза и Каренин — и проходят по коридору, за ними Федя один.

Дама. Тише. Вот он. Посмотрите, как он взволнован. *(Дама и офицер проходят.)*

Федя *(подходит к Ивану Петровичу)*. Принес?

Иван Петрович. Вот он. *(Подает что-то.)*

Федя *(прячет в карман и хочет идти; видит Петушкова)*. Глупо, пошло. Скучно. Скучно. Бессмысленно. *(Хочет уходить.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и Петрушин, адвокат, толстый, румяный, оживленный, подходит.

Петрушин. Ну, батюшка, дела наши хороши, только вы в последней речи не напортите мне.

Федя. Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.

Петрушин. Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили, что, если вас судят, так только за то, что вы *не* совершили самоубийства, то есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому и церковному.

Федя. Я ничего не скажу.

Петрушин. Отчего?

Федя. Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите: в худшем случае что может быть?

Петрушин. Я уже говорил вам: в худшем случае ссылка в Сибирь.

Федя. То есть кого ссылка?

Петрушин. И вас и вашей жены.

Федя. А в лучшем?

Петрушин. Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.

Федя. То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной?

Петрушин. Да, уж это как должно быть. Да вы не волнуйтесь. И, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только. Главное, ничего лишнего. Ну, впрочем... *(Замечая, что их окружили и слушают.)* Я устал, пойду посижу, и вы отдохните, пока присяжные совещаются. Главное, не робеть.

Федя. И другого не может быть решения?

Петрушин *(уходя)*. Никакого другого.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, кроме Петрушина, и судейский.

Судейский. Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.

Федя. Сейчас. *(Вынимает пистолет и стреляет себе в сердце. Падает. Все бросаются к нему.)* Ничего, кажется, хорошо. Лизу...

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Выбегают из всех дверей зрители, судьи, подсудимые, свидетели. Впереди всех Лиза. Сзади Маша и Каренин и Иван Петрович, князь Абрезков.

Лиза. Что ты сделал, Федя? Зачем?

Федя. Прости меня, что не мог... иначе распутать тебя... Не для тебя... мне этак лучше. Ведь я уж давно... готов...

Лиза. Ты будешь жив.

Доктор нагибается. Слушает.

Федя. Я без доктора знаю... Викто́р, прощай. А Маша опоздала... *(Плачет.)* Как хорошо... Как хорошо... *(Кончается.)*

Занавес

ОТ НЕЙ ВСЕ КАЧЕСТВА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Старуха Акулина, 70 лет, еще бодрая, степенная, старого завета.

Михайла, ее сын, 35 лет, страстный, самолюбивый, тщеславный, сильный.

Марфа, ее сноха, 32 лет, ворчливая, говорит много и быстро.

Параша, 10 лет, дочь Марфы и Михайлы.

Десятский Тарас, 50 лет, степенный, говорит медленно, важничает.

Прохожий, 40 лет, вертлявый, худой, говорит значительно. В пьяном виде особенно развязен.

Игнат, 40 лет, балагур, веселый, глупый.

Сосед, 40 лет, суетливый.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Осень. Изба с чуланом.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Старуха Акулина прядет; хозяйка Марфа месит хлебы; девочка Параша качает люльку.

Марфа. Ох, недоброе чует мое сердце. Чего стоять-то? Не хуже как намедни с дровами ездил. Без малого половину пропил. А все я виновата.

Акулина. Что плохое загадывать. Рано еще. Тоже не ближний свет. Пока что...

Марфа. Где рано. Акимыч вернулся же. А еще позже нашего поехал, а нашего все нет. Мыкаешься, мыкаешься, а только и радости.

Акулина. Акимыч на место ставил, а наш на базаре.

Марфа. Не думалось бы, кабы один. А то с Игнатом поехал. А как с толстомордым кобелем этим, прости господи, сойдется, добра не бывать. Не миновать напьются. День-деньской бьешься, бьешься. Все на тебе. Добро бы приждать чего было. А то только и радости, что трепись с утра до ночи.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Отворяется дверь, входит десятский Тарас и оборванный прохожий.

Тарас. Здорово живете. Вот вам постояльца привел.

Прохожий *(кланяется)*. Хозяевам мое почтение.

Марфа. Что больно часто к нам ставишь. У нас в середу ночевал. Все к нам да к нам. К Степаниде бы ставил. У них и ребят нет. А я с своими не разберусь. А ты все к нам да к нам.

Тарас. По череду ставим.

Марфа. Ты говоришь — по череду. У меня ребята. Да и хозяина нет.

Тарас. Переночует. Места не пролежит.

Акулина *(к прохожему)*. Проходи, садись, гостем будешь.

Прохожий. Приношу благодарность. Покушать бы, если бы можно.

Марфа. Ничего не видамши сейчас и покушать. Что ж, разве по деревне не прошел?

Прохожий *(вздыхает)*. По званию своему не привычен я. А так как продухтов своих не имеем...

Акулина встает, достает хлеб, отрезает и подает прохожему.

(Берет хлеб.) Мерси. *(Сидит на коннике и жадно ест.)*

Тарас. Михайла-то где же?

Марфа. Да в городу. Сено повез. Пора бы вернуться, а все нет. Вот и думается, как бы чего не случилось.

Тарас. Чего же случится?

Марфа. Как чего? Хорошего не увидишь, а худого только и жди. А то как из дома уехал, ему и горюшка мало. Вот и теперь того и жду, что пьяный вернется.

Акулина *(садится за прялку; к Тарасу и указывая на Марфу)*. Нет того, чтоб помолчать. Я и то говорю. У нашей сестры обо всем докука.

Марфа. Кабы он один, не думалось бы. А то с Игнатом поехали.

Тарас *(усмехается)*. Ну, Игнат Иваныч точно что насчет выпивки дюже охотлив.

Акулина. Что ж, не видал он Игната? Игнат сам по себе, а он сам по себе.

Марфа. Тебе, матушка, хорошо говорить. А ведь его гульба-то вот где *(показывает на шею)*. Пока тверез, грешить не стану, а пьяный — сама знаешь каков. Слова не скажи. Все не так.

Тарас. Да ведь и ваша сестра тоже. Человек выпил. Ну что ж, дай покуражится, выспится, опять все чередом пойдет. А ваша сестра тут-то и перечит.

Марфа. Что хошь делай. Если пьяный, все не по нем.

Тарас. Да ведь все надо понимать. Нашему брату тоже нельзя другой раз не выпить. Ваше дело бабье — домашнее, а нашему брату нельзя — али по делу, али в компании. Ну и выпьет, авось беды нет.

Марфа. Да тебе хорошо говорить, а нашей сестре трудно. Ох, трудно. Кабы вашего брата хоть на недельку бы в нашу должность впрячь. Вы бы не то заговорили. И меси, и пеки, и вари, и пряди, и тки, и скотина, и все дела, и этих голопузых обмыть, одеть, накормить, все на нашей сестре,— а чуть что не по нем, сейчас. Особенно выпивши. Ох, житье наше бабье...

Прохожий *(прожевывая)*. Это правильно. От ней все качества, значит, все катáстрофы жизни от алкогольных напитков.

Тарас. Видно, она-то и тебя с пофей сбила.

Прохожий. Она не она, а тоже и от ней пострадал — кальера жизни моей могла бы совсем иная быть, кабы не она.

Тарас. А на мой разум, если пить ее с умом, вреда от ней нет никакого.

Прохожий. А я так скажу, что в ней такая сила енерции имеется, что она может вполне испортить человека.

Марфа. Я и говорю: ты хлопочи, старайся, и одна тебе утеха, что изругает да изобьет, как собаку.

Прохожий. Мало того. Есть такие люди, субъекты, значит, что вовсе от ней рассудка лишаются и поступки совсем несоответствующие производят. Пока не пьет, что хошь давай ему, ничего чужого не возьмет,

а как выпил, что ни попади под руку тащит. И били сколько, и в тюрьме сидел. Пока не пью, все честно, благородно, а как выпью, как выпьет, значит, субъект этот, сейчас и тащит что попало.

Акулина. А я думаю, все от себе.

Прохожий. В себе-то в себе, пока здоров, а это болезнь такая.

Тарас. Ну уж и болезнь! пробрать бы его как должно, и болесть эта живо прошла бы. Прощавайте пока что. *(Уходит.)*

Марфа обтирает руки и хочет уходить.

Акулина *(смотрит на прохожего, видит, что он съел хлеб)*. Марфа, а Марфа. Отрежь ему еще.

Марфа. Ну его. Пойти самовар поглядеть. *(Уходит.)*

Акулина встает, идет к столу, вынимает хлеб, отрезает ломоть и дает прохожему.

Прохожий. Мерси. Очень уж аппетит мог возыметь.

Акулина. Из мастеровых будешь?

Прохожий. Я-то? Машинистом был.

Акулина. Что ж, много получал?

Прохожий. И пятьдесят и семьдесят получал.

Акулина. Легкое ли дело. Так как же так сбился?

Прохожий. Сбился? Не я один. Сбился, потому что времена нынче такие, что честному человеку прожить нельзя.

Марфа *(вносит самовар)*. О господи. Все нет. Не миновать — пьяный приедет. Чует мое сердце.

Акулина. И впрямь не закутил ли?

Марфа. То-то и оно-то. Одна бьешься, бьешься, и меси, и пеки, и вари, и пряди, и тки, и скотина, все на мне.

В люльке кричит.

Парашка, качай малого-то. Ох, житье наше бабье. А напьется, все нехорошо. Скажи не по нем слово...

Акулина *(заваривает чай)*. И чай последний. Наказывала привезти?

Марфа. Как же. Хотел привезть. Привезет он? Разве станет об доме думать! *(Ставит на стол самовар.)*

Прохожий отходит от стола.

Акулина. А ты что ж от стола ушел? Чай пить будем.

Прохожий. Приношу благодарность за гостеприимное радушие. *(Бросает цигарку и подходит к столу.)*

Марфа. Сам-то из каких будешь, из крестьян али еще из каких?

Прохожий. Я, мать, ни из крестьян, ни из дворян. *Обоюдоострого сословия.*

Марфа. Это к чему же? *(Подает ему чашку.)*

Прохожий. Мерси. А к тому, что мне отцом польский граф был, а кроме его, еще многие были, и матерей тоже две было. Вообще биография моя затруднительная.

Марфа. Пейте еще. Что ж, в ученье был?

Прохожий. Ученье мое тоже необстоятельное было. В кузню отдала меня не мать, а восприемница. Кузнец, значит, первым моим пердагогом был. И пердагогия его в том заключалась, что бил меня этот самый кузнец так, что не столько по наковальне бил, сколько по несчастной голове моей. Однако, сколько ни бил, не мог лишить меня талантов. Попал потом к слесарю. И тут оценен я был и дошел до дела, первым мастером стал. Знакомства с образованными людьми имел, во фракции находился. Умственную словесность мог усвоить. И жизнь могла быть возвышенная, так как владел талантами аграмадными.

Акулина. Известное дело.

Прохожий. А тут завируха вышла, деспотический гнет народной жизни, и в тюрьму попал, в заключение свободы, значит.

Марфа. За что же?

Прохожий. За права.

Марфа. За какие же это права?

Прохожий. За какие права? А такие права, чтоб буржуй не мог вечно [1] праздновать, а трудящийся пролетарий мог получать вознаграждение труда.

Акулина. И насчет земли, значит?

Прохожий. А то как же. Тоже и в аграмарном вопросе.

Акулина. Дал бы господь, царица небесная. Уж больно теснота одолела. Ну, а как же теперь?

Прохожий. Теперь как? теперь я до Москвы.

[1] В подлиннике: *верно.*

Приду к эксплотатору. Что ж делать, покорюсь, скажу: в какую хошь работу, только возьми.

Акулина. Что ж, пейте еще.

Прохожий. Благодарю — мерси, значит.

Слышен в сенях шум и говор.

Акулина. Вот и Михайла, как раз к чаю.

Марфа *(встает)*. Ох, горе мое. С Игнатом. Пьян, значит.

Вваливаются Михайла и Игнат, оба пьяные.

Игнат. Здорово живете? *(Молится на образ.)* А вот мы, едрена палка, как раз к самовару поспели. Мы к обедни, ан отпели, мы к обеду, ан отъели, мы в кабак, ан только так. Ха, ха, ха. Вы нам чайку, а мы вам винца. Так, что ль? *(Хохочет.)*

Михайла. Этот щеголь-то отколе? *(Вынимает из-за пазухи бутылку, ставит на стол.)* Давай чашки.

Акулина. Что ж, хорошо съездил?

Игнат. Уж чего, едрена палка, лучше, и попили, и погуляли, и домой привезли.

Михайла *(наливает чашки и подвигает матери, а потом и прохожему)*. Пей и ты.

Прохожий *(берет чашку)*. Приношу чувствительную благодарность. Будьте здоровы. *(Выпивает.)*

Игнат. Молодчина, как хлобыснул, должно ученый, едрена палка. С голодухи-то, я чай, по жилкам пошла. *(Наливает еще.)*

Прохожий *(пьет, к Михайле и Игнату)*. Желаю успеха во всех предприятиях.

Акулина *(Михайле)*. Что ж, за дорого продал?

Игнат. Дорого ли не дорого. Все пропили, едрена палка. Правда, Михайла?

Михайла. А то как же. Что ж на них смотреть. В кои-то веки и погулять можно.

Марфа. Что куражишься-то. Хорошего мало. Дома есть нечего, а ты вон что...

Михайла. Марфа! *(Угрожающе.)*

Марфа. Что Марфа? Знаю, что Марфа. Ах, не смотрели бы мои глаза, бессовестный.

Михайла. Марфа, смотри!

Марфа. Нечего смотреть, и смотреть не хочу.

Михайла. Разливай вино, подноси гостям.

Марфа. Тьфу, пес лупоглазый, и говорить с тобой не хочу.

Михайла. Не хочешь? Ах ты, шкура собачья. Ты что сказала?

Марфа *(качает люльку. Дети испуганные подходят к ней.)* Что сказала? Сказала, не хочу и говорить с тобой, вот и все.

Михайла. Аль забыла? *(Вскакивает из-за стола и бьет ее по голове, сбивает платок.)* Раз.

Марфа. О-о-о-о! *(Бежит в слезах к двери.)*

Михайла. Не уйдешь, стерва ты этакая... *(Бросается к ней.)*

Прохожий *(вскакивает от стола и хватает Михайлу за руку)*. Не имеешь никакого полного права.

Михайла *(останавливается, с удивлением смотрит на прохожего.)* Али давно не бит?

Прохожий. Не имеешь полного права женский пол подвергать оскорблениям.

Михайла. Ах ты, сукин сын. А это видал? *(Показывает кулак.)*

Прохожий. Не дозволю над женским полом эксплытацию производить.

Михайла. Я тебе такую остолбацию задам, что кверху тормашками...

Прохожий. На, бей. Что ж не бьешь? Бей. *(Выставляет лицо.)*

Михайла *(пожимает плечами и разводит руками)*. Ну, а как я двину?

Прохожий. Я говорю, бей.

Михайла. Ну, и чудак же, посмотрю на тебя. *(Опускает руки и качает головой.)*

Игнат *(к прохожему)*. Зараз видно, что дюже до баб охоч, едрена палка.

Прохожий. Я за права стою.

Михайла *(к Марфе, идет к столу, тяжело дыша)*. Ну, Марфа, здоровую свечу за него поставь. Кабы не он, избил бы тебя вдребезги.

Марфа. Чего же и приждать от тебя: бейся всю жисть, и пеки, и вари, а как что...

Михайла. Ну буде, буде. *(Подносит прохожему вино.)* Пей. *(К жене.)* А ты что слюни-то распустила. Уж и пошутить нельзя. На деньги, прибери: две трешницы да вот два двугривенных.

Акулина. А чай-сахар я приказывала.

Михайла *(достает сверток из кармана и подает жене. Марфа берет деньги и уходит в чулан, молча оправляя платок).* Бестолковое это бабье сословие. *(Опять подает прохожему.)* На, пей.

Прохожий *(не пьет.)* Пейте сами.

Михайла. Ну, будет ломаться.

Прохожий *(пьет.)* Будьте благополучны.

Игнат *(к прохожему).* А видал ты, я чай, виды. Ох хороша на тебе бонжурка. Хформенная бонжурка, и где ты такую достал. *(Показывает на его оборванную куртку.)* Ты ее не оправляй, она и так хороша. В годочках она, значит, ну да что ж делать? Кабы у меня такая же была, и меня бы бабы любили. *(К Марфе.)* Верно говорю?

Акулина. Напрасно это, Агеич, что, ничего не видамши, человека на смех поднимать.

Прохожий. Потому необразованность.

Игнат. Я ведь любя. Пей. *(Подносит.)*

Прохожий пьет.

Акулина. Сам говорил, что от ней качества все, и в тюрьме из-за ней сидел.

Михайла. По каким же делам сидел?

Прохожий *(очень захмелевший).* За экспроприацию страдал.

Михайла. Это как же?

Прохожий. А так что пришли к нему, к толстопузому. Давай, говорим, деньги. А то вот: ливольвер. Он туды, сюды. Вынул две тысячи триста рублей.

Акулина. О господи.

Прохожий. Мы только хотели, как должно, распорядиться суммой, Зембриков руководствовал. Налетели... эти во́ронья. Сейчас под стражу в тюрьму заключили.

Игнат. И денежки отобрали?

Прохожий. Известно. Да только не могли они меня обвинить. Прокурор на суде мне такое слово сказал: вы, говорит, украли деньги. А я сейчас ему в ответ: крадут воры, я говорю. А мы для партии экспроприацию совершили. Так он и не мог мне ответа дать. Туды, сюды, ничего не мог ответить. Ведите, говорит, его в тюрьму, значит в заточение свободной жизни.

Игнат *(к Михайле)*. И ловок же, сукин сын. Молодчина. *(Подает прохожему.)* Пей, едрена палка.

Акулина. Тьфу, нехорошо говоришь ты.

Игнат. Я, бабушка, это не поматершинно, а только так, поговорка у меня: едрена палка, едрена палка. Будь здорова, бабушка.

Марфа приходит, стоя у стола, разливает чай.

Михайла. Вот и хорошо. А то что, обижаться. Я говорю. Спасибо ему. Я тебя, Марфа, во как уважаю. *(К прохожему.)* Ты что думаешь? *(Обнимает Марфу.)* Я мою старуху так уважаю, во как уважаю. Старуха моя, одно слово, первый сорт. Я ее ни на кого не променяю.

Игнат. Вот и хорошо. Бабушка Акулина. Пей. Я угощаю.

Прохожий. Что значит сила енерции. То все в меланхолии находились, а теперь одна приятность. Дружеское расположение. Бабушка, я любовь имею к тебе и ко всем людям. Братцы миленькие. *(Поет революционную песню.)*

Михайла. Уж дюже разобрало его — с голодухи-то.

Занавес

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Та же хата. Утро.

Марфа и Акулина. Хозяин спит.

Марфа *(берет топор)*. Пойти дров нарубить.

Акулина *(с ведром)*. Избил бы он тебя вечор, кабы не энтот. А не видать его. Аль ушел? Должно, ушел.

Уходят одна за другой.

Михайла *(слезает с печи)*. Вишь ты, солнышко-то уж высоко. *(Встает, обувается.)* Видно, за водой с старухой ушли. Болит, голова болит. Да не стану. Ну ее к чертям. *(Молится богу, умывается.)* Пойти запрягать.

Входит с дровами Марфа.

Марфа. А вчерашний побирушка? Аль ушел?

Михайла. Должно, ушел, не видать.

Марфа. Ну и бог с ним. А человек, видно, умный.

Михайла. За тебя заступился.

Марфа. Чего мне.

Михайла одевается.

А чай-сахар вчерашние ты прибрал, что ль?

Михайла. Я чаял, ты взяла.

Входит Акулина с ведром.

Марфа *(к старухе)*. Матушка, не ты взяла покупку?

Акулина. И знать не знаю.

Михайла. Вечор я на окно положил.

Акулина. И я видела.

Марфа. Где же ему быть? *(Ищут.)*

Акулина. Вишь ты грех какой.

Входит сосед.

Сосед. Что же, Тихоныч, по дрова едем, что ли.

Михайла. А то как же. Зараз запрягу. Да, вишь, пропажа у нас.

Сосед. Вот как, что же такое?

Марфа. Да вот хозяин вечор покупку привез из города: чай-сахар, положил тут на окно. Мне невдомек прибрать. Глядь — нынче нет.

Михайла. Грешим на прохожего, ночевал.

Сосед. Какой прохожий?

Марфа. Такой из себя худощавый, безбородый.

Михайла. Пиджачишка в лохмотьях.

Сосед. Кучерявый, нос с горбинкой?

Михайла. Ну да.

Сосед. Сейчас повстречал. Подивился, что дюже шибко шагает.

Михайла. Скорей всего он. Далече встрел?

Сосед. За мост еще, я чай, не вышел.

Михайла *(хватает шапку и быстро уходит с соседом)*. Догнать надо. Вишь, шельмец. Он это.

Марфа. Ох, грехи, грехи. Не миновать, что он.

Акулина. А как не он. Так-то раз, годов двадцать тому было, так же сказали на человека, что лошадь увел. Собрался народ. Тот говорит, сам видел, как он обротывал, тот говорит, что видел, как он повел ее.

А лошадь пегая, дядина, заметная. Собрался народ, стали искать. Попался им в лесу тот самый парень. Ты, говорят. Он говорит: знать не знаю, ведать не ведаю. Поклянись, говорят. Клянется, божится, что не он. Что, говорят, смотреть на него. Бабы верно сказывали, что он. Что-то сказал он грубое. Егор Лапушкин, помер он. Горячий мужик был, развернулся, ни кстя ни моля, бац его в морду, ты, говорит, вдарил раз, набро́сились все, стали бить успятками, кулаками, добили до смерти. Что же думаешь? На другой неделе нашли настоящего вора, а этот вовсе не вор, только в лесу хотел дерево облюбовать.

Марфа. Известное дело, как бы не согрешили. Хоть он и в низкой степени, а человек, видно, хороший.

Акулина. Да уж больно опустился. И взыскать с такого нечего.

Марфа. Вот галдят. Ведут, видно.

В горницу входят Михайла, сосед и еще старик и парень. Вперед себя вталкивают вчерашнего прохожего.

Михайла (*держит в руках чай-сахар, к жене*). У него в штанах и нашли. Воришка, сукин сын.

Акулина (*к Марфе.*) Он и есть — сердешный, и голову повесил.

Марфа. Это он вечор, видно, о себе говорил, что как выпьет, так и тащит что попало.

Прохожий (*в волнении*). Я не вор, я экспроприатор. Я деятель и должен жить. Вы понять не можете, что хотите делайте.

Сосед. К старосте али прямо к уряднику?

Прохожий. Говорю, что хотите делайте. Я ничего не боюсь и могу пострадать за убеждения. Кабы вы были люди образованные, вы бы могли понимать...

Марфа (*мужу*). А бог бы с ним. Покупку вернули. Пустить бы его без греха... Пущай идет.

Михайла (*повторяет слова жены*). Без греха... пущай идет. (*Задумывается. Строго к жене.*) «Пущай идет». Спасибо, научила. Без тебя не знаем, что делать.

Марфа. Жалко его, сердечного.

Михайла. Жалко! Поучи, поучи, без тебя не знаем, что делать. То-то дура. «Пущай идет». Идет-то идет, да ему слово сказать надо, чтоб он почувствовал. (*К прохожему.*) Так слушай ты, мусью, что я тебе ска-

зать хочу. Хоть и в низком ты положении, а сделал ты дюже плохо, дюже плохо. Другой бы тебе за это бока намял да еще и к уряднику свел, а я тебе вот что скажу: сделал ты плохо, хуже не надо. Только уж больно в низком ты положении, и не хочу я тебя обидеть. *(Останавливается. Все молчат. Торжественно).* Иди с богом да впредь так не делай. *(Оглядывается на жену.)* А ты меня учить хочешь.

Сосед. Напрасно, Михайла. Ох, напрасно, повадишь их.

Михайла *(все держит в руке покупку).* Напрасно так напрасно, мое дело. *(К жене.)* А ты меня учить хочешь. *(Останавливается, глядя на покупку, и решительно подает ее прохожему, оглядываясь на жену.)* Бери и это, дорогой чаю попьешь. *(К жене.)* А ты меня учить хочешь. Иди, сказано, иди. Растабарывать нечего.

Прохожий *(берет покупку. Молчание).* Ты думаешь, я не понимаю... *(Голос дрожит.)* Я в полном смысле понимаю. Избил бы ты меня, как собаку, мне бы легче было. Разве я не понимаю, кто я. Подлец я, дегенерат, значит. Прости Христа ради. *(Бросает на стол чай-сахар и, всхлипывая, быстро уходит.)*

Сосед. Аж заплакал, сердешный.

Михайла *(жене).* А ты меня учить хочешь.

Акулина. Тоже человек был.

Марфа. Спасибо чай не унес, а то бы и на заварку не было.

Занавес

ХАДЖИ-МУРАТ

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку,— он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни,— подумал я, вспоминая

те усилия, с которыми я отрывал цветок.— Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки,— все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни»,— думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я.— Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирно́й аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум»,— и открыл лицо.

— Алейкум селям,— улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вы-

шел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца,— приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью,— сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были,— ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам, запихивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

— Хабар *йок* — «*нет нового*»,— отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами.— Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет,— заговорил старик.— Только и нового, что все зайцы совещаются, как им ордов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо,—злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу,

так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему,—сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо,— сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме,— сказал Садо,— моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю,— сказал Садо.— Позови Бату,— обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно,— быстро, весело заговорил Бата.— Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат.— За труды получишь три,— сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо,— сказал Хаджи-Мурат.— Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду,— сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут,— сказал Хаджи-Мурат.

— Айя! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю,— сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо,— сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел.— В Гехах надо вот что,— начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была

совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать,— сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано,— сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов

мед: и много и хорош,— сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо,— сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает,— повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пять-

сот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо — сухо,— сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть —потерял,— сердито проворчал Панов,— либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь,— сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст,— сказал Панов.

— Известно, офицер хороший,— подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший,— мрачно продолжал начавший разговор,— а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит,— сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек,— подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал...— настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет,— повторил Панов.— Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются,— сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок,— сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч,— вдруг спросил веселый Авдеев Панова,— бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж — богато жили?

— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел,— рассказывал Авдеев.— У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо,— сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай.

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина, Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами,

Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная,— заговорил тот, который был пониже.— Это был Бата.— Ружье иок, шашка иок,— говорил он, показывая на себя.— Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому,— сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо,— говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем,— сказал Панов.— Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой,— обратился он к Авдееву,— а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри,— сказал Панов,— осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти голодобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает.—Пырну разок—и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь,—сказал Бондаренко.— Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно,— сказал Панов.— А свежо стало,— прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, голодобые ребята хорошие,— продолжал Авдеев.— Ей-богу. Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься,— недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит.— Баранчук, говорю, бар? — Бар.— Много? — Парочка, говорит.— Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие,— сказал Никитин,— попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет,— сказал Панов.

— Да уж звездочки потухать стали,— сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера, один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна.— Видите, я вам говорила,— обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили,— улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать,— строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа,— сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски.— Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен,— сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов,— сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно,— сказал адъютант.

— Василий! подайте,— сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать,— пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать,— повторила Марья Васильевна.— Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами,— сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад,— сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутою.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью

при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел,— повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать,—сказал Тихонов,—и в шесть надо уж выступать.

— Вавило,— крикнул Полторацкий.— Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous allez me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chére»! C'est un èmissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

— Vous? [1]

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхав-

[1] — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?
— Но, дорогая...
— При чем тут «дорогая»! Это, конечно, лазутчик?
— Тем не менее я не могу тебе сказать.
— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!
— Ты? *(франц.)*

шая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо,— сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом.— Женщина с крыши видела, как ты ехал,— сказал он,— и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо,— сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы,— сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар,— прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот

и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным пóездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат.— Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названый брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить,— сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой,— отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее.— Поберечься надо, гнались за мной,— сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче,— и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля

илляха», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом щипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали

видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий,— ведь это в цепи! Ну, брат Костя,— обратился он к Фрезе,— твое счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое

устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло,— говорил солдат, бывший с ним в паре.— Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он.— Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие,— заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым,— слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те,— пощелкал языком Полторацкий.— Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа,— сказал он.— Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет,— сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты,— сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь,— отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь,— улыбаясь, сказал Полторацкий,— сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело,— в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был,— сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости.— Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю,— сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще кореластый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами,— это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо,— чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему, и подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит, Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаготворять будут,— сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий,— как зверь, косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат,— слыхал?

— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство,— отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле,

держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твоя сын — кунак,— сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник,— по-французски сказала Марья Васильевна мужу.— Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix [1],— сказала Марья Васильевна.

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau [2],— сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

— Прекрасный кинжал, прекрасный,— сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине.— Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему,— сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

[1] Это ценная вещь *(франц.)*.

[2] Надо будет найти случай отдарить его *(франц.)*.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его,— сказала Марья Васильевна мужу.— Он взял, где я взяла.— И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку,— часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre [1],— сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено,

[1] Вот случай. Подари ему часы *(франц.)*.

и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale [1].

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу,— сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне,— отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

---

[1] — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу *(франц.)*.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо,— перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю...— еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности,— заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю...— Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ,— сказал Воронцов,— но...

— Ну, и я погорячился,— сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых

коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили,— рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох,— громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие,— кряхтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли

чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостную руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин,— сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина,— напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завиствовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду,— сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать,— передразнил отец.— Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся,—проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка,— сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шёст, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить,— сказала старуха.— Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай,— сказал старик Акиму.— Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал,— огрызнулся теперь Аким на отца,— а нет его, меня глодаешь.

— Значит, сто́ишь,— так же сердито сказала мать.— Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двожды,— сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были при-

прятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой,— и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил бóльшую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидев-

шие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chère amie,— отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером.— Simon a eu de la chance [1].

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость,— для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно,— о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат

[1] Превосходные, милый друг. Семену повезло *(франц.)*.

в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он,— говорил генерал,— вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку,— он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка»,— тут бы все и остались, потому...»

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным

взглядом смотревшего на него,— и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur! [1] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет,— сказал Воронцов улыбаясь,— мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Му-

---

[1] Какой ужас! *(франц.)*

рате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre[1].

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон,— сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да,— сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю,— сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать,— сказал другой.

— Tout cela est grâce à vous[2],— сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый,— знаменитый по своей власти,— доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

---

[1] На войне как на войне (*франц.*).

[2] Все это благодаря вам (*франц.*).

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort [1]. But all is well what ends well [2],— сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народу. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и

---

[1] У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ *(франц.)*.

[2] Но все хорошо, что хорошо кончается *(англ.)*.

он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой,— той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем

не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что *он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому.* И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что. считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему,— сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам),— что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата.— До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю,— сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это).— Знаю,— сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои,— продолжал он, обращаясь к переводчику.— Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему,— сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да,— спокойно проговорил Воронцов.— Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику.— Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на передан-

ный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов.— Что же именно он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно,— сказал Воронцов.— Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю,— сказал он еще,— что моя семья в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов.— Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнажен-

ная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет,—не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю,— сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди.— Прикажи,— сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хад-

жи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне,— сказал Лорис-Меликов,— а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно,— сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь,— сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было,— сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь,— сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах,— начал он.— Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие

и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов, —не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились,— решительно сказал он и закрыл глаза.— И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать,— сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ.— Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана

к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана»,— сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в лужи крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намер-

нулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов.— Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо,— сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш,— сказал он, улыбаясь.— Хороший человек.

— Да, хороший,— сказал Лорис-Меликов.— И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо,— сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит,— сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису.— Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит,— скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его,— быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур,— сказал Хан-Магома.— Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые,— не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь,— говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят,— сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль,— сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы,— отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал,— оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это,— строго сказал Гамзало и вышел из комнаты, Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет,— подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги,— сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл,— быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек,— оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы

туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат,— думал Лорис-Меликов,— умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет,— отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова.— Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня,— сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова.— Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе,— сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно,— сказал Лорис-Меликов.—

А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый,— прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек,— сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце,— начал Хаджи-Мурат.— Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались,— остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид,— тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа,

а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо,— продолжал он,— потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту,— сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе,— и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда вы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо,— сказал он.— Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими,— с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат.— И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это, или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо,— прочитал

Лорис-Меликов.— Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить,— я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено*, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов*, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому,— сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо,— и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было,— докончил свой рассказ Хаджи-Мурат,— но он

боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка вострa. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он

не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками,— единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас, в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь

ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней,— будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизво-

лит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами,— потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь,— или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не

сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu [1], главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мура-

[1] Выскочка *(франц.)*.

та в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош), и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Черны-

шев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L'empereur? [1] — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer [2],— очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго

---

[1] Император? *(франц.)*

[2] Его величество только что вернулись *(франц.)*.

перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпертые высоким воротником ожиревшие свежевыбритые щеки с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un [1],— сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

[1] Здесь кто-то есть *(франц.)*.

— Ну, брат, ты помоложе меня,— сказал он окоченевшему от ужаса офицеру,— можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения,— и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вы-

тяжка, и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн,— повторял он несколько раз имя вчерашней девицы.— Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия,— сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства.— Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; по-

том было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек,— сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество,— сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию,— сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я»,— опять подумал он.

— Ну, что еще?—сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа,— сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как,— сказал Николай.— Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды,— сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда,— сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней,— несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противо-

речий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик,— отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

. — Подожди немного,— сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: «*Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай*»,—

подписал он своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот,— сказал он.— Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании,— прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем»,— подумал он.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами,— сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая.— Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал,— насмешливо сказал Николай.— А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время

доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным,— сказал он.— А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

«ХАДЖИ-МУРАТ»

«ХАДЖИ-МУРАТ»

Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и между прочим поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la Russie,— сказал Ливен.— Il nous faut cent milles hommes à peu près dans chacun de ces deux pays [1].

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— Vous dites la Pologne,— сказал он.

— Oh, oui, c'était un coup de maître de Maeternich de nous en avoir laissé d'embarras...[2]

В этом месте разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

---

[1] — Польша и Кавказ—это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран (*франц.*).

[2] — Вы говорите, Польша.

— О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения... (*франц.*)

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с бриллиантами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, вы-

скочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается,—весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно, не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песен-

ники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка,— говорил майор в промежутке песни.— Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря»,— скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены развалленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел

перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья

матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый,— сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник,— сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды,— сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул,— ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его,— сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли,— сказала Марья Дмитриевна.— Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь,— сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия,— сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе.— Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича,— сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри,— сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо,— сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого черта». Одевшись, он потребовал от денщика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси,— проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом.— Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов,— закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет,— сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права,— сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать,— хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич

сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу

и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания. Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в ка-

мине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения, при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним,— все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина,— Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посредине, на более

высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное — его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь,— сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то,— Шамиль грозно нахмурился,— я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

«ХАДЖИ-МУРАТ»

«ХАДЖИ-МУРАТ»

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат,

очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названым братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офице-

ры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя,— сказал он.

— Он говорит, что да,— отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются,— сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть,— сказал он переводчику,— угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном,— оба голодные остались.— Он улыбнулся.— Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливок? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену.— Когда увидимся?

— Прощай! прощай,— улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат.— Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел,— сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-

Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так,— сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю,— сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку.— Дай бог вам сына выручить. Улан якши,— прибавила она.— Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда

он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело.— Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон,— передал переводчик слова Хаджи-Мурата.— Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж,— убьет, значит, так алла хочет. Ну, прощай,— сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка,— сказал он, обращаясь к ней,— спасиб.

— Дай бог, дай бог семью выручить,— повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака,— сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду,— ответил он через переводчика и, несмотря на свою

кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть,— сказал Петроковский.

— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было,— вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна.— Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали,— сказала она.— Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич.— Уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна,— сказал Бутлер.— Молодец, что заступились.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную

собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами.

Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него,— говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры,— сказал он.— Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем решительно, как...— здесь голос его задрожал,— я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза.— От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офи-

церы, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо»,— думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких

она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал,— сказал Иван Матвеевич,— сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее,

чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши,— сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез,— сказал Кириллов.

— За две недели теперь,— сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре.— Давай.

— Сейчас дадим,— сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки.— И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кирил-

лов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать,— сказал пристав.— Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый, черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат.— Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне»,— думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети,— сказали они,— туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заклюют и меня»,— думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно»,— думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем,— Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два

стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко,— сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово,— сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масленые тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал

с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им. «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипенье и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было,— было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына,

Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такой сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку,— сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней,— сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости

ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать,— дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это,— сказала Марья Дмитриевна.— Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уж подходили к дому,

когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый,— сказал Каменев.— А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите,— сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни.— Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное,— и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку.— Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку,— сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться,— сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она,— сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца.— Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали,— сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер,— сказал Каменев.

— Да как же это все случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам,— сказал Каменев.— Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Головато? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был,— сказал он.— Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова,— сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил,— кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право,— сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть,— сказал Бутлер, не зная, что говорить.— На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна.— Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право,— повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие,— ответил Назаров

и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик,— тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел проездом так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним,— сказал Ферапонтов.— Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню,— сказал Назаров.

— Как же, перегонишь,— сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же прóездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти,— сказал Игнатов.— Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с прóезда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина

и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что же это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь.— Бей их, ребята,— проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже

версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата.— Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Белардж ика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться,

а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат»,— подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел

в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но всё более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала за-

трещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля илляха иль алла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки,— в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающейся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану.

Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались

над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

ИСТОРИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ *

Пишу я историю вчерашнего дня, не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен, скорее мог назваться замечательным, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. Бог знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но [не] менее того понятных душе нашей, проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что недостало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать. <С какой стороны ни посмотришь на душу человеческую, везде увидишь беспредельность, и начнутся спекуляции, которым конца нет, из которых ничего не выходит и которых я боюсь.> К делу.

Встал я вчера поздно, в 10 часов без четверти, а все оттого, что лег позже 12-ти. (Я дал себе давно правило не ложиться позже 12-ти, и все-таки в неделю раза 3 это со мною случается); впрочем, есть такие обстоятельства, в которых я ставлю это не в преступление, а в вину; обстоятельства эти различны; вчера было вот какого рода.

Здесь прошу извинить, что скажу, что было третьего дня; ведь пишут романисты целые истории о предыдущей генерации своих героев.

Я играл в карты; но нисколько не по страсти к игре, как бы это могло казаться; столько же по страсти

* Угловыми скобками обозначен текст, зачеркнутый Л. Н. Толстым, а квадратными скобками — редакторский текст.

к игре, сколько тот, кто танцует польской по страсти к прогулке. Ж.-Ж. Руссо в числе всех тех вещей, которые он предлагал и которых никто не принял, предлагал в обществе играть в бильбоке, для того чтобы руки были заняты; но этого мало, нужно, чтобы в обществе и голова была занята или, по крайней мере, имела такое занятие, про которое можно бы было говорить или молчать. Такое занятие у нас и придумано — карты. Люди старого века жалуются, что «нынче разговора вовсе нет». Не знаю, какие были люди в старом веке (мне кажется, что всегда были такие же), но разговору и быть никогда не может. Разговор как занятие — это самая глупая выдумка. Не от недостатка ума нет разговора, а от эгоизма. Всякой хочет говорить о себе или о том, что его занимает; ежели же один говорит, другой слушает, то это не разговор, а преподавание. Ежели же два человека и сойдутся, занятые одним и тем же, то довольно одного третьего лица, чтобы все дело испортить: он вмешается, нужно постараться дать участие и ему, вот и разговор к черту.

Бывают тоже разговоры между людьми, которые заняты одним, и никто им не мешает, но тут еще хуже: каждый говорит о том же по своей точке зрения, перенося все на свою или меряя по своей мерке, и чем более продолжается разговор, тем более отдаляется один от другого, до тех пор пока каждый увидит, что он уже не разговаривает, а проповедует с не доступной никому, кроме него, вольн[остью], выставляя себя примером, а другой его не слушает и делает то же. Катали ли вы яйца на святой неделе? Пустите два яйца одинакие по одному лубку, но у каждого носок в свою сторону. И покатятся они сначала по одному направлению, а потом каждое в ту сторону, в которую носочек. Есть в разговоре, как и в катанье яиц, шлюпики, которые катятся с шумом и не далеко, есть востроносые, которые бог весть куда занесутся; но нет двух яиц, исключая шлюпиков, которые бы покатились в одну сторону. У каждого свой носок.

Я не говорю о тех разговорах, которые говорятся оттого, что неприлично было бы не говорить, как неприлично было бы быть без галстука. Одна сторона думает: ведь вы знаете, что мне никакого дела нет до того, о чем я говорю, но нужно; а другая: говори, говори, бедняжка,—я знаю, что необходимо.

Это уже не разговор, а то же, что черный фрак, карточки, перчатки,— дело приличия.

Вот почему я и говорю, что карты хорошая выдумка. Во время игры можно поговорить тоже и потешить самолюбие, сказать красненькое словцо, не быв обязанным продолжать на тот же лад, как в том обществе, где только разговор.

Надо приберегать последний заряд ума на последний круг, в то время, как берешься за шляпу: вот время разразиться всем запасом. Как лошадь на приз. Иначе покажешься бледен и беден; и я замечал, что люди не только умные, но которые могут блеснуть в свете, теряли от недостатка в постепенности. Ежели сгоряча, пока не надоело, говоришь, а потом от скуки не хочется и отвечать, так и уйдешь; последнее впечатление останется, и скажут: «А как он тяжел...» Когда же в карты играют, этого нет, можно молчать не предосудительно.

Притом же женщины (молодые) играют, стало быть, чего лучше желать, чтобы 2—3 часа быть подле той женщины. А ведь ежели есть та женщина, этого за глаза довольно.

Так вот, я играл в карты, садился справа, слева, напротив, и везде было хорошо.

Такого рода занятие продолжалось до 12-ти часов без четверти. 3 роберта кончились. Отчего эта женщина любит меня (как бы мне хотелось здесь поставить точку) приводить в замешательство, и без того уже я не свой при ней: то мне кажется, что у меня руки очень нечисты, то сижу я нехорошо, то мучает меня прыщик на щеке именно с ее стороны.

Впрочем, кажется, она ни в чем не виновата, а я сам всегда не в своей тарелке с людьми, которых я или не люблю, или очень люблю. Отчего бы это? От того, что одним хочешь показать, что не любишь, а другим, что любишь, а показать то, что хочешь, очень трудно. У меня всегда выходит навыворот; хочешь быть холоден, но потом кажется это уже слишком, и сделаешься слишком приветлив с людьми, которых любишь и любишь хорошо, но мысль, что они могут думать, что любишь скверно,— сбивает, и делаешься сух и резок.

Она для меня женщина, потому что она имеет те милые качества, которые их заставляют любить, или, лучше, ее любить, потому что я ее люблю; но не пото-

му, чтобы она могла принадлежать мужчине. Это мне в голову не приходит. У нее дурная привычка ворковаться с мужем при других, но мне и дела до этого нет; мне все равно, что она целовала [бы] печку или стол,— она играет с мужем, как ласточка с пушком, потому что душа хорошая и от этого веселая.

Она кокетка; нет, не кокетка, а любит нравиться, даже кружить голову; я не говорю кокетка, потому что или это слово нехорошо, или понятие, с ним связанное. Называть кокетством показывать голое тело, обманывать в любви — это не кокетство, а это наглость и подлость. Нет, а желать править и кружить головы, это прекрасно, никому вреда не делает, потому что Вертеров нету, и доставляет себе и другим невинное удовольствие. Вот я, например, совершенно доволен, что она мне нравится, и ничего больше не желаю. Потом, есть умное и глупое кокетство: умное — такое, которое незаметно и не поймаешь преступника на деле; глупое — напротив: ничего не скрыто, и вот как оно говорит: «Я собой не очень хороша, но зато какие у меня ноги! Посмотрите: видите? что, хороши?» — «Ноги у вас, может быть, хороши, но я не заметил, потому что вы показывали». Умное говорит: «Мне совершенно все равно, смотрите ли вы или нет; мне жарко, я сняла шляпу».— «Все вижу».— «А мне что за дело». У нее и невинное, и умное.

Я посмотрел на часы и встал. Удивительно: исключая, как когда я с ней говорю, я никогда не видал на себе ее взгляда, и вместе с тем она видит все мои движения. «Ах, какие у него розовые часы!» Меня очень оскорбило, что находят мои брегетовские часы розовыми, мне так же обидно показалось [бы], ежели бы мне сказали, что у меня розовый жилет. Должно быть, я приметно смутился, потому что когда я сказал, что это, напротив, прекрасные часы, она, в свою очередь, смутилась. Должно быть, ей было жалко, что она сказала вещь, которая меня поставила в неловкое положение. Мы оба поняли, что смешно, и улыбнулись. Очень мне было приятно вместе смутиться и вместе улыбнуться. Хотя глупость, но вместе. Я люблю эти таинственные отношения, выражающиеся незаметной улыбкой и глазами, и которых объяснить нельзя. Не то чтобы один другого понял, но каждый понимает, что другой понимает, что он его понимает, и т. д.

Хотелось ли ей кончить этот милый для меня разговор, или посмотреть, как я откажусь, и знать, откажусь ли я, или просто еще играть: она посмотрела на цифры, написанные на столе, провела мелком по столу, нарисовала какую-то не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной. «Давайте еще играть 3 роберта». Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называют charme [1], который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и [1 *неразобр.*] не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал: «Нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться,— то есть не весь я, а одна какая-то частица меня. Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой удачный вечер. Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я: тебе она вовсе не нравится, и ты в неловком положении; потом ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении...

Comme il est aimable, ce jeune homme [2].

Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. Я стал извиняться, что не могу; но так [как] для этого нужно думать, я продолжал рассуждать сам с собой: Как я люблю, что она меня называет в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я бы любил и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко звать меня по имени, по фамилии и по титулу. Неужели это от того, что я... «Останься ужинать»,— сказал муж. Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости. Мне очень стало досадно, и [я] начинал было порядком журить самого себя, когда меня развлекло весьма приятное

[1] очарование *(франц.)*.
[2] Как он любезен, этот юноша *(франц.)*.

обстоятельство. Она с большим вниманием нарисовала что-то, чего я не видал, подняла мелок немного выше, чем бы было нужно, положила его на стол, потом, упершись руками на диван, на котором сидела, и передвигаясь со стороны на другую, придвинулась к самой спинке и подняла головку — головку с тонким и кругловатым очерком лица, черными, полузакрытыми, но энергическими глазами, с узеньким и острым, острым носиком и с таким ртом, который с глазами составлял одно и всегда выражал что-нибудь новое. В эту минуту, как сказать, что он выражал? Была и задумчивость, и насмешка, и болезненность, и желание удержаться от смеха, и важность, и каприз, и ум, и глупость, и страсть, и апатия, и еще мало ли что он выражал. Немного погодя муж вышел, должно быть, приказать ужин.

Когда меня оставляют одного с ней, мне всегда делается страшно и тяжело. Когда я провожаю глазами тех, которые уходят, мне так же больно, как в 5-й фигуре: я вижу, как дама моя переходит на другую сторону и я должен оставаться один. Я уверен, что Наполеону не так больно было видеть, как саксонцы при Ватерлоо перешли к неприятелю, как мне в первой юности было больно смотреть на эту жестокую эволюцию. Средство, которое я употребляю в кадрили, употребляю я и при этом случае: я делаю, как будто не замечаю, что я один и даже теперь разговор, который был начат до его ухода, кончился; я повторил последние слова, сказанные мною, прибавив только: «так, стало быть», она повторила свои, прибавив: «да». Но вместе с тем тут же завязался другой, неслышный разговор.

Она. Я знаю, зачем вы повторяете то, что уже сказали: вам неловко быть одному, и вы видите, что мне неловко,— так чтобы казаться нам занятыми, вы заговорили. За это внимание вас очень благодарю, но можно бы сказать что-нибудь поумнее. *Я.* Это правда, ваше замечание верно, но я не знаю, отчего вам неловко; неужели вы думаете, что ежели вы одни, то я стану вам говорить такие вещи, которые будут вам неприятны? И чтобы доказать вам, как я готов жертвовать своими удовольствиями для вас, что как мне ни приятен наш теперешний разговор, я стану говорить громко. Или вы начинайте. *Она.* Ну, давайте!

Я только что приводил рот в порядок, чтобы сказать какую-нибудь такую вещь, при которой можно бы было

думать об одном, а разговаривать о другом, как она начала разговор громкий, который, по-видимому, мог бы продолжаться долго; но в таком положении самые занимательные вопросы падают, потому что продолжается *тот* разговор. Сказавши по фразе с каждой стороны, мы замолчали, попробовали еще говорить, опять замолчали. *Тот разговор. Я.* Нет, никак нельзя говорить, так как вам, я вижу, неловко, лучше бы, если б воротился ваш муж. *Она* (громко). Человек, где Иван Иванович? Попроси их сюда.— Ежели бы кто не верил, что есть такие тайные разговоры, то вот доказательство.

«Я очень рад, что мы теперь одни,— продолжал я тем же способом разговаривать,— я вам заметил уже, что вы меня часто оскорбляете своим недоверием. Ежели я нечаянно дотронусь до вашей ножки своей ногой, вы сейчас спешите извиняться и не даете мне времени сделать того же, когда я только что, разобрав, что это действительно ваша нога, хотел извиниться. Я за вами не могу поспеть, а вы думаете, что я неделикатен».

Муж пришел. Мы посидели, поужинали, поговорили, и я поехал домой в половине первого.

В САНЯХ

Теперь весна, 25 марта. Ночь тихая, ясная; молодой месяц виднелся напротив из-за красной крыши большого белого дома; снегу уже мало.

«Подавай, N!..»

Одни мои ночные санки были у подъезда, да и Дмитрий очень хорошо и без возгласа лакея слышал, что я выхожу, потому что слышно было его чмоканье, как будто он целовал кого-нибудь в темноте, и которое, по моим предположениям, имело целью заставить маленькую лошадку сдвинуть сани с камней мостовой, по которой неприятно скрипели и визжали подреза. Наконец санки подъехали, услужливой лакей взял меня под локоть и повел сажать; ежели бы он не держал меня, я бы прямо прыгнул в сани, теперь же, чтобы не оскорбить его, я пошел тихо и продавил ледочек подернувшейся лужи и замочил ноги. «Благодарствуй, брат, Дмитрий, морозит?» — «Как же можно-с; теперь все по ночам заморозки пойдут-с».

«Как глупо! Зачем я спрашиваю?» Неправда, ничего глупого нет: тебе хочется говорить, быть в сношениях

с людьми, потому что ты весел. Отчего же я весел? За полчаса ежели бы я сел в сани, я бы не стал разговаривать. А оттого, что ты довольно хорошо говорил перед отъездом, оттого, что ее муж тебя вышел провожать и сказал: «Когда ж мы опять увидимся?» Оттого, что как только лакей тебя увидал, он сейчас встрепенулся, и несмотря на то, что пахло от него петрушкой, он с удовольствием тебе услужил. Я ему как-то дал полтинник. Во всех наших воспоминаниях середина выпадает, а остается первое и последнее впечатление, особенно последнее. Поэтому прекрасный обычай хозяину дома провожать гостя до двери, у которой, обыкновенно устроив ноги винтом, нельзя хозяину не сказать чего-нибудь любезного гостю; несмотря ни на какую короткость отношений, этим правилом пренебрегать не надо. Так, например, «когда мы опять увидимся» ничего не значит, но невольно [из] самолюбия гость переведет так: *когда* значит: пожалуйста поскорее, *мы* значит: я и жена, которой тоже очень приятно тебя видеть; *опять* значит: мы нынче провели вечер вместе, но с тобой нельзя соскучиться; *увидимся* значит: еще раз нам сделай удовольствие; и гостю остается приятное впечатление. Также необходимо, особенно в домах не хорошо устроенных, где не все лакеи, особенно швейцар (это самое важное лицо, потому что первое и последнее впечатление), учтивы, давать денег людям. Они вас встречают и провожают, как человека домашнего, и услужливость их, источник коей *полтинник*, переводишь так: вас здесь все любят и уважают, поэтому мы стараемся, угождая господам, угодить вам. Может быть, только и любит и уважает лакей, но все-таки приятно. Что за беда, что ошибаешься? *ежели бы не было ошибок*, то не было бы...

«Аль белены объелся!.. Чеорт!..»

Мы с Дмитрием тихохонько и скромнехонько ехали каким-то бульваром и держимся ледочком правой стороной, как вдруг какой-то «леший» (Дмитрий так назвал после его) в карете парой столкнулся с нами. Разъехались, и только отъехавши шагов десять, Дмитрий сказал: «Вишь, леший, правой руки не знает!»

Не думайте, чтобы Дмитрий *был робкий* человек или не скор на ответ. Нет, он, напротив, хотя был небольшого роста, с бритой бородой (но с усами), он глубоко сознавал собственное достоинство и строго исполнял долг свой, но причиной в этом случае его слабости были

два обстоятельства. 1) Дмитрий привык ездить на экипажах, внушающих уважение, теперь же мы ехали на пошевеньках, запряженных очень маленькой лошадкой в весьма длинных оглоблях, так что даже кнутом с трудом можно было достать ее, и лошадка эта заплетала жалко задними ногами, что в зрителях посторонних могло возбудить насмешку, поэтому тем более обстоятельство это было тяжело для Дмитрия и могло уничтожить чувство [*1 неразобр.*] 2) Должно быть, вопрос мой: «Морозит ли?» — напомнил ему такого же рода вопросы осенью в отъезде. Он охотник; охотнику есть о чем замечтаться — и забыть ругнуть впопад кучера, который не держит правую руку. У кучеров, как и у всех, тот прав, кто с большей уверенностью и прежде крикнет на другого. Есть исключения; например, ванька никак не может крикнуть на карету, одиночка, даже щегольская, с трудом может крикнуть на четверню; впрочем, все зависит от характера, от обстоятельств времени, а главное, от личности кучера, от направления, в котором едут. Я один раз видел в Туле разительный пример влияния, которое может иметь один человек на других дерзостью.

Было катанье на масленице; сани парами, четвернями, кареты, рысаки, шелковые салопы — все тянулись цепью по Киевской,— пешеходов кучи. Вдруг крик с поперечной улицы: «Держи, эй, держи лошадь-то! Пади, эй!» — громким, самоуверенным голосом. Невольно пешеходы посторонились, пары и четверни придержали. Что ж вы думаете? Оборванный извозчик, стоючи на избитых санишках, размахивая над головой концами вожжей, на скверной кляче с криком продрал на другую сторону, покуда никто не опомнился. Даже будочники и то расхохотались.

Ежели едут экипажи по одному направлению, то распря бывает продолжительнее: тот, кто обидел, старается угнать или отстать, другой же иногда успевает доказать ему неправоту поступка и берет верх; впрочем, когда едут в одну сторону, то перевес на стороне того, чьи лошади резвее.

Дмитрий хотя человек азартный и ругнуть любит, но сердце имеет доброе, скотину жалеет. Кнут он употребляет не как средство побуждения, но исправления, то есть он не погоняет кнутом: это несообразно с достоинством городского кучера, но ежели рысак не стоит

у подъезда, он ему даст «раза». Я это сейчас имел случай заметить: переезжая из одной улицы на другую, лошадка наша насилу вытащила нас, и я заметил по отчаянным движениям спины, рук и чмоканью, что он был в неприятном положении. Ударить кнутом,— он к этому не привык. Ну, а что, ежели бы лошадь остановилась? Он не перенес бы этого, хотя тут нельзя было бояться шутника, который бы сказал: «Аль кормить?» Вот доказательство, что Дмитрий действует более по сознанию долга, чем из тщеславия.

Я много еще думал об многоразличных отношениях кучеров между собою, об их уме, находчивости и гордости. Должно быть, при больших съездах они узнают друг друга, с кем сталкивались, и переходят из враждебных в миролюбивые отношения. Все интересно на свете, особенно отношения тех классов, к которым мы не принадлежим.

Все эти отношения очень удобно прикладываются к отношениям вообще в жизни. Интересно тоже для меня отношения господ между собою и кучерами при такого рода столкновениях. «Эка дрянь, куда прешь?» Когда это обращается ко всему экипажу, невольно седок старается принять вид серьезной, или веселой, или беззаботной,— одним словом, такой, который он прежде не имел; заметно, что ему приятно бы было, ежели бы было наоборот; заметил я, что господа с усами в особенности сочувствуют обидам, нанесенным их экипажу.

— Кто едет? — Это прокричал будочник, который нынче утром при мне очень был оскорблен тоже кучером.

У подъезда против этой самой будки стояла карета; славный с рыжей бородой кучер, уложив под себя вожжи и опершись локтями на колени, грел спину на солнце, как было видно, с большим удовольствием, потому что даже почти совсем зажмурился. Напротив него будочник похаживал на площадке перед будкой и концом алебарды поправлял доску над лужей перед своим балконом. Вдруг ему не понравилось, или что карета тут стоит, или завидно стало, что кучеру так приятно греться, или хотел разговориться — он прошел по своему балкончику, заглянул в переулок, потом стукнул алебардой по доске: «Эй ты, куда стал? дорогу загородил». Кучер немного отщурил левый глаз, посмотрел на будочника и опять закрыл. «Съезжай! тебе, что ли, говорят!» Ни-

какого внимания. «Аль не слышишь! сворачивай, говорят!» Будочник, видя, что нет ответа, прошел по балкончику, еще заглянул в переулок и, видно, собирался сказать что-нибудь разительное. В это время кучер приподнялся, поправил под собой вожжи и, повернувшись с заспанными глазами к будочнику: «Что зеваешь? Тебе, дураку-то, и ружья в руки не давали, а туда же кричит!»

— Подавай!

Кучер проснулся и подал.

Я посмотрел на будочника; он что-то пробормотал и сердито посмотрел на меня; ему, видно, неприятно было, что я слышал и смотрю на него. Я знаю, что ничем больше нельзя оскорбить человека в глубине, как тем, чтобы дать понять ему, что заметил, но говорить про это не хочешь; поэтому я сконфузился, пожалел будочника и пошел прочь.

Люблю я в Дмитрии тоже способность разом назвать человека; меня это забавляет. «Пади, шапка, служба, борода, пади, салазки, пади, прачка, пади, коновал, пади, фигура, пади, мусье». Удивительно умеет русский человек найти обидное слово другому, которого он в первый раз видит, не только человеку, сословию: мещанин — «кошатник», будто бы мещане кошек обдирают; лакей— «лакало, лизоблюд»; мужик — «Рюрик»,— отчего, не знаю; кучер — «гужеед» и т. д.— всех не перечтешь. Повздорь русский человек с человеком, которого первый раз видит, он сейчас окрестит его таким именем, которым заденет за живую струну: кривой нос, косой черт, толстогубая бестия, курносый. Надо испытать, чтобы знать, как верно и метко всегда попадают прямо в больное место. Я никогда не забуду обиды, которую заочно получил. Один человек говорил про меня: «Ах, он редкозубый!» Надо знать, что у меня зубы чрезвычайно дурны, испорчены и редки.

ДОМА

Я приехал домой. Дмитрий заторопился слезать, чтобы отворить ворота, я тоже, чтобы пройти в калитку прежде его; это всякий раз так бывает: я тороплюсь войти, потому что привык уже, он торопится подвезти меня к крыльцу, потому что он так привык. Я долго не мог дозвониться; свечка сальная очень нагорела, и Пров,

мой лакей-старичок, спал. Покуда я звонил, вот о чем я думал: отчего мне противно входить домой, где и как бы я ни жил? противно видеть того же Прова на этом же месте, эту же свечку, те же пятна на обоях, те же картины, так что даже грустно делается?

Особенно надоедают мне обои и картины, потому что они имеют претензию на разнообразие, а стоит посмотреть на них два дня, они хуже белой стены. Это неприятное чувство, входя домой, должно быть, оттого, что не рожден человек, чтобы в двадцать два года жить холостяком. То ли бы было, ежели бы можно было спросить Прова, который вскочил и, стуча сапогами (верно, чтобы показать, что он давно слышит и исправен), отворяет дверь: «Барыня почивает?» — «Никак нет, в <гостиной> книжку читают». То ли бы дело: взял бы я обеими руками за головку, подержал бы перед собой, посмотрел бы, поцеловал бы, и опять посмотрел, и опять поцелуй; и не скучно бы было ворочаться домой. Теперь один вопрос, который я могу сделать Прову, чтобы показать ему, что я заметил, что он никогда не спит, когда меня дома нет, это: «Был кто-нибудь?» — «Никого». Всякий раз, когда бывает такого рода вопрос, ответ Пров делает жалким голосом, и всякий раз мне хочется ему сказать: «Зачем же ты говоришь жалким голосом? Я очень рад, что никто не был». Но я удерживаюсь: Пров мог бы оскорбиться, а он человек почтенный.

Я обыкновенно вечером пишу дневник, франклиновский журнал и ежедневные счеты.

Нынешний [день] я ничего не издержал, потому что ни гроша нету, так нечего писать в счетную книгу.

Дневник и журнал — другое дело: нужно бы было писать, но поздно, отложу до завтра.

Мне часто случалось слышать слова: «пустой человек, живет без цели»; и сам даже я это часто говорил и говорю, не от того чтобы я повторял чужие слова, но я чувствую в душе, что это нехорошо и что нужно иметь в жизни цель.

Но как же это сделать, чтобы быть «полным человеком и жить с целью»? Задать себе цель никак нельзя. Это я пробовал сколько раз, и не выходило. Надо не выдумывать ее, но найти такую, которая бы была сообразна с наклонностями человека, которая бы и прежде

существовала, но которую я только бы сознал. Такого рода цель я, мне кажется, нашел; всестороннее образование и развитие всех способностей. Как одно из главных сознанных средств к достижению — дневник и франклиновский журнал. В дневнике я каждый день исповедуюсь во всем, что я сделал дурно. В журнале у меня по графам расписаны слабости — лень, ложь, обжорство, нерешительность, желание себя выказать, сладострастие, мало fierté[1] и т. д.; все вот такие мелкие страстишки: в этот журнал я из дневника выношу свои преступления крестиками по графам.

Я стал раздеваться и думал: «Где же тут всестороннее образование и развитие способностей, добродетели, а разве этим путем дойдешь ты до добродетели? куда поведет тебя этот журнал, который служит тебе только указателем слабостей, которым конца нет, которые всякий день прибавляются и которыми, ежели бы ты даже уничтожил их, не достигнул бы добродетели? Ты только обманываешь себя и играешь этим, как дитя игрушкой. Разве достаточно какому-нибудь художнику знать те вещи, которых не нужно делать, чтобы быть художником? Разве можно отрицательно, удерживаясь только от вредного, достигнуть чего-нибудь полезного? Земледельцу не достаточно выполоть поле, надо вспахать и посеять его. Сделай себе правила добродетели и следуй им». Это говорила частица ума, которая занимается критикой.

Я задумался. Разве достаточно уничтожить причину зла, чтобы было добро? Добро положительно, а не отрицательно. Оттого именно и достаточно, что добро положительно, а зло отрицательно; зло можно уничтожить, а добро нет. Добро всегда в душе нашей, и душа добро; а зло привитое. Не будь зла, добро разовьется. Сравнение с земледельцем не годится; ему надо посеять и пахать, а в душе же добро уже посеяно. Художнику нужно упражняться, и он достигнет искусства, ежели он не будет сообразоваться с правилами отрицательными, но ему нужно [*1 неразобр.*] от произвола. Для упражнения в добродетели не нужно упражнения — упражнения: жизнь.

Холод — отсутствие тепла. Тьма — отсутствие света, зло — отсутствие добра. Отчего человек любит тепло,

[1] достоинства *(франц.)*.

свет, добро? Оттого, что они естественны. Есть причина тепла, света и добра — солнце, бог; но нет солнца холодного и темного, нет злого бога. Мы видим свет и лучи света, ищем причину и говорим, что есть солнце: нам доказывает это и свет, и тепло, и закон тяготения. Это в мире физическом. В моральном мире видим добро, видим лучи его, видим, что такой же закон тяготения добра к чему-то высшему и что источник — бог.

Сними грубую кору с бриллианта, в нем будет блеск; откинь оболочку слабостей, будет добродетель. Но неужели только одни эти мелочи, слабости, которые ты пишешь в журнале, мешают тебе быть добрым? нет ли больших страстей? И потом, откуда такое множество каждый день прибавляется: то *обман себя*, то *трусость* и т. д., прочного же нет исправления во многом никакого хода вперед. Это заметила опять [*2 неразобр.*].

Правда, все слабости, которые я написал, можно привести к трем разрядам, но так как каждая имеет много степеней, то комбинаций может быть без числа: 1) гордость, 2) слабость воли, 3) недостаток ума. Но нельзя все слабости относить отдельно к каждой, ибо они происходят от соединения. Первые два рода уменьшились, последняя, как независимая, может подвинуться только со временем. Например, нынче я солгал, как приметно было, без причины: меня звали обедать, я отказался, потом сказал, что не могу от того, что у меня урок. «Какой?» — «Английский язык», когда у меня была гимнастика. Причины: 1) мало ума, что вдруг не заметил, что глупо солгать, 2) мало твердости, что не сказал, почему, 3) гордость глупая, полагая, что аглицкий язык скорее может быть предлогом, чем гимнастика.

Разве добродетель состоит в том, чтобы исправляться от слабостей, которые тебе в жизни вредят, кажется, добродетель есть самоотвержение.— Неправда. Добродетель дает счастье потому, что счастье дает добродетель. Всякий раз, когда я пишу дневник откровенно, я не испытываю никакой досады на себя за слабости; мне кажется, что ежели я в них признался, то их уже нет.

Приятно. Я помолился и лег спать. Вечером я лучше молюсь, чем утром. Скорее понимаю, что говорю и даже чувствую; вечером я не боюсь себя, утром боюсь — много впереди. Прекрасная вещь сон во всех фазах: приготовление, засыпание и самый сон. Только что

я лег, и думал: какое наслаждение увернуться потеплее и сейчас забыться; но только что я стал засыпать, я вспомнил, что приятно засыпать, и очнулся. Все наслаждения тела уничтожаются сознанием. Не надо сознавать; но я сознал, что сознаю, и пошло, и пошло, и заснуть не могу. Фу, досада какая! Для чего дал нам бог сознание, когда оно только мешает жизни? Для того, что напротив моральные наслаждения глубже чувствуются, когда они сознаны. Рассуждая так, я повернулся на другую сторону и раскрылся. Какое неприятное чувство в темноте раскрыться. Все кажется: вот схватит меня кто-то или что-то или тронет холодным или горячим раскрытую ногу. Я поскорее закрылся, подвернул под себя со всех сторон одеяло, спрятал голову и стал засыпать, рассуждая вот как.

<«Морфей, прими меня в свои объятия». Это божество, которого я охотно бы сделался жрецом. А помнишь, как обиделась барыня, когда ей сказали: «Quand je suis passè chez vous, vous étiez encore dans les bras de Morphée» [1].

Она думала, что Морфей — Андрей, Малафей. Какое смешное имя!.. А славное выражение: dans les bras; я себе так ясно и изящно представляю положение dans les bras,— особенно же ясно самые bras — до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку. Как хороши руки вообще, особенно ямочка одна есть! Я потянулся. Помнишь, Saint-Thomas не велел вытягиваться. Он похож на Дидрихса. Верхом с ним ездили. Славная была травля, как подле станового Гельке атукнул и Налет ловил из-за всех, да еще по колот[и?]. Как Сережа злился. Он у сестры. Что за прелесть Маша — вот бы такую жену! Морфей на охоте хорош бы был, только нужно голому ездить, а то можно найти и жену. Пфу, как катит Saint-Thomas — и за всех на угонках уже барыня пошла; напрасно только вытягивается, а впрочем, это хорошо dans les bras. Тут, должно быть, я совсем заснул. Видел я, как хотел я догонять барыню, вдруг — гора, я ее руками толкал, толкал,— свалилась; (подушку сбросил) и приехал домой обедать. Не готово; отчего? Василий куражится (это за перегородкой хозяйка спрашивает, что за

[1] Когда я пришел к вам, вы были еще в объятиях Морфея *(франц.)*.

шум, и ей отвечает горничная девка, я это слушал, потому и это приснилось). Василий пришел, только что хотели все у него спросить, отчего не готово,— видят — Василий в камзоле, и лента через плечо; я испугался, стал на колени, плакал и целовал у него руки; мне было так же приятно, ежели бы я целовал руки у нее,— еще больше. Василий не обращал на меня внимания и спросил: «Заряжено?» Кондитер тульский Дидрихс говорит: «Готово!» — «Ну, стреляй!» Дали залп. (Ставня стукнула) — и пошли польской, я с Василием, который уже не Василий, а она. Вдруг — о ужас! — я замечаю, что у меня панталоны так коротки, что видны голые колени. Нельзя описать, как я страдал (раскрылись голые [колени?]; я их во сне долго не мог закрыть, наконец закрыл). Но тем не кончилось; идем мы польской, и королева Виртембергская тут; вдруг я пляшу казачка. Зачем? Не могу удержаться. Наконец принесли мне шинель, сапоги; еще хуже: панталон вовсе нет. Не может быть, чтобы это было наяву; верно, я сплю. Проснулся. Я засыпал — думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно картины, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления.>

Мне казалось, что теперь под этим одеялом никто и ничто меня достать не может. Сон есть такое положение человека, в котором он совершенно теряет сознание; но так [как] засыпает человек постепенно, то теряет он сознание тоже постепенно. Сознание есть то, что называется душою; но душою называют что-то единое, между тем как сознаний столько же, сколько отдельных частей, из которых слагается человек; мне кажется, что этих частей три: 1) ум, 2) чувство, 3) тело. 1) есть высшее, и это сознание есть принадлежность только людей развитых, животные и животноподобные люди не имеют его; оно первое засыпает; 2) сознание чувства, принадлежность тоже одних людей, засыпает после; 3) сознание тела засыпает последнее и редко совершенно. У животных этой постепенности нет; также и у людей, когда они в таком положении, что теряют сознание, после сильных впечатлений или пьяные. Сознание сна будит сейчас.

Воспоминание о времени, которое мы проводим во сне, не происходит из того же источника, из которого

происходят воспоминания о действительной жизни,— из памяти, как способности воспроизводить впечатления наши, но из способности группировать впечатления. В минуту пробуждения мы все те впечатления, которые имели во время засыпания и во время сна (почти никогда человек не спит совершенно), мы приводим к единству под влиянием того впечатления, которое содействовало пробуждению, которое происходит так же, как засыпание: постепенно, начиная с низшей способности до высшей. Эта операция происходит так быстро, что сознать ее слишком трудно, и привыкши к последовательности и к форме времени, в которой проявляется жизнь, мы принимаем эту совокупность впечатлений за воспоминание проведенного времени во сне. Каким образом объяснить то, что вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь, прицеливаетесь, стреляете, и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне. Или вы приезжаете к вашему приятелю N., ждете его, наконец, приходит человек и докладывает: N. приехал; это наяву вам говорит ваш человек, чтобы вас разбудить. Чтобы поверить справедливость этого, избави бог верить снам, которые вам рассказывают те, которые всегда что-нибудь видели, и видели что-нибудь значащее и интересное.

Эти люди от привычки выводить заключения из снов, на основании гадателей, дали себе форму известную, к которой они приводят все, добавляют из воображения недостающее и выкидывают все то, что не подходит под эту форму. Например, вам будет рассказывать мать, что она видела, как ее дочь улетела на небо и сказала: «Прощайте, маменька, я за вас буду молиться!» А она просто видела, что дочь ее лезла на крышу и ничего не говорила и что эта дочь, когда влезла наверх, сделалась вдруг поваром Иваном и сказала: «А вы не влезете».

А может быть, в воображении их по силе привычки [полно?] слагается то, что они рассказывают, и тогда это служит еще доказательством моей теории о сне...

Ежели хотите поверить, то на себе испытайте: вспомните ваши мысли, представления во время засыпания и просыпания и ежели кто-нибудь видел, как вы спали, и может рассказать вам все обстоятельства, которые

могли подействовать на вас, то вы поймете, отчего вы видели то, а не другое. Обстоятельств этих так много, зависящих от сложения, от желудка, от физических причин, что всех не перечтешь. Но говорят, что когда мы видим во сне, что мы летаем или плаваем, это значит: мы растем. Заметьте, отчего один день вы плаваете,— другой летаете; вспомните все, и очень легко объясните.

Ежели бы пришлось видеть мой сон кому-нибудь из тех, которые, как я говорил, привыкли толковать сны, вот как бы рассказан был мой сон. «Видела я, что St.-Thomas бегает, очень долго бегает, и я будто говорю ему: «Отчего вы бегаете?» — и он говорит мне: «Я ищу невесту». Ну вот посмотри, что он или женится, или будет от него письмо...»

Заметьте тоже, что постепенности во времени воспоминаниям нет. Ежели вы вспоминаете сон, то вы знаете, что вы видели прежде.

Во время ночи несколько раз (почти всегда) просыпаешься, но пробуждаются только два низшие сознания души: тело и чувство. После этого опять засыпает чувство и тело — впечатления же, которые были во время этого пробуждения, присоединяются к общему впечатлению сна, и без всякого порядка и последовательности. Ежели проснулось и 3-е, высшее, сознание понятия и после опять засыпаешь, то сон уже разделяется на две половины.

ЕЩЕ ДЕНЬ (НА ВОЛГЕ)

3 июня

Вздумал я из Саратова ехать до Астрахани по Волге. Во-первых, думал я, лучше же, ежели время будет не благоприятное, проехать долже, но не трястись еще 700 верст; притом — живописные берега Волги, мечтания, опасность: все это приятно и полезно может подействовать; воображал я себя поэтом, припоминал людей и героев, которые мне нравились, и ставил себя на их место,— одним словом, думал, как я всегда думаю, когда затеваю что-нибудь новое: вот теперь только начнется настоящая жизнь, а до сих пор это так, предисловьице, которым не стоило заниматься. Я знаю, что это вздор. Сколько раз я замечал, что всегда я остаюсь тот же и не больше пбэт на Волге, чем на Воронке, а все верю, все ищу, все дожидаюсь чего-то. Все кажется, ко-

гда я в раздумье, делать ли что-либо или нет: вот ты не сделаешь этого, не поедешь туда-то, а там-то и ждало счастье; теперь упустил навеки. Все кажется: вот начнется без меня. Хотя это смешно, но это заставило меня ехать по Волге в Астрахань. Я прежде боялся, и совестно мне было действовать по таким смешным поводам, но сколько я ни смотрел в прошедшую свою жизнь, я большей частью действовал по не менее смешным поводам. Не знаю, как другие, но я привык к этому, и для меня слова «мелочное, смешное» стали слова без смысла. Где же «крупные, серьезные» поводы?

Пошел я к Московскому перевозу и стал похаживать около лодок и дощаников. «Что, заняты эти лодки? Есть ли свободная?» — спросил я совокупности бурлаков, которые стояли у берега. «А вашей милости чего требуется?» — спросил у меня старик с длинной бородой, в сером зипуне и поярчатой шляпе. «До Астрахани лодку».— «Что ж, можно-с!»

МОЯ ЖИЗНЬ

5 мая 1878.— Я родился в Ясной Поляне, Тульской губернии, Крапивенского уезда, 1828 года 28 августа. Это первое и последнее замечание, которое я делаю о своей жизни не из своих воспоминаний. Через три месяца мне будет пятьдесят лет, и я думаю, что стою на зените своей жизни. Я буду описывать не мои соображения о том, что привело меня к тому и внешнему и душевному состоянию, в котором я нахожусь, а последовательно те впечатления, которые я пережил в эти пятьдесят лет. Я не буду делать догадок и предположений о том, как то и то действовало на меня и какое имело влияние, я буду описывать то, что я чувствовал, невольно избирая то, что оставило более сильные отпечатки в моей памяти.

Теперешнее свое положение, с точки которого я буду оглядывать и описывать свою жизнь, я избрал потому, что я нахожусь только теперь, не более, как год, в таком душевном состоянии спокойствия, ясности и твердости, в каком я до сего никогда в жизни не был.

Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны.

Другое воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную страшенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками. Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех, четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь стра-

шно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами. Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и $^1/_{100}$ того. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.

Следующие воспоминания мои относятся уже к четырем, пяти годам, но и тех очень немного, и ни одно из них не относится к жизни вне стен дома. Природа до пяти лет — не существует для меня. Все, что я помню, все происходит в постельке, в горнице, ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы не давали мне играть цветами, листьями, чтобы я не видал травы, чтобы не защищали меня от солнца, но лет до пяти-шести нет ни одного воспоминания из того, что мы называем природой. Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был природа.

Следующее за корытцем воспоминание есть воспоминание *Еремевны*. «Еремевна» было слово, которым нас, детей, пугали. И вероятно, уже давно пугали, но мое воспоминание о ней такое: я в постельке, и мне весело и хорошо, как и всегда, и я бы не помнил этого, но вдруг няня или кто-то из того, что составляло мою жизнь, что-то говорит новым для меня голосом и уходит, и мне делается, кроме того, что весело, еще и страшно. И я вспоминаю, что я не один, а кто-то еще такой же, как я (это, вероятно, моя годом младшая сестра Машенька, с которой наши кроватки стоят в одной комнатке), и вспоминаю, что есть положок у моей кроватки, и мы вместе с сестрою радуемся и пугаемся тому необыкновенному, что случилось с нами, и я прячусь

в подушки, и прячусь и выглядываю в дверь, из которой жду чего-то нового и веселого. И мы смеемся, и прячемся, и ждем. И вот является кто-то в платке и чепце, все так, как я никогда не видал, но я узнаю, что это — та самая, кто всегда со мной (няня или тетка, я не знаю), и эта кто-то говорит грубым голосом, который я узнаю, что-то страшное про дурных детей и про Еремевну. Я визжу от страха и радости и точно ужасаюсь и радуюсь, что мне страшно, и хочу, чтобы тот, кто меня пугает, не знал, что я узнал ее. Мы затихаем, но потом опять нарочно начинаем перешептываться, чтобы вызвать опять Еремевну.

Подобное воспоминанию Еремевны есть у меня другое, вероятно позднейшее по времени, потому что более ясное, но навсегда оставшееся для меня непонятным. В воспоминании этом играет главную роль немец Федор Иванович, наш учитель, но я знаю наверно, что еще я не нахожусь под его надзором, следовательно это происходит до пяти лет. И это первое мое впечатление Федор Ивановича. И происходит это так рано, что я еще никого — ни братьев, ни отца, никого не помню. Если и есть у меня представление о каком-нибудь отдельном лице, то только о сестре, и то только потому, что она одинаково со мной боялась Еремевны. С этим воспоминанием соединяется у меня тоже первое представление о том, что в доме у нас есть верхний этаж. Как я забрался туда, сам ли зашел, кто меня занес, я ничего не помню, но помню то, что нас много, мы все хороводом держимся рука за руку, в числе держащихся есть чужая женщина (почему-то мне помнится, что это прачка), и мы все начинаем вертеться и прыгать, и Федор Иванович прыгает, слишком высоко поднимая ноги и слишком шумно и громко, и я в одно и то же мгновение чувствую, что это нехорошо, развратно, и замечаю его и, кажется, начинаю плакать, и все кончается.

Вот все, что я помню до пятилетнего возраста. Ни своих нянь, теток, братьев, сестру, ни отца, ни комнат, ни игрушек, я ничего не помню. Воспоминания более определенные начинаются у меня с того времени, как меня перевели вниз к Федору Ивановичу и к старшим мальчикам.

При переводе моем вниз к Федору Ивановичу и мальчикам я испытал в первый раз и потому сильнее,

чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно, расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне, я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович, старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе, старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней, но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастие, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги, я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я все не верил, что это будет, хотя мне и говорили про то, что меня переведут к мальчикам, но, помню, халат с подтяжкой, пришитой к спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которую я не помнил прежде. Это была тетенька Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело.

1833—1834

Воспоминаний уже много. Вызывая одни другие, они встают в моем воображении.

Жизнь моя того года очевиднее, чем настоящая жизнь, слагается из двух сторон: одна — привычная, составляющая как бы продолжение прежней, не имевшей

начала, жизни, и другая, новая жизнь, то радующая своей новизной и притягивающая, то ужасающая, то отталкивающая, но все-таки притягивающая.

Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья, вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник, рукомойники, вода, то, что я говорю и слышу,— все только перемена сновидения. Я хотел сказать, что сновидения ночи более разнообразны, чем сновидения дня, но это несправедливо. Все так ново для меня и такое изобилие предметов, подлежащих моему наблюдению, что то, что я вижу, та сторона предмета, которую я вижу днем, так же необычайно нова для меня и странна, как и те сновидения, которые представляются мне ночью. И основой для тех и других видений служит одно и то же. Как ничего нового — не того, что я воспринял днем, я не могу видеть во сне, так и ничего нового я не могу видеть днем. Только иначе перемешивая впечатления, я узнаю новое. Одна разница. Сновидения сладки, спокойны, даже страх, ужас, горе сновидений имеют сладость и успокоение: я весь во власти чуждой силы, но я живу и предаюсь ей — нет борьбы, искания и раскаяния или угрозы раскаяния, а в своей маленькой жизни я уже чувствую ее. Нет тоже в сновидении ничего нового по сущности своей, ничего такого, что против воли моей влекло бы меня туда, куда я не хочу, таких образов, которые бы были злы и вместе с тем законны. Во сне нет ужасного, нелюбовного. Если есть ужасное, то оно просто ужасно, но оно не зло.

Впечатления дневной жизни того времени делились для меня на две стороны: привычное и новое. Привычное была вся семья.

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

1883. 20 октября. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому что боюсь сумасшедшего дома; боюсь, что там мне помешают делать мое сумас-

шедшее дело. Они признали меня подверженным аффектам, и еще что-то такое, но — в здравом уме; они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший. Доктор предписал мне лечение, уверяя меня, что если я буду строго следовать его предписаниям, то это пройдет. Все, что беспокоит меня, пройдет. О, что бы я дал, чтобы это прошло. Слишком мучительно. Расскажу по порядку, как и отчего оно взялось, это освидетельствование, как я сошел с ума и как выдал свое сумасшествие. До тридцати пяти лет я жил как все, и ничего за мной заметно не было. Нешто только в первом детстве, до десяти лет, было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе. А именно вот так.

Помню, раз я ложился спать, мне было пять или шесть лет. Няня Евпраксия — высокая, худая, в коричневом платье, с чаплыжкой на голове и с отвисшей кожей под бородой, раздела меня и посадила в кровать.

— Я сам, я сам,— заговорил я и перешагнул через перильца.

— Ну ложитесь, ложитесь, Феденька,— вон Митя, умник, уже легли,— сказала она, показывая головой на брата.

Я прыгнул в кровать, все держа ее руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал: «Я люблю няню, няня любит меня и Митеньку, а я люблю Митеньку, а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня, и папу, и все любят, и всем хорошо». И вдруг я слышу, вбегает экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, она не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяла мне не легчает. Я вспоминаю, как при мне раз били мальчика, как он кричал и какое страшное лицо было у Фоки, когда он его бил.

— А не будешь, не будешь,— приговаривал он и все бил. Мальчик сказал: «Не буду». А тот приговаривал «не будешь» и все бил. И тут на меня нашло. Я стал ры-

дать, рыдать. И долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы сказали:

— Расскажи еще про Иисуса Христа.

— Нет, теперь некогда.

— Нет, расскажи,— и Митенька просил рассказать. И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде. Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их.

— Тетя, за что же его мучили?

— Злые люди были.

— Да ведь он был добрый.

— Ну будет, уже девятый час. Слышите?

— За что они его били? Он простил, да за что они били. Больно было. Тетя, больно ему было?

— Ну будет, я пойду чай пить.

— А может быть, это неправда, его не били.

— Ну будет.

— Нет, нет, не уходи.

И на меня опять нашло, рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену.

Так это находило на меня в детстве. Но с четырнадцати лет, с тех пор как проснулась во мне половая страсть и я отдался пороку, все это прошло, и я был мальчик, как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной излишней пище, изнеженные, без физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности, и в среде таких же испорченных детей, мальчики моего возраста научили меня пороку, и я отдался ему. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин и так, ища наслаждений и находя их, я жил до тридцати пяти лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумасшествия. Эти двадцать лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню и вспоминаю теперь с трудом и омерзением.

Как все мальчики моего круга умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился и жил в деревне, как говорится, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. На десятом го-

ду моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства.

Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили купить именье. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес с именья покрыл бы покупку, и я бы получил именье даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Именье с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак и леса окупят ценность имения. Я собрался и поехал. Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугою), потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было двести с чем-то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. И как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный,— кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду? Куда я еду?» — пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся, я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Всё ему было хорошо и весело, а мне всё было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидеть людей, напиться чаю, а главное, заснуть легче будет. Мы подъезжали к городу Арзамасу.

— А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?

— Что ж, отлично.

— Что, далеко еще до города?

— От той версты семь.

Ямщик был степенный, аккуратный и молчаливый. Он и ехал не скоро и скучно. Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Ехали, ехали в темноте, ужасно мне казалось долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь, как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие белые. И все это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха — лечь. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку. Сергей бойко, живо вытаскивал что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел, был коридорчик, заспанный человек с пятном на щеке, пятно это мне показалось ужасным, показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, еще жутче мне стало.

— Нет ли комнатки, отдохнуть бы?

— Есть нумерок. Он самый.

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой,— красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? — Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучи-

ло меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость,— сказал я себе.— Чего я тоскую, чего боюсь».— «Меня,— неслышно отвечал голос смерти.— Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотрел на спящих, еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи помилуй, отче наш, богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил

Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь.

К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборол ее; но в душе был страшный осадок: точно случилось со мной какое-то несчастие, и я только мог на время забывать его; но оно было там на дне души и владело мной.

Мы приехали вечером. Старичок-управляющий хотя не радостно (ему досадно было, что продается именье), но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью. Новый блестящий самовар. Крупная чайная посуда, мед к чаю. Все было хорошо. Но я, как старый забытый урок, неохотно спрашивал его об именье. Все невесело было. Ночь, однако, я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился. И потом начал жить по-прежнему; но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить, как ученик по привычке не думая сказывает выученный наизусть урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски. Домой я вернулся благополучно, именья не купил, денег недостало, и начал жить по-прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это и бранила и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома. Но раз я поехал неожиданно в Москву. Днем собрался, вечером поехал. Было дело о процессе. Я приехал в Москву весело. Дорогой разговорились с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на Московском подворье, на Мясницкой, и нынче же поехать в «Фауста». Приехали, я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка-коридорная зажгла

свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул кто-то — верно, старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь»,—подумал я.

— Развяжи, пожалуйста, голубчик,— сказал я дворнику, чтоб задержать его. «Оденусь поскорей, и в театр».

Дворник развязал.

— Пожалуйста, голубчик, зайди к барину в восьмой номер, со мной приехал, скажи, что я сейчас готов и приду к нему.

Дворник вышел, я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор,— подумал я,— чего я боюсь, точно дитя. Привидений я не боюсь. Да, привидений... лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь.— Чего? — Ничего... Себя... Ну вздор». Я, однако, надел жесткую, холодную крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сертук, новые ботинки и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в «Фауста». Он еще заехал завиться. Я обстригся у француза, поболтал с французом, купил перчатки, все было хорошо. Я забыл совсем номер продолговатый и перегородку. В театре было тоже приятно. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но когда мы вышли из театра и он предложил мне это, я вспомнил о перегородке и согласился.

Во втором часу мы вернулись домой. Я выпил непривычные два стакана вина; но был весел. Но только что мы вошли в коридор с завернутой лампой и меня охватил запах гостиницы, холод ужаса пробежал мне по спине. Но делать было нечего. Я пожал руку товарищу и вошел в номер.

Я провел ужасную ночь, хуже арзамасской, только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул, и не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. «Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь.

Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть». Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал. На минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? Говорят: не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился, опять как в Арзамасе; но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. «Если ты есть, открой мне: зачем, что я такое?» Я кланялся, читал все молитвы, которые знал, сочинял свои и прибавлял: «Так открой же». И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один, сам с собой. И я давал себе ответы заместо того, кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мученье? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы ты был, ты бы сказал мне, людям. А нет тебя, есть одно отчаяние. А я не хочу, не хочу его. Я возмутился. Я просил его открыть мне истину, открыть мне себя. Я делал всё, что все делают, но он не открывался. Просите, и дастся вам, вспомнилось мне, и я просил. И в этом прошении я находил не утешение, а отдохновение. Может быть, я не просил, я отказался от него. «Ты на пядень, а он от тебя на сажень». Я не верил в него, но просил, и он все-таки не открыл мне ничего. Я считался с ним и осуждал его, просто не верил.

•

На другой день я все силы употребил, чтобы покончить обыденкой все дела и избавиться от ночи и в номере. Я не кончил всего и вернулся домой в ночь. Тоски не было. Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, начавшую изменяться с Арзамаса. Я еще меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о боге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне. Я старался не давать ходу этому вопросу и в привычных условиях старался наполнять жизнь. Я ходил в церковь по воскресеньям и праздникам, я говел,

постился даже, как я это завел с поездки в Пензу, и молился, но больше как обычай. Я не ждал ничего от этого, как бы не разрывал векселя и протестовал его в сроки, несмотря на то, что знал невозможность получить по векселю. Делал это только на всякий случай. Жизнь же свою я наполнял не хозяйством, оно отталкивало меня своей борьбой — энергии не было,— а чтением журналов, газет, романов, картами по маленькой, и единственное проявление моей энергии была охота по старой привычке. Я всю жизнь был охотник. Раз приехал зимой сосед-охотник с гончими на волков. Я поехал с ним. На месте мы стали на лыжи и пошли на место. Охота была неудачна, волки прорвались сквозь облаву. Я услыхал это издалека и пошел по лесу следить свежий заячий след. Следы увели меня далеко на поляну. На поляне я нашел его. Он вскочил так, что я не видал. Я пошел назад. Пошел назад крупным лесом. Снег был глубок, лыжи вязли, сучки путались. Все глуше и глуше стало. Я стал спрашивать, где я, снег изменял все. И я вдруг почувствовал, что я потерялся. До дома, до охотников далеко, ничего не слыхать. Я устал, весь в поту. Остановиться — замерзнешь. Идти — силы слабеют. Я покричал, все тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад. Опять не то. Я поглядел. Кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я опять пошел назад. Ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощенья и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги все так же дрожали и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников, мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня есть что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. Так и случилось. Я остался один в своем кабинете и стал молиться, прося прощенья и вспоминая свои грехи. Их мне казалось мало. Но я вспомнил их, и они мне гадки стали.

С тех пор я начал читать Священное писание. Библия была мне непонятна, соблазнительна, Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал жития святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как, что было то, я не знал, но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас очень выгодно именье. Я поехал, все было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были задаром за пастьбу убирать поля помещика, так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой и, когда стал рассказывать жене о выгодах именья, вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого именья, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главное, истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди — братья, сыны Отца, как сказано в Евангелии. Вдруг как что-то давно щемившее меня оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня. А мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти и страха, и нет во мне больше прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего. Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне. Тут же на паперти я роздал, что у меня было, тридцать шесть рублей, нищим и пошел домой пешком, разговаривая с народом.

J.H.T.

ВОСПОМИНАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.

В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,—
В то время для меня вдачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк *печальных*... поставил бы: строк *постыдных не смываю.*

Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:

«6 янв. 1903 г.

Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастие, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание,— сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: x = положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастие — уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».

Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна,— таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, кото-

рые я делал, я увидал, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное,— похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение.

Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.

Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это, так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло не-

складное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern'a (его «Sentimental journey») и Töpfer'a («Bibliothèque de mon oncle») [1].

В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным,— мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное — полезнее другим людям.

I

Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было $1\frac{1}{2}$ года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому: потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю — не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.

Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица — от отца до кучеров — представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства; и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского,— которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно,— четыре языка: французский, немецкий,

[1] Стерна («Сентиментальное путешествие») и Тёпфера («Библиотека моего дяди») (*англ. и франц.*).

английский и итальянский,— и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет,— рассказывала мне ее горничная,— но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата — равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.

В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем,— я хорошо знал это.

Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие.

Ту же черту я замечаю в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением нешто Тат. Алекс. Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.

Кроме того, у обоих была еще другая черта, обусловливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей,— это то, что они никогда, именно никогда никого,— это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни,— никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.

В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало,— это коротенькое житие одного монаха, имевшего, заведомо всей братии, много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил, чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: «Он никогда не осудил никого».

Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.

Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д.— были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.

Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «Ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'être auprès de toi...» [1] и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: «mon bon ami» [2], и в одном из писем прямо говорит: «Le temps me paraît long sans toi, quoiqu'à dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici» [3], и всегда подписывается одинаково: «ta devouée Marie» [4].

Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.

II

Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...».

---

[1] Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастии быть около тебя *(франц.)*.

[2] мой добрый друг *(франц.)*.

[3] Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь *(франц.)*.

[4] преданная тебе Мария *(франц.)*.

За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.

Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года.

Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства.

Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, по-

лучившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старые князья разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной — кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, 4-му сыну, дано в память этого Льва. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: mon petit Benjamin [1].

Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящие же ее любви, как я понимаю, были три или, может быть, четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой m-elle Hénissienne, про которую я слышал от тетушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. M-lle Hénissienne эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Волхонского, деда теперешнего писателя Волхонского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой m-elle Hénissienne. Пишет она про свою дружбу по случаю дружбы двух девиц, живших у нее в доме: «Je m'arrange très bien avec toutes les deux: je fais de la musique, je ris et je folâtre avec l'une et je parle sentiment, ou je médis du monde frivole avec l'autre, je suis aimée à la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les con-

[1] мой маленький Вениамин *(франц.)*.

cilie, quand elles sont brouillées, car il n'y eut jamais d'amitié plus querelleuse et plus drôle à voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des réconciliations, des injures, et puis des transports d'amitié exaltée et romanesque. Enfin j'y vois comme dans un miroir l'amitié qui a animé et troublé ma vie pendant quelques années. Je les regarde avec un sentiment indéfinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disant le franchement, le bonheur solide et réel de l'âge mûr vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, où tout est embelli par la toute puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage» [1].

Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство было ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем,— это то, что он «задумывается» и вместо bonsoir [2] или bonjour [3] говорит бабушке: «Je vous remercie» [4].

Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая лю-

---

[1] Мне хорошо с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурю с одной, говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой, любима до безумия обеими, пользуюсь доверием каждой, я их мирю, когда они ссорятся, так как не было дружбы более бранчливой и более смешной на вид, чем их дружба. Постоянные неудовольствия, плач, утешения, брань и затем порывы дружбы, восторженной и чувствительной. Так я вижу, как бы в зеркале, дружбу, которая одушевляла и смущала меня в продолжение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, прочное и действительное счастье зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всемогуществом воображения? А иногда я усмехаюсь их ребячеству *(франц.)*.

[2] добрый вечер *(франц.)*.

[3] здравствуйте *(франц.)*.

[4] Благодарю вас *(франц.)*.

бовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки.

Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении.

Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне.

Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца; учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве».

Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я — меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери,— кажется, не больше 9 лет,— была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещал Ясной Поляны. Жизнь матери проходила в занятиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как «Эмиль» Руссо, для себя и рассуждениях о читанном, в игре на фортепияно, в преподавании итальянского одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве. Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно, беззаботно, без напоминания о конце. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны.

Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи.

III

Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню.

Не буду говорить о смутных младенческих, неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню, с того места и тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.

Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Илинька был ушиблен в детстве, стал горбатым и умер в детстве. В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13—14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж. Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало быть, лет 16-ти, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.

После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе — это видно по письмам,— вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой

дед был губернатором. В Казани же была выдана сестра отца Пелагея Ильинична за Юшкова. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он приехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.

Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами.

Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее добр и слаб. Так что и за его время я никогда не слыхал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, и он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитывавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня. Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело уже было совершено.

Возвращаюсь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хо-

зяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома. Кроме того, уезжал он часто и для охоты — и для ружейной и для псовой. Главными товарищами его по охоте были его приятель, старый холостяк и богач Киреевский, Языков, Глебов, Исленьев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков — пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята и лихие охотники. Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и естественноисторических сочинениях — Бюфон, Кювье. Тетушки говорили мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но, хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти Histoires des croisades et des papes [1], которые он приобретал в библиотеку. Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованья людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. В одном письме из Москвы к матери он пишет в своем шуточном тоне про Юшкова Осипа Ивановича, брата своего зятя: «Осип Иванович воображает, потому что шталмейстер. Но я ни крошечки не боюсь его. У меня есть свой шталмейстер». Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного досто-

[1] Истории крестовых походов и пап *(франц.)*.

инства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.

Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю»: «Прощай, свободная стихия...» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек...» и т. д. Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сертук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в Графе Нулине. Помню, как мы с ним ходили гулять и как увязавшиеся за нами молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как для охотничьего праздника, 1-го сентября, мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее и где-то — мы не видели — борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли состругенного, большого, с связанными ногами, серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз струнку. Наконец развязали

на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «Пущай». Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять. Но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и сердито махал рукой, возвращаясь домой.

Самые же приятные мои воспоминания о нем — это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладыванья пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка, с своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом, на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами и прядет и стукает клубком изредка об стену, где она уже сделала клубком выемку. Петровна эта — торговка, почему-то полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной на диване. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит черно-пегая хортая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушкой и тетушками, целуясь рука в руку. Помню, раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то.

Мы все смотрим туда же.

Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру.

Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает — радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую жилистую руку.

Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер.

Но об этом после. Теперь о следующих членах нашей семьи, среди которых прошло мое детство.

IV

Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная — она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная — сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном — женщина. Кроме того, как дочь старшего в роде. она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Николая Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Дмитрия Петровича — Петра, Сергея и Михаила Севастопольского. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное — доверчивый. В имении его Белевского уезда, Полянах,— не Ясной Поляне, но Полянах,— шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупами,— кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения. В Казани бабушка выдала меньшую дочь Пелагею за Юшкова, старшая, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.

Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами, любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но

с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая» и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой капризничать бабушки и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею.

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею, впечатлениям. Первое — это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней,— вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее,— чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки, и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание — это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как щелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце — соедини-

лись в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание — это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я зазнал его), остаток старинного барства, барства деда.

Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сертуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степаныча: «Продолжать прикажете?» — «Да, продолжайте».— «Любезная сестрица, сказала она,— заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом,— расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать».— «Охотно,— отвечала Шехерезада,— рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Сте-

паныч говорить историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучавшие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампады.

Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка. Расскажу после о моих дальнейших впечатлениях о бабушке во время переезда в Москву и жизни там, теперь же расскажу, что знаю и помню о другом важном для моего детства лице — жившей у нас родной тетке моей Александре Ильиничне графине Остен-Сакен.

V

Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакена. Партия, казалась, очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете.

Скоро после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единствен-

ное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась.

Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера. На беду на проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетки скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навылет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была не тяжелая. В то время как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившийся, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык, и когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его.

С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ре-

бенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка — Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но, когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки.

Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца и потом после смерти отца была нашей опекуншей, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыни.

Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас в доме.

Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно про-

исходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах.

Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами.

Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как она добродушно смеялась, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Aline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей, но все, что она делала, не поглощало ее души, все было подчинено служéнию богу, как она понимала это служение.

VI

Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу

в Черноском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билетики, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая — бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. «Я сделаю»,— сказала она. «Не сделаешь»,— сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке»,— сказал он. Она вытянула белую руку,— тогда девочки ходили всегда декольте,— и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «Toinette, oh, elle était charmante»[1]. Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.

Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же

[1] Туаннета, о, она была очаровательна *(франц.)*.

она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери записка:

«16 Août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition — celle de l'épouser, de servir de mère à ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la première proposition, j'ai promis de remplir l'autre — tant que je vivrai» [1].

Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.

Она была воспитана барышней богатого дома — говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрогивалась до фортепьяно. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные — крепостные и обращалась с ними, как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе — любовь к одному человеку — к моему отцу.

[1] 16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива *(франц.)*.

Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас, но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь ее от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: «Вот что, mes chers amis [1], комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней,— сказала она дрожащим голосом,— вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее.

Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холо-

[1] мои дорогие друзья *(франц.)*.

стой жизни с ней в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием.

Комната ее была такая: в левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее, в правом — кивот с иконами и большим, в серебряной ризе, спасителем; посередине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной и другой диван, на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на этом кресле по вечерам.

Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой матерьяльной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознавании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда добрые, ласковые, перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то.

Тогда можно было сказать: «Wer darauf sitzt, der ist glücklich, und der glückliche bin ich» [1]. И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я — ее милую, энергическую, она — мою грязную, порочную руку, поздороваешься тоже по старой привычке по-французски, пошутишь с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью. Сижу на кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разго-

[1] Кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливец этот—я *(нем.)*.

вору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетенька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свече означает гостя, поднимает брови и говорит, как дело, давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворне, про которую рассказывала ей Дунечка, потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит если не больше, то так же, как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, а грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы — всё воспоминания. Главные два свойства ее жизни, которые невольно заражали меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, упрек, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетушку, родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее, не осуждая и мужа сестры, очень дурно поступавшего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства о нем было то, что, когда он долго не приезжал, она говаривала. «Что-то наш Сергеиус?» Только вместо Сережи — Сергеиус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела — и не дела — дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью.

Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не

нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовность и неторопливость — незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат — вечных мучений: «Dieu qui est la bonté même ne peut pas vouloir nos souffrances» [1]. Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощанья на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву.

«Заходи, заходи,— скажет она, бывало.— А я только что говорю Наталье Петровне, что Nicolas зайдет еще к нам». Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединялось в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьими ножками в туфлях, и в таком же неглиже Наталья Петровна. «Садись, садись, пасьянс сделаем»,— говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сиденья мне особенно мило памятны. Бывало, скажет что-нибудь смешное Наталья Петровна или я, и она добродушно рассмеется, и тотчас же рассмеется и Наталья Петровна, и обе старушки долго смеются, сами не зная чему, а как дети, только потому, что они всех любят и их все любят и им хорошо.

Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была та атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.

Я еще буду, если придется рассказать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выразив-

[1] Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (*франц.*).

шееся во время ее похорон. Когда мы несли ее по деревне, не было одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и требовали остановки и панихиды. «Добрая была барыня, никому зла не сделала»,— говорили все. И ее любили и сильно любили за это. Лаодзе говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Также и жизнь: главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетеньки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.

Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Nicolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.

И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад, и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать от себя немножко денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait [1] не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет.

VII

Немца нашего учителя Фед. Ив. Рёсселя я описал, как умел подробно, в «Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты — все это действительно так было. Про братьев и сестру я расскажу, если удастся, описывая мое детство. Но, кроме братьев и сестры, с 5-летнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темешова, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве: мужа тетки, Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца С. И. Языко-

[1] Если бы юность знала, если бы старость могла *(франц.)*.

ва, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих двух и соседей, Огарева и Исленьева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темешов, называвший отца братцем и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостиками, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темешов, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.

Кроме того, Темешов был нам, детям, памятен еще тем, что он играл в зале на фортепиано какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку. Когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.

Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась о пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях,— это был Темешов. Что сказал Темешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка, моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим подбородком, как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.

Появление в нашем доме Дунечки связывалось с сложной имущественной сделкой между отцом и Темешовым. Сделка эта была вот какая.

Темешов был очень богат, законных детей у него не было. А было только две дочери: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной его, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницами Темешова были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, он желал передать отцу с тем, чтобы ценность имения, 300 тысяч (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше), отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темешов делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300 тысяч, отец же давал векселя трем посторонним лицам — Исленьеву, Языкову и Глебову по сто тысяч каждый. В случае смерти Темешова отец получал имение и, объяснив Глебову, Исленьеву и Языкову, с какой целью даны были на их имя векселя, выплачивал 300 тысяч: которые должны были идти двум девочкам.

Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что именье Пирогово перешло к нам после смерти отца и что были три векселя на имена Исленьева, Глебова и Языкова, что опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам, Языков же присвоил себе эти не принадлежавшие ему деньги. Но об этом после.

Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по 5 лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней то, что, когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом, не глядя на нас, сказал: что съел — это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть.

Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно плюнула, а Митенька так широко раскрыл рот, что проглотил цепоч-

ку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.

Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений.

VIII

Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что я не помню этой связи и последовательности душевных состояний. Описывая же, как я делал до сих пор, отдельные лица, среди которых проходило мое детство, я не знаю, где остановиться в описании судьбы этих лиц: остановиться там, где кончается мое детство, не хочется, потому что, может быть, не придется уже вернуться к этим лицам, а лица эти интересны, продолжать же описание жизни этих лиц дальше моего детства, будет неясно для читателя, потеряна связь рассказа.

Буду продолжать, как придется. Едва ли успею написать всю свою жизнь, даже наверно не успею, и потому буду писать, как придется, без поправок. Все лучше, чем ничего, для тех, которым может быть интересна моя жизнь, и для меня, переживающего и испытывающего много хорошего в этом переживании.

Итак, продолжаю, как хотел: описывая сначала тех ближайших людей прислуги, которые оставили во мне всю добрую память, а потом сестру и братьев. Когда кончу эти описания, поведу уже рассказ по времени, хотя и несвязно, урывками, о том, что помню из сильнейших своих впечатлений, что прежде, что после. Итак, о прислуге: 1) Прасковья Исаевна, 2) няня Татьяна Филипповна, 3) Анна Ивановна, 4) Евпраксея. Мужчины: 1) Николай Дмитрич, 2) Фока Демидыч, 3) Аким, 4) Тарас, 5) Петр Семеныч [?], 6) Пимен, 7) камердинеры: Володя, 8) Петруша, 9) Матюша, 10) Василий Трубецкой, 11) кучер Николай Филипыч, 12) Тихон.

Прасковью Исаевну я довольно верно описал в «Детстве». Все, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено — дом был боль-

шой, 42 комнаты. Прасковья Исаевна была почтенная особа — экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в ее комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умиленной откровенности. «Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?» — кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.

— Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал-а́ншеф был,— ответит она и, открывая шкап, достает смолку, которую она называла очаковским кореньем. По ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку об лампадку у икон и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом.

Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в «Детстве», она еще другой раз обидела меня. В числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только что встали и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна с своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завернутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее, и из блюдечка с деревянным маслом, в которое обмакивалась костяная трубочка. Увидев меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тетенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И, несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мной.

Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее потому, что она с Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной старины жизни дедушки с Очаковым и курением.

Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел ее. Ей, говорили, что было 100 лет,

и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.

Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки, которую я почти не помню именно потому, что я сознавал себя не иначе, как с Аннушкой. И как я себя не смотрел и не помню себя, какой я был, так не помню и Аннушку. Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с ее шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик, как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.

Няню Татьяну Филипповну я помню потому, что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сын и Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.

Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.

Обрываю начатое описание слуг по порядку. Это показалось мне скучно и не выходит. Буду описывать свою жизнь, вспоминая, сколько могу, назад.

Да, но прежде скажу хоть несколько слов о камердинерах и Тихоне.

В старину у всех бар, особенно у охотников, были любимцы. Такие были у моего отца два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, сильные, ловкие охотники. Оба они были отпущены на волю и получили всякого рода преимущества и подарки от отца. Когда отец мой скоропостижно умер, было подозрение,

что эти люди отравили его. Повод к этому подозрению подало то, что у отца были похищены все бывшие с ним деньги и бумаги, и бумаги только — векселя и другие — были подкинуты в московский дом через нищую. Не думаю, чтобы это была правда, но было возможно и это. Бывали часто такие случаи, именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства вдруг получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей. Трудно представить себе весь тот переход от полного рабства не только к свободе, но к огромной власти. Не знаю уж, как и отчего, но знаю, что это бывало, и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди, не могущие удовлетвориться тем, что получили, а естественно хотевшие подниматься все выше и выше. Я этого, разумеется, не понимал, и мне они просто нравились — особенно Петруша, своей ловкостью, силой, мужественной красотой, чистотой одежды и ласковостью к нам, детям, и ко мне особенно. Я всегда просто любовался ими, видел в них особенных людей. Большое уважение к ним вызывали во мне те фарфоровые и деревянные крашеные куколки людей, собак, кошек, обезьян, которые стояли у них на окнах, в комнатах нижнего этажа, в которых они жили. Проходя мимо них, мы всегда с уважением смотрели на этих кукол. Это казалось мне чем-то особенным и важным. Оба они были холостые, и оба были нелюбимы дворней.

Тихон-официант, тот, который таскал табак и которого мы очень любили, был человек совсем другого склада. Это был маленький, узенький человечек, весь бритый, с длинным, как это часто бывает у актеров-комиков, промежутком между носом и твердо сложенным ртом и подвижным лбом и бровями над веселыми, серыми глазками. Он был у дедушки в оркестре флейтистом. Его обязанности в доме состояли в уборке парадных комнат и в служении за столом. Он был природный актер. Ему, очевидно, самому доставляло удовольствие представлять что попало и делать комические гримасы, которые приводили нас, детей, в восхищение. Все всегда над ним смеялись. И про него ходили между дворней рассказы о том, как он в похождении на деревне попал в пехтерь. По утрам он в чулках и куртке с венчиком из прудового тростника убирал комнаты, днем сидел в передней и вязал чулки.

(Сюда следуют мои первые воспоминания, напечатанные в 12 томе 10-го изд., стр. 447.)

Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Вступая в жизнь, мы в детстве чувствуем, сознаем всю ее удивительную таинственность, знаем, что жизнь не только то, что дают нам наши чувства, а потом стирается это истинное предчувствие или послечувствие всей глубины жизни. Да, удивительное было время. Вот мы кончили уроки, кончили прогулку и приведены в гостиную, чтобы идти к обеду. Гостиная — диван, большой, круглый, красного дерева стол, под прямым углом к столу по четыре кресла. Напротив дивана балко[нная] дверь и в простенках между ней и высокими окнами два зеркала в резных золоченых рамах. Бабушка сидит на левой стороне дивана с [*1 неразобр.*] и золотой табакеркой в чепце с рюшей. Тетушки Александра Ильинишна, Татьяна Александровна, Пашенька, Маш[енька], дочь с своей крестной матерью Марьей Герасимовной (*про которую сейчас расскажу*), Федор Иваныч, все собрались, ждут папеньку из кабинета. Вот он выходит бодрым быстрым шагом, с своей сангвинической красной шеей, мягких без каблуков сапог, добрыми красивыми глазами и грациозно мужественными движениями. Иногда он выходит с трубкой в руке, отдает ее лакею. Он выходит и подсаживается к бабушке, целуя ее руку и что-нибудь шутя с нами, тетушками или Федором Иванычем.

— Что ж не дают обедать? — крикнет он своим бодрым и ласковым голосом. Из официантской выходит кто-нибудь из его камердинеров-охотников: Володя, Матюша, Петруша (про них тоже надо рассказать).

— Сейчас подают.

И действительно, в огромно высокую дверь (темно-красную, подмалеванную, двери такие и остались) входит в синем сертуке с высокими со сборками плечами дворецкий, бывшая вторая скрипка в оркестре дедушки, Фока Демидыч, с своими сходящимися поднятыми бровями и с очевидной гордостью и торжественностью объявляет:

— Кушанье поставлено.

Все поднимаются, отец подает руку бабушке, за ними следуют тетушки, Пашенька, мы с Федором Иваны-

чем и кто-нибудь из живущих и Марья Герасимовна. Я подхожу (я помню это, как всегда помнится почему-то ярко один момент) с левой стороны к отцу, рука его касается моих волос, шеи, я люблю эту белую руку с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони и держу, и не смею, и, наконец, целую; рука пожимает мне щеку, и я умиленно счастлив. Проходим официантскую площадку перед лестницей и входим в большую залу. Почти за каждым стулом стоят лакеи с тарелками, которые они держат в левой руке у левой стороны груди. Если есть гости, то их лакеи всегда стоят за их стульями и служат им. На столе, покрытом работы своих ткачей грубоватой скатертью, графины с водой, кружки с квасом, ложки серебряные старые, ножи и вилки железные с деревянными ручками, стаканы самые простые, тонкие. Суп разливают в буфете, лакеи разносят к супу пирожки. Но нам не дают почему-то пирожков, и камердинер Петруша, особенно расположенный ко мне, потихоньку подсовывает мне пирожок. Как удивительно вкусен этот пирожок! За обедом, впрочем, все удовольствие, все радостно, все вкусно, все весело. Трудно только сидеть неподвижно, и если не позволяется шевелить верхней частью тела, то замещаешь это тем, что болтаешь усиленно под столом недостающими до полу толстыми ножонками в белых нитяных чулках, сделанными своим глухим Алексеем-сапожником башмаками. Все вкусно, кроме иногда застрявшего во рту куска жилистой говядины, который мнешь, мнешь и, пока большие заняты разговорами, выплюнешь в маленькую ладонь и бросишь под стол. Вкусна каша, вкусен картофель печеный, репа, вкусны куры с огурцами и, главное, вкусно пирожное, всякое пирожное, оладьи, молочная лапша, хворостики, творог со сметаной. Весело слушать иногда разговоры старших, когда понимаешь их, и переговариваться с братьями о наших, одним нам интересных, предметах, и особенно весело смотреть на Тихона. Тихон — это бывшая флейта в оркестре дедушки, маленький веселый человечек с удивительным, как нам казалось, талантом комизма. Он стоит, бывало, за бабушкой или за отцом, вдруг, вытянув свои длинные бритые губы, взмахнет тарелкой и сделает комическую выкрутасу. Мы засмеемся. Кто-нибудь из больших оглянется, и Тихон стоит, как статуя, замерев в непо-

движной позе с тарелкой у груди. Бывает за обедом и еще удовольствие, когда на меня обращают внимание и выставляют перед публикой мое искусство составлять шарады.

— Ну-ка, Левка-пузырь (меня так звали, я был очень толстый ребенок), отличись новой шарадой! — говорит отец.

И я отличаюсь шарадой в таком роде: мое первое — буква, второе — птица, а все — маленький домик. Это б — утка — будка. Пока я говорю, на меня смотрят и улыбаются, и я знаю, чувствую, что эти улыбки не значат то, что есть что-нибудь смешного во мне или моих речах, а значит то, что смотрящие на меня любят меня. Я чувствую это, и мне восторженно радостно на душе.

Обед кончается. Отцу подают закуренную трубку, он идет к себе, бабушка в гостиную, мы вниз, и начинается рисованье. Иногда приходит отец, говорит с Федором Иванычем по-немецки, удивляя нас своим выговором. Он говорит правильно: Sie — зи, ganz — ганц, а мы по-саксонски, как Федор Иваныч — си и янц, и с недоверием слушаем выговор отца. Он иногда рисует нам. Потом идем прощаться с бабушкой, тетушками, Николай Дмитрич, наш дядька, собирает наше платье, перевешивает на руку и желает нам покойной ночи и приятного сна. Иногда мы не спим и переговариваемся до тех пор, пока входит в темноте Федор Иваныч, высекает огонь, зажигает серничек синим огнем, потом свечку, ложится на свою постель с высокими подушками, тушит свечку, и я засыпаю.

БРАТЬЯ

Начну с младших. Митенька одним годом старше меня.

Нет еще. Не могу перейти к братьям. Надо упомянуть о буфетчике Василье Трубецком. Это был милый, ласковый человек, очевидно любивший детей и потому любивший нас, особенно Сережу, того самого, у которого он потом и служил и помер. Помню добрую кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки и сажал на поднос (это было одним из больших удовольствий: «И меня! теперь меня!»)

и носил по буфету, таинственному для нас месту, с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его отъезд в Щербачевку, курское именье, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было (отъезд Василия Трубецкого) на святках, в то время, как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в *«пошел рублик»*. Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру на скрипке старика Григорья, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженые были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки — мужчины и мужики — бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженые и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с каменьями и кисейные полотенца, вышитые серебром и золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами. В одну из святок в моем первом детстве во время святок приехали к нам все Исленьевы ряженые: отец, дед моей жены, три его сына и три дочери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет, был сапог, картонный паяц и еще что-то. Исленьевы, приехав за 40 верст, переоделись на деревне, и, войдя в залу, Исленьев сел за фортепьяно и пропел сочиненные им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие:

С Новым годом вас поздравить
Мы приехали сюда;
Коль удастся позабавить,
Будем счастливы тогда.

Это было все очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее было дворовые.

Такие увеселения происходили первые дни рождества и под Новый год, иногда и после, до крещенья. Но

после Нового года уже приходило мало народа, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачевку. Помню, в углу почти неосвещенной залы мы сидели кружком на домодельных, под красное дерево, с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая: «пошел рублик, пошел рублик». Помню, одна дворовая особенно приятным и верным голосом выводила все те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то особенно застегнутый, без подноса и посуды прошел через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачевку. Я понимал, что это было повышение, и рад был за Василья, и вместе с тем мне не только жаль было расстаться с ним; знать, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло совершиться такое изменение. Мне стало ужасно таинственно грустно, и напевы: «Пошел рублик», сделались умильно трогательны. Когда же Василий вернулся от тетеньки и с своей милой кривой улыбкой подошел к нам, целуя нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василью.

Когда я после встречал Василья, я видел в нем уже хорошего или дурного приказчика брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего святого, братского, человечного чувства.

Теперь, кажется, могу перейти к братьям.

Митенька — годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен: рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него, потом так же злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставляли ни малейшего следа. И я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю,

даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно изменяется только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься) кого-нибудь (так я боялся нищих, боялся одного Волхонского, который щипал меня, больше, кажется, никого) и когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василья, няню, главное Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детских веселых глупостей, не помню о нем. Особенности его проявились и памятны мне уже в Казани, когда мы переехали в 40 году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу после, и учился хорошо, усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определил по отношению к учению нас, трех братьев, так: Сергей и хочет и может, Дмитрий хочет, но не может (это была неправда), и Лев и не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.

IX

Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться (тоже после расскажу). Не только с Казани, но еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, comme il faut. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужественен и то, что делал, доводил до предела своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было) и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на

эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как выполз из-под пристяжной, как коренная испугалась и т. п. Митенька же подошел — мальчик лет 9-ти к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить. На языке того времени значило высечь.

В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко, помню, прекрасно перевел Шиллера Der Knabe am Bach [1], но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз расшалился и как девочки пришли в восторг от этого. И мне стало завидно, и я подумал, что это от того, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекунши-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке был дан Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю, кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.

Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими большими карими глазами. Он был велик ростом, худ, довольно силен — не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет, он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни.

---

[1] Юноша у ручья *(нем.)*.

В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке, и которой я был совершенно лишен,— черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совсем не было. Никогда не помню на его лице той удерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые, миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани мы только стали обращать на него внимание, и то только потому, что, тогда как мы с Сережей приписывали большое значение comme il faut, вообще внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик — подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Особенность его первая проявилась во время первого говенья. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви.

Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на страстной неделе вычитывал все Евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство с священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи, никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас же с своим серьезным лицом взял и передал. Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор, но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое. Мы, главное — Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми. Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смея-

лись над Митенькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.

Жили мы тогда на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами над залой. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жил Сережа и я. Мы, и я и Сережа, любили вещицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей — это минералы. Он распределил их на деления и разложил их под стеклами в ящике. Так как мы, братья, да и тетушка, с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек, инженер Ес., не столько по нашему выбору наш приятель, но потому, что он лип к нам, один раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ес. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ес. двинул ящик и потряс их. Митенька сказал: «Оставьте». Ес. не послушался. И что-то подшутил, кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес. бросился бежать. Митенька за ним. Когда он прибежал в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещать Митеньку, чтобы пропустить Ес. Но он взял половую щетку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было, если бы Ес. пошел через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его, кое-где почти ползком, через пыльный [*1 неразобр.*] чердак.

Таков был Митенька в свои минуты злобы, но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка, не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам,— не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить, даже выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас,— я этого не помню; а потом ее взяла

тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было всё распухлое так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Такие же распухшие, глянцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волоса у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Вл. Ив. Юшков, муж тетеньки, недобрый шутник, не скрывал свое отвращение к ней. От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И — удивительное дело — мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим, Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани.

Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер.

Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали именье, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово, он и желал этого, Митеньке и Николеньке отдали остальные два именья: Николеньке — Никольское, Митеньке — курское именье Щербачевку, доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в сороковых годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение

не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о матерьяльном, но о нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему острожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности. Но, кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немыслимо,— это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль — это законодательство. И, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приемов. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), с спокойным и серьезным, [с] прекрасными глазами, лицом и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезным отечеству, избрал своей деятельностью законодательство.

— Ваша фамилия?

— Граф Толстой.

— Вы нигде не служили?

— Я только кончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным.

— Какое же место вы желаете иметь?

— Мне все равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.

Серьезность искренняя так поразила Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновникам. Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа

Дмитрия Александровича Оболенского, который в наше казанское время был там стряпчим.

Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь. Оболенский был очень светский, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего света, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. «Я (Оболенский) сначала не узнал его, но когда узнал, постарался le mettre à son aise [1], познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? — Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но с свойственным ему тактом и внешним добродушием он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.

После выхода его да и моего из университета я потерял его из вида. Знаю, что он жил тою же строгой, воздержной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин до 25 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходился с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукой. Он ходил в подряснике, был очень безобразен, маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и необычайно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник.

---

[1] ободрить его *(франц.)*.

Этого отца Луку Митенька увозил с собой и, как я слышал, водился с стариком старого заказа, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.

Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленьева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укоры совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после Севастопольской войны. Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее.

Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он [умер] через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали.

Бросил хронологический способ изложения — думал, что будет лучше, но и этот способ мне не нравится. Не буду так отдельно описывать братьев С[ережу] и Н[иколеньку] и буду писать опять по порядку, как запомню.

Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10—11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что [он] не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе m-me Radcliff без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

Когда он не рассказывал и не читал (он читал чрезвычайно много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.

Так вот он-то, когда нам с братьями было — мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешива-

ли платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видать зайца, все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.

Тот, кто исполнит эти условия, и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы оно ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наши желания. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска, Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.

В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, вероятно, слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в сво-

ем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.

Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.

БРАТ СЕРЕЖА

Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, *хотел быть им.* Я восхищался его красивой наружностью, его пением,— он всегда пел,— его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому — непосредственность, эгоизм. И за это любил особенно Сережу — слово *любил* неверно. Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем[-то] совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная. На днях он умер, и в предсмертной болезни и умирая, он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самим *собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до* такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться. С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел

таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые, с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского, старого, облезлого петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы.) Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба — и я делал то же.

О братьях придется говорить еще много после, если удастся довести воспоминания хотя бы до женитьбы.

Постараюсь вспомнить самые живые и радостные (грустных, тяжелых не было) до переезда в Москву.

В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумант (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумант). Там скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно и не пошло, и твердо, прочно, капитально, такой же был и домик с погребом для молочного скопа. Деревянный, с светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, деревянными диванчиком и столом с большими ящиками, складывавшимся, как пакет, четырьмя сторонами внутрь и так же раскладывавшимся, поворачиваясь на середнем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршина в два квадратных, стол.

Домик стоял за деревушкой [в] четыре или пять дворов, в месте, называемом сад, очень красивом, с видом на вьющуюся по долине в лугах Воронку, с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом; и перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпией, линями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное, и не только пить там молоко

и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там, побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тетушки, Пашенька и девочки в линейке, а мы четверо с Федором Ивановичем в желтом дедушкином кабриолете с высокими круглыми рессорами и с желтыми подлокотниками (других и не было тогда).

За обедом идет разговор о погоде и составляется план, как ехать. Два часа. Мы должны ехать в четыре и вернуться к чаю. Все готово, но лошадей медлят посылать закладывать; с запада из-за деревни и Заказа заходит туча. Мы все в волнении. Федор Иванович старается делать строгий, спокойный вид, но мы возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развеваются, в ту же сторону и фалды его фрака, и он значительно выглядывает через перилы. И мы ждем его решенья. «Эта на Сатинка»,— говорит он, указывая на самую большую лиловатую тучу. «А это пустой»,—говорит он, указывая на другую, идущую с востока.

«Ну, что? Wie glauben Sie?»

«Muss warten» [1].

Но туча застилает все небо. Мы в горести. Послали было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накрапывает дождик. Мы в унынии и горести. Но вот Сережа выбежал на балкон и кричит: «Расчищается! Федор Иванович, kommen sie. Blauer Himmel!

— Wo?

— Kommen sie!»

Действительно, между расползающимися тучами голубой кусочек то затягивается, то растягивается. Вот еще, еще. Вот блеснуло солнце.

— Тетенька! Разгулялось! Правда, ей-богу, посмотрите, Федор Иванович сказал.

Зовут Федора Ивановича, он нерешительно, но подтверждает. Колебание и на небе, и у тетенек. Тетенька Татьяна Александровна улыбается и говорит: «Je crois,

---

[1] «Как вы полагаете?»
«Надо подождать» *(нем.)*.

[2] Подите сюда. Голубое небо!
— Где?
— Подите сюда! *(нем.)*

Alexandrine, en effet, qu'il ne pleuvera plus. Il ne pleuvera pas! [1] Смотрите».

— Тетенька, голубушка, велите запрягать. Пожалуйста. Тетенька, голубушка! — кричим больше всего Сережа и я, и помогают нам девочки. И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит на конюшню. И вот мы топочем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тетушек. Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филипыч правит. Запряжены неручинские гнедые, левая светло-гнедая, широкая с [*1 неразобр.*] и правая темная, костлявая, с крепотцой, как говорил Николай Филипыч. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.

Тетеньки и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька; кабриолет так глубок, что за ними садимся мы — я и Митенька — спинами врозь, к бокам, ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ — одно наслажденье. Но вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «Halten sie sich, Kinder» [2],— говорит Федор Иванович, торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов тридцать, Федор Иванович пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждем этого момента, и вперед уже замирает сердце. Переезжаем мост, едем вдоль реки, опять мост [?] и поднимаемся на гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут по́том так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница, в затрапезном платье, говорит, что давно ждала нас, и радуется тому, что мы приехали. И я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радуется Матрена, тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки, окружившие Федора Ивановича Берфу (лягавая шарло), прибежавшую за нами, радуются куры, петухи, кре-

[1] Я думаю, правда, Александрин, дождя не будет больше. Больше не будет! *(франц.)*

[2] Держитесь, дети *(нем.)*.

стьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой посоленный кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим цельным молоком.

Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Федор Иванович пускает удочки, и, побыв полчаса, час на Груманте, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость была нарушена случаем, от которого мы — по крайней [мере] я и Митенька — горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Федора Ивановича, бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из грумантского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету, Федор Иванович не сдержал лошади и переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой, и несчастная Берфа добежала на трех ногах, Федор Иванович с Николаем Дмитричем, нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели ее и решили, что нога переломлена, собака испорчена и никогда не будет годиться для охоты.

Я слушал, что говорил Федор Иванович с Николаем Дмитричем в маленькой комнатке наверху, и не верил своим ушам, когда услыхал слова Федора Ивановича, который каким-то молодецким, решительным тоном сказал: «Не годится. Повесить его. Один конца».

Собака страдает, больна, и ее повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать, но тон Федора Иваныча и Николая Дмитрича, одобрившего это решение, был такой решительный, что я так же, как и тогда, когда Кузьму вели сечь, когда Темешов рассказывал, что он отдал в солдаты человека за то, что он в пост ел скоромное, почувствовал, что что-то дурно, но ввиду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству.

Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану и потому, что этому не будет конца, и потому, что мне они дороги и важны, а передавать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею.

Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих

чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал; редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы муравейные братья, и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу. Но это было редко. И мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о Моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину Фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга. Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.

Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Садились на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кибитку, и вот сидевшие-то в кибитке переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого.

События в детской деревенской жизни были следующие: поездки отца к Киреевскому и в отъезжее поле, рассказы об охотничьих похождениях, к которым мы, дети, прислушивались, как к важным событиям.

Потом — приезды моего крестного Языкова с его гримасами, трубкой, лакеем, стоявшим за его стулом во время обеда. Потом приезды Исленьева с его детьми, одна из которых стала потом моей тещей. Потом приезды Юшкова, который всегда привозил что-нибудь странное: карикатуры, кукол, игрушки.

Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление,— это, как теперь помню, на нашем детском верху сидел Темешов и разговаривал с Федором Ивановичем. Не помню, почему раз-

говор зашел о соблюдении постов, и Темешов, добродушный Темешов, очень просто сказал: «У меня повар (или лакей, не помню) вздумал есть скоромное постом. Я отдал его в солдаты». Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то странным, для меня непонятным.

Еще событие было — Перовское наследство. Памятен обоз с лошадьми и высоко наложенными возами, который приехал из Неруча, когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофановичу, был выигран.

Илья Митрофанович был пьющий запоем, высокий с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий знаток, какие бывали в старину, всяких кляуз. Он руководил делом этого наследства, и за это он до своей смерти жил и содержался в Ясной Поляне.

Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате, мы не понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чахотки. Другое — приезд его брата — знаменитого американца Федора Толстого. Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный, сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собой дверь. Через несколько минут вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров, и дал тетушке платки и сказал: этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал. Платки взяли, надели Сереже, и у нас осталось впечатление, что все совершилось, как он сказал.

Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое с густыми белыми бакенбардами до углов рта, и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного, необыкновенного человека.

Третье впечатление — это было посещение какого-то — не знаю — двоюродного брата матери, князя, гусара Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он толь-

ко крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две.

Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

Это было в 37-м году. Но когда — осенью или зимой — не могу припомнить. В пользу того, что это было зимой, только то, что было 7 экипажей и был возок для бабушки с такими широкими отводами, на которых стояли всю дорогу камердинеры, что в Серпухове возок не вошел в ворота. Это я помню, вероятно, по рассказам. В воспоминаниях же моих осталась поездка на колесах. Может быть, я спутал, и возки эти были при нашем отъезде в Казань. Скорее то, что мы ехали на колесах. Я помню это потому, что осталось у меня впечатление от того, что отец ехал сзади в коляске и нас по переменкам — это была большая радость — брали к нему. Помню, что мне досталось въезжать в Москву в коляске с отцом. Был хороший день, и я помню свое восхищение при виде московских церквей и домов, восхищение, вызванное тем тоном гордости, с которым отец показывал мне Москву. Еще признак, по которому помню, что это было по чернотропу, тот, что на 1-й день нашей езды (мы ехали на сдаточных — два дня; ночь ночевали) к вечеру, когда уже стемнело, мы услыхали, что близ дороги показалась лисица, и Петруша, камердинер отца, везший с собой борзого кобеля серого Жирана, пустил его за лисицей и побежал за ней. Мы ничего не видели, но очень волновались и огорчились, узнав, что лисица ушла.

ЧТО Я ВИДЕЛ ВО СНЕ...

I

— Она как дочь не существует для меня: пойми, не существует, но не могу же я оставить ее на шее чужих людей. Сделаю так, чтобы она могла жить, как она хочет, но знать ее я не могу. Да, да. Никогда в голову не могло прийти что-нибудь подобное... Ужасно, ужасно!

Он пожал плечами, встряхнул головой и поднял глаза кверху. Говорил это шестидесятилетний князь Михаил Иванович Ш. своему младшему брату, князю Петру Ивановичу, пятидесятишестилетнему губернскому предводителю в центральном губернском городе.

Разговор происходил в губернском городе, куда приехал старший петербургский брат, узнав, что бежавшая из его дома год назад тому дочь поселилась с ребенком в этом самом городе.

Князь Михаил Иванович был красивый, бело-седой, свежий высокий старик с гордым и привлекательным лицом и приемами. Семья его состояла из раздражительной, часто ссорившейся с ним из-за всяких пустяков, вульгарной жены, сына не совсем удачного, мота и кутилы, но вполне «порядочного», как понимал отец, человека, и двух дочерей, из которых одна, старшая, хорошо вышла замуж и жила в Петербурге, и меньшая любимая дочь Лиза, та самая, которая почти год тому назад исчезла из дома и только теперь нашлась с ребенком в дальнем губернском городе.

Князь Петр Иванович хотел спросить брата: как, при каких условиях ушла Лиза, кто мог быть отцом ребенка, но не мог решиться спросить. Еще сегодня утром, когда жена Петра Ивановича стала выражать сочувствие деверю, князь Петр Иванович видел, какое страдание выразилось на лице брата и как он старательно скрыл то страдание под выражением неприступной гордости и стал расспрашивать невестку о цене ее квартиры. За завтраком, при всех семейных и гостях, он, как всегда, был ядовито и остроумно насмешлив. Со всеми, кроме детей, с которыми он был как-то почтительно ласков, он со всеми был неприступно надменен. И притом был так естествен, что все как будто признавали за ним право быть надменным.

Вечером брат составил ему партию в винт. Когда он ушел в приготовленную ему комнату, он только что взялся вынимать фальшивые зубы, как в дверь слегка постучались двумя ударами.

— Кто там?

— C'est moi, Michel [1].

Князь Михаил Иванович узнал голос невестки, поморщился, вставил назад зубы и проговорил про себя: «Чего ей нужно», и громко:

[1] Это я, Мишель *(франц.)*.

— Entrez [1].

Невестка была тихое, кроткое существо, безропотно покорявшаяся мужу, но чудачка, как ее называли (некоторые считали ее даже дурочкой), хотя и хорошенькая, всегда растрепанная, неряшливо, небрежно одетая, всегда рассеянная и с самыми странными, неподходящими к предводительше, неаристократическими мыслями, которые она вдруг выражала к удивлению всех, и знакомых и мужа.

— Vous pouvez me renvoyer, mais je ne m'en irai pas je vous le dis d'avance [2],— начала она свою речь с свойственной ей нелогичностью.

— Dieu preserve [3],— отвечал деверь, с своей обычной, несколько преувеличенной учтивостью подвигая ей кресло.— Ça ne vous dérange pas? [4]— сказал он, вынимая папиросу.

— Вот что, Мишель, я не буду говорить ничего неприятного, я только хотела сказать об Лизаньке.

Михаил Иваныч вздохнул, очевидно от боли, но тотчас же справился и, улыбаясь усталой улыбкой, сказал:

— Разговор с тобой может быть для меня об одном предмете, именно о том, о котором ты хочешь говорить,— сказал он, не глядя на нее и, очевидно, избегая даже названия предмета разговора.

Но толстенькая, кругленькая, миловидная невестка не смутилась и, тем же добрым, умоляющим взглядом своих голубых глаз продолжая смотреть на Михаила Ивановича, сказала, так же, и еще более, чем он, тяжело вздыхая:

— Мишель, mon bon ami [5], пожалейте ее.— Она, как всегда говоря с деверем, сбивалась на «вы».— Ведь она человек.

— Я никогда не сомневался в этом,— с неприятной улыбкой отвечал Михаил Иванович.

— Она дочь.

— Была. Да. Но, милая Алин, к чему эти разговоры?

---

[1] Войдите *(франц.)*.

[2] Вы можете меня прогнать, но я не уйду, говорю это вам заранее *(франц.)*.

[3] Боже сохрани *(франц.)*.

[4] Вас это не беспокоит? *(франц.)*

[5] друг мой *(франц.)*.

— Мишель, милый, повидайте ее. Я хотела сказать вам только то, что тот, кто виноват во всем...

Князь Михаил Иванович вспыхнул, лицо его стало страшно.

— Ради бога, не будем говорить. Довольно я перестрадал. Теперь ничего нет для меня, кроме желания поставить ее в такое положение, чтобы она никому не была в тягость, чтобы ей не нужно было входить ни в какие сношения со мной, чтобы она могла жить своей отдельной жизнью и мы с семьей своей жизнью, не зная ее. Я не могу иначе.

— Мишель, все «я». Ведь она тоже «я».

— Это несомненно, но, милая Алин, пожалуйста, оставим это. Мне слишком тяжело.

Александра Дмитриевна помолчала, покачала головой.

— И Маша (жена Михаила Ивановича) так же смотрит?

— Совершенно так же.

Александра Дмитриевна пощелкала языком.

— Brisons là-dessus. Et bonne nuit [1],— сказал он.

Но Александра Дмитриевна не уходила. Она помолчала.

— Петя мне говорил, что вы хотите оставить деньги той женщине, у которой она живет. Вы знаете адрес?

— Знаю.

— Так не делайте это через нас, а съездите сами. Вы только посмотрите, как она живет. Если вы не захотите видеть ее, то наверное не увидите. Его там нет, никого нет.

Михаил Иванович вздрогнул всем телом.

— Ах, за что, за что вы меня мучаете? Это негостеприимно.

Александра Дмитриевна встала и с слезами в голосе, умиляясь сама над собой, проговорила:

— Она такая жалкая и такая хорошая.

Он встал и стоял, дожидаясь, пока она кончит. Она протянула ему руку.

— Мишель, это нехорошо,— сказала она и вышла.

Долго после нее ходил Михаил Иванович по ковру комнаты, превращенной для него в спальню, и морщил-

[1] Оставим это. И покойной ночи (*франц.*).

ся, и вздрагивал, и вскрикивал: «Ох, ох!», и, услыхав себя, пугался и замолкал.

Мучала его оскорбленная гордость. Его дочь, его, выросшего в доме своей матери, знаменитой Авдотьи Борисовны, принимавшей посещения императриц, его знакомство с которым считалось за великую честь, его, проведшего свою жизнь рыцарем без страха и упрека... То, что у него был побочный сын от француженки, которого он устроил за границей, не уменьшало в нем его высокого мнения о себе. И вот его дочь, для которой он не только сделал все, что может и должен сделать отец: дал прекрасное воспитание, дал ей возможность выбирать себе партию в высшем и лучшем русском обществе, но не только та дочь, которой он дал все то, чего только может желать девушка, но которую он прямо любил, которой любовался, гордился, эта дочь опозорила его, сделала с ним то, что он не может смотреть в глаза людям, что ему стыдно всех.

И он вспоминал те времена, когда он не только относился к ней как к своей дочери, к члену его семьи, но когда он нежно любил ее, радовался на нее, гордился ею. Он вспоминал ее, какою она была, когда ей было восемь, девять лет: умненькая, все понимающая, живая, быстрая, грациозная девочка с черными блестящими глазами и распущенными русыми волосами на костлявой своей спинке. Вспоминал он, как она вскакивала к нему на колени, и обнимала за шею, и щекотала его, заливаясь хохотом, и, несмотря на его крик, не переставала, и потом целовала в рот, в глаза, в щеки. Он был враг всякой экспансивности, но эта экспансивность умиляла его, и он иногда отдавался ей и вспоминал теперь, как было приятно ласкать ее.

И это-то когда-то милое существо могло сделаться тем, что оно стало теперь,— существом, про которое он не мог думать без отвращения.

Он вспоминал теперь тоже то время, когда она становилась женщиной, и то особенное чувство страха и оскорбления, которое он испытывал к ней, когда замечал, что мужчины смотрят на нее как на женщину. Он вспоминал об этом своем ревнивом отношении к дочери, когда она с кокетливым чувством, зная, что она хороша, приходила к нему в бальном платье, и когда он видал ее на балах. Он боялся нечистых взглядов на нее, а она не только не понимала этого, но радовалась этому.

«Да,— думал он,— какое суеверие чистота женщин. Напротив, они не знают стыда, у них нет стыда».

Он вспомнил, как она, непонятно для него почему, отказала двум очень хорошим женихам и как, продолжая ездить в свет, все больше и больше увлекалась не кем-нибудь, но увлекалась своим успехом. Но успех этот не мог продолжаться долго. Прошли год, два, три. Все приглядelись к ней. Она была красива, но уже не первой молодости, стала как бы обычным аксессуаром балов. Михаил Иванович вспоминал, как он видел, что она засидится, и желал для нее одного — выдать поскорее замуж, хоть не так хорошо, как можно было прежде, но хоть как-нибудь прилично. Но она как-то особенно вызывающе-гордо держала себя, ему казалось, и, вспоминая это, еще более злое чувство поднялось в нем против нее. Отказала стольким порядочным людям, чтобы потом этот ужас! «О, ох!» — опять застонал он, и, остановившись, закурил папиросу, и хотел думать о другом, как он перешлет ей деньги, не допустив ее до себя, но опять встало воспоминание о том, как она уже недавно — ей было уже больше двадцати лет — затеяла какой-то роман с четырнадцатилетним мальчиком, пажем, гостившим у них в деревне, как она довела мальчика до сумасшествия, как он разливался-плакал, и как она серьезно, холодно и даже грубо отвечала отцу, когда он, чтобы прекратить этот глупый роман, велел мальчику уехать; и как с тех пор у него и прежде довольно холодные отношения к дочери стали совсем холодными и с ее стороны. Она как будто считала себя чем-то оскорбленной.

«А как я был прав,—думал он теперь.—Это бесстыдная и недобрая натура».

И вот опять последнее ужасное воспоминание письма из Москвы, в котором она писала, что она не может вернуться домой, что она несчастная, погибшая женщина, просит простить и забыть ее, и ужасные воспоминания о разговорах с женой и догадках, циничесих догадках, перешедших, наконец, в достоверность, что несчастие случилось в Финляндии, куда ее отпустили гостить к тетке, и что виновник его ничтожный студент-швед, пустой, дрянной человек и женатый.

Все это он вспоминал теперь и ходил, ходил взад и вперед по ковру комнаты, вспоминая и прежнюю свою любовь к ней, гордость за нее, и ужасаясь на это непо-

нятное для него падение и ненавидя ее за ту боль, которую она ему сделала. Он вспоминал то, что говорила ему невестка, и старался представить себе, как бы он мог простить ее, но стоило ему только вспомнить «его», и ужас, отвращение, оскорбленная гордость наполняли его сердце. И он вскрикивал: «Ох, ох»,— и старался думать о другом.

«Нет, это невозможно. Отдам Пете деньги, чтобы он давал ей ежемесячно. А у меня нет, нет дочери...»

И он попал опять на прежнюю колею того странного, смешанного чувства, которое не переставая мучало его: чувства умиления перед воспоминанием о его любви к ней и чувства мучительной злобы за то, что она могла сделать ему так больно.

II

Лиза в этот один последний год пережила без всякого сравнения больше, чем она пережила во все прежние двадцать пять лет. В этот год ей вдруг открылась вся пустота ее прежней жизни: ясна стала вся низменность, вся гадость той жизни, которую она вела в своем богатом петербургском обществе и доме, где она вместе со всеми играла животной жизнью, касаясь только верхов ее, пользуясь всеми прелестями ее, но не спускаясь до глубины ее. Хорошо было год, два, три, но когда это: вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, выставляющие красоту тела, молодые и не молодые ухаживатели, все одинакие, все что-то как будто знающие, имеющие как будто право всем пользоваться и надо всем смеяться, когда летние месяцы на дачах с такой же природой, тоже только дающей верхи приятности жизни, когда и музыка и чтение, тоже такие же — только задирающие вопросы жизни, но не разрешающие их,— когда все это продолжалось семь, восемь лет, не только не обещая никакой перемены, но, напротив, все больше и больше теряя прелести, она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния, желания смерти. Подруги направляли ее на деятельность благотворительности. Она увидала, с одной стороны, нищету, настоящую, отталкивающую, и притворную, еще более жалкую и отталкивающую, и увидала страшную холодность дам-патронесс, приезжающих на своих тысячных экипажах и в тысячных нарядах, и ей стано-

вилось все тяжелее и тяжелее. Хотелось чего-нибудь настоящего, хотелось жизни, а не игры с ней, не снимания пенок. И не было никакой. Лучшее из ее воспоминаний была любовь к кадету Коко, как его звали. То было хорошее, честное, прямое, но ничего подобного теперь не было и не могло быть. Она все больше и больше тосковала и в этом тоскливом положении поехала к тетке в Финляндию. Новая обстановка, новая природа, новые люди, какие-то особенные, показались ей особенно привлекательны.

Как и когда это началось, она не могла дать себе отчета. У тетки гостил швед. Он говорил о своих работах, о своем народе, о новом шведском романе, и она сама не знает, как и когда началось это страшное заражение взглядами и улыбками, смысл которых нельзя было выразить словами, но которые имели значение, как ей казалось, превосходящее всякие слова. Эти взгляды и улыбки открывали друг другу их души, не только их души, но какие-то общие всему человечеству, великие и самые важные тайны. Всякое сказанное ими слово получало от этих улыбок величайшее и блаженнейшее значение. Такое же значение получала музыка, когда они слушали ее вместе или пели дуэты. Такое же значение получали слова читаемых вслух книг. Иногда они спорили, каждый отстаивал свое мнение, но стоило им встретиться глазами и блеснуть улыбке, и спор оставался где-то внизу, а они поднимались над ним в какой-то возвышенной, доступной только им области.

Как это сделалось, как, когда из-за этих взглядов и улыбок выступил дьявол, в одно и то же время схвативший их, она не могла бы сказать, но когда она почувствовала страх перед дьяволом, невидимые нити, связывающие их, были уж так переплетены, что она чувствовала свое бессилие вырваться из них и всю надежду возлагала уже на него, на его благородство. Она надеялась, что он не воспользуется своей силою, но и смутно не желала этого.

Бессилие ее в борьбе усиливалось еще тем, что ей не за что было держаться. Жизнь ее светская, с своей поверхностностью и фальшью, опротивела ей. Мать свою она не любила, отец, как ей казалось, оттолкнул ее от себя, и ей страстно хотелось не игры с жизнью, а самой жизни, и в любви, в совершенной женской любви к мужчине, она предчувствовала эту жизнь.

И страстная, здоровая натура влекла ее туда же. И эта жизнь представлялась ей в нем, в его высокой, сильной фигуре, в его белокурой голове и белых поднятых усах, из-под которых сияла притягивающая, всемогущая улыбка. В этом она видела обещание чего-то самого лучшего, что есть на свете. И вот улыбки и взгляды, надежды и обещания чего-то невозможно прекрасного привели к тому, к чему они должны были привести, но чего она боялась и чего смутно, бессознательно ожидала. И вдруг все прекрасное, духовное, радостное, полное надежд на будущее, вдруг все стало отвратительным, животным и не только печальным, но отчаянным.

Она смотрела в глаза ему, старалась улыбаться, старалась притвориться, что она не боится ничего, что это так и должно быть, но она в глубине души знала, что теперь все пропало, что в нем нет того, чего она искала, что было в ней, что было в Коко. Она сказала ему, что он должен написать теперь ее отцу, прося ее руки. Он сказал, что не может сделать этого сейчас. В глазах его было что-то робкое, неясное, и она еще больше усомнилась в нем. На другой день он прислал ей письмо, в котором объявил, что он женат, что жена давно оставила его, что он погиб теперь в ее глазах, что он виноват, умоляет ее о прощении.

Она позвала его и на словах сказала ему, что она любит его и, все равно, женат он был или нет, чувствует себя навеки связанной с ним и не оставит его.

В следующее свидание он сказал, что у него ничего нет, что родители его бедные и что он может предложить ей только самую бедную жизнь. Она сказала, что ей ничего не нужно и что она сейчас же готова ехать с ним, куда он хочет.

Он отговаривал ее, советовал подождать. Она согласилась. Но жизнь с скрыванием от домашних, с случайными свиданиями и тайной перепиской была ей мучительна, и она настаивала на отъезде и бегстве.

Когда она переехала в Петербург, он писал ей, обещая приехать, потом перестал писать и исчез. Она попыталась жить по-прежнему, но не могла. Она стала болеть. Ее лечили, но положение ее становилось хуже и хуже. Когда же она убедилась, что ей нельзя будет скрыть то, что она хотела скрыть, она решила убить себя. Но как сделать это так, чтобы смерть казалась естественной? Она хотела убить себя, ей казалось, что

она окончательно решила это, и достала яду, всыпала его в рюмку и готова была выпить. Она и выпила бы его, если бы в это время не вбежал к ней пятилетний племянник, сын сестры, показывая ей подаренную бабушкой игрушку. Она остановилась, приласкала мальчика и вдруг расплакалась. Ей пришла мысль, что она могла бы быть матерью, если бы он не был женат, и мысль о материнстве в первый раз заставила ее вернуться в себя, думать не о том, что подумают и скажут о ней другие, а о своей, настоящей своей жизни. Убить себя ради мнения других людей казалось легко, но убить себя для себя было невозможно. Она вылила яд и перестала думать о самоубийстве, а стала жить сама в себе, и жизнь эта была мучительна, но была жизнь, она не хотела и не могла расстаться с нею. Она стала молиться, чего она давно уже не делала, но это не облегчало: она страдала не за себя, а за страдания отца, которые она понимала, и жалела его, но знала, что страдания эти будут, и она виной их. Несколько месяцев так шла ее жизнь, и вдруг с ней случилось событие, никому незаметное, даже ей почти незаметное, но такое, которое уже совсем перевернуло ее жизнь. Она вдруг, сидя за работой,— она вязала одеяло,— почувствовала странное ощущение движения... в себе.

— Да нет, не может быть.— Она замерла с крючком и одеялом в руках. И вдруг опять то же удивительное колебание. Неужели это он или она? И она, забыв про все, про его гадость и ложь, про раздражительность матери, про горе отца, просияла улыбкой, но не той гнусной улыбкой, которой она отвечала на такие же улыбки его, а светлой, чистой, радостной улыбкой.

Она ужасалась теперь мысли, что она могла думать убить *его* вместе с собой, и теперь все свои мысли направила на то, как уйти из дома, куда и где сделаться матерью, несчастной, жалкой матерью, но все-таки матерью. И она все это придумала и устроила, и ушла и поселилась в далеком губернском городе, где никто бы не мог найти ее и где она думала быть вдали от своих, и где, на ее беду, был назначен губернатором брат ее отца, чего она никак не ожидала.

Она жила у акушерки Марьи Ивановны уже четвертый месяц и, узнав о том, что дядя в том же городе, собиралась уехать куда-нибудь дальше.

III

Михаил Иванович проснулся рано и в это же утро, войдя в кабинет брата, отдал ему приготовленный чек на деньги, которые он оставлял брату, прося его помесячно выдавать их дочери, и спросил, когда отходит в Петербург курьерский. Поезд отходил в семь часов вечера, так что Михаил Иванович мог успеть пообедать ранним обедом до отъезда. Напившись кофе с невесткой, которая ничего не говорила больше о том, что так было тяжело ему, а только робко взглядывала на него, он, по своей обыкновенной гигиенической привычке, пошел сделать обычную прогулку.

Александра Дмитриевна проводила его до передней.

— Вы пройдите, Мишель, в городской сад, там прекрасно ходить и от *всего* близко,— сказала она, жалостно глядя ему в сердитое лицо.

Михаил Иванович послушался ее совета и пошел в городской сад, откуда было все близко, и с досадой думал о глупости, упорстве и бессердечности женщин. «Ей не жалко меня,— думал он о невестке.— Она и понять не может моих страданий. А она? — он подумал о дочери.— Она знает, что́ это для меня, какая это мука. Какой ужасный удар в конце жизни, которую укоротит, наверное, она же. Ну, да и лучше конец, чем эти мучения. И все это pour les beaux yeux d'un chenapan» [1].— «О-о-о»,— громко простонал он, и такое чувство ненависти и злобы поднялось в нем при мысли о всем том, что теперь будут говорить в городе, когда все узнают (наверно, все уже знают), такое чувство злобы поднялось в нем против нее, что захотелось все сказать ей, дать ей понять все значение того, что она сделала. «Они не понимают».

«Оттуда всё близко»,— подумал он и, достав записную книжку, прочел ее адрес: «Кухонная улица, дом Абрамова, Вера Ивановна Селиверстова». Она жила под этим именем. Он подошел к выходу и кликнул извозчика.

— Вам кого, господин? — спросила его Марья Ивановна, акушерка, когда он вошел на узкую площадку крутой вонючей лестницы.

— Госпожа Селиверстова здесь?

---

[1] ради прекрасных глаз негодяя *(франц.)*.

— Вера Ивановна? Здесь, пожалуйте. Она вышедши, в лавочку пошла, должно, сейчас придет.

Михаил Иванович вошел за толстой Марьей Ивановной в маленькую гостиную, и его, как ножом, резнул, как ему показалось, отвратительный, злой крик ребенка из соседней комнатки.

Марья Ивановна извинилась, ушла в комнатку, и слышно было, как успокаивала ребенка. Ребенок затих, и она вышла.

— Это ее ребеночек. Она сейчас придет. Вы кто ж будете?

— Я знакомый, да я лучше после приду,— сказал Михаил Иванович, готовясь уйти. Так мучительно ему было готовиться к встрече с ней и так невозможно казалось какое бы то ни было объяснение.

Он только повернулся и хотел уйти, как по лестнице послышались легкие, быстрые шаги, и он узнал голос Лизы.

— Марья Ивановна! что, не кричал без меня... А я...

И она вдруг увидала отца. Кулек, который она держала в руке, выпал у нее из рук.

— Папа?! — вскрикнула она и, вся бледная и трясущаяся всем телом, остановилась в дверях.

Он смотрел на нее и не двигался с места. Она похудела, глаза стали больше, нос завострился, руки тонкие, костлявые. И не знал, что сказать и что сделать. Он забыл теперь все то, что думал о своем сраме, и ему только жалко, жалко было ее, жалко и за ее худобу, и за ее плохую, простую одежду, и, главное, за жалкое лицо ее с умоляющими о чем-то, устремленными на него глазами.

— Папа, прости,— сказала она, подвигаясь к нему.

— Меня,— проговорил он,— меня прости,— и он захлюпал, как ребенок, целуя ее лицо, руки и обливая их слезами.

Жалость к ней открыла ему самого себя. И увидав себя, какой он был действительно, он понял, как он виноват перед ней, виноват за свою гордость, холодность, даже злобу к ней. И он рад был тому, что виноват, что ему нечего прощать, а самому нужно прощение.

Она повела его в свою комнату, рассказала ему, как она живет, но не показывала ему ребенка и ничего не говорила о прошедшем, зная, что это было бы мучи-

тельно для него. Он сказал ей, что ей надо устроиться иначе.

— Да, если бы в деревне,— сказала она.

— Мы всё обдумаем это,— сказал он.

Вдруг за дверью сначала запищал, а потом закричал ребенок. Она открыла широко глаза и, не спуская их с отца, замерла в нерешительности.

— Что ж, тебе кормить надо,— сказал Михаил Иванович, шевеля бровями от явного внутреннего усилия.

Она поднялась, и ей вдруг пришла безумная мысль показать тому, кого она так давно любила, того, кого она теперь любила больше всего на свете. Но, прежде чем сказать то, что хотела, она взглянула в лицо отца. Рассердится он или нет?

Лицо отца выражало не сердитость, но одно страдание.

— Да иди, иди,— сказал он.— Слава богу. Да, я завтра приду опять, и мы решим. Прощай, голубушка. Да, прощай.— И опять ему трудно было удержать поднявшийся комок в горле.

Когда Михаил Иванович вернулся к брату, Александра Дмитриевна тотчас же спросила его:

— Ну что?

— Да ничего.

— Видели? — спросила она, по лицу его догадываясь, что что-то случилось.

— Да,— скороговоркой проговорил он и вдруг заплакал.— Да, и глуп и стар стал,— сказал он, успокоившись.

— Нет, умен, очень умен.

Михаил Иванович простил дочь, совсем простил и ради прощенья победил в себе весь страх перед славой людской. Он устроил дочь у сестры Александры Дмитриевны, жившей в деревне, и видался с дочерью и любил ее не только по-прежнему, но еще больше, чем прежде, и часто приезжал к ней и гостил у нее. Но ребенка он избегал видеть и не мог победить в себе чувства отвращения, омерзения к нему. И это было источником страданий дочери.

13 ноября 1906.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил. Впервые — изд. «Посредник», 1886.

Комедия написана в 1886 году, она представляет собой переработку для сцены рассказа Толстого «Как чертенок краюшку выкупал». Пьеса предназначалась для народных представлений. Увлеченный идеей народного театра, Толстой писал в 1886 году П. А. Денисенко: «Дело само по себе огромного значения и доброе божье дело; и непременно пойдет и будет иметь огромный успех... Это дело займет вас и всех тех, которые возьмутся за него; и если сотни людей отдадутся все этому делу — все будет мало... Желаю всей душой вам успеха в деле народного театра» (т. 63, с. 329).

Пьеса широко шла в народных театрах и балаганах. Впервые показана летом 1886 года в народном балаганном театре в селе Александровском под Петербургом. Газета «Неделя» писала 27 июля 1886 года: «На днях была сделана попытка придать «народному театру» большее значение, чем он имел до сих пор со своими балаганными пьесами: была поставлена комедия графа Льва Толстого «Первый винокур». Несмотря на ненастную погоду и накрапывавший дождь, смотреть пьесу собралось более 3000 рабочих... Многие места пьесы произвели весьма сильное впечатление на зрителей, долго после окончания представления продолжавших обсуждать возбужденные пьесой вопросы».

Хотя цензура и исключила из пьесы наиболее острые в социальном отношении места, «Первый винокур» пользовался прочным успехом у народного зрителя. Тогда последовало запрещение комедии для народных театров. Но комедия в обход цензуры эпизодически появлялась на народных сценах. Известный педагог и деятель народного театра Н. Ф. Бунаков рассказал, что в организованном им народном театре в селе Петино под Воронежем он в 1893 году поставил «Первого винокура», привлекая в качестве исполнителей местных крестьян и учащихся (см.: Н. Ф. Бунаков. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной. СПб., 1909, с. 220).

Французский драматург и театральный деятель М. Потшер на основе «Первого винокура» написал пьесу «Дьявол-виноторговец» и поставил ее в 1895 году в созданном им Народном театре. Л. Толстой писал М. Потшеру 6/19 марта 1902 года: «Я знаю ваши труды, одобряю их и давно ими любуюсь. Совершенно уверен, что вы достигнете успеха и будете иметь большое и благотворное влияние на возрождение театра, который изо дня в день превращается в забаву для праздных людей и все более и более отклоняется от своего истинного назначения» (т. 73, с. 214).

В 1914 году пьеса была поставлена П. П. Гайдебуровым на сцене руководимого им Общедоступного театра. После Великой Октябрьской революции пьеса ставилась в профессиональных театрах и самодеятельных коллективах. Большой интерес вызвал спектакль, поставленный художником Ю. П. Анненковым в Эрмитажном театре Петрограда 13 ноября 1919 года. В. Б. Шкловский писал, что «эту пьесу Анненков развернул цирковым матерьялом и всю превратил в цирковое действие», а также внес в пьесу «матерьял злободневности, частушки, городовых в аду и т. д.» (*В. Шкловский.* Народная комедия и «Первый винокур».— «Жизнь искусства», 1920, 17—19 апреля, с. 1. Подробный анализ спектакля и полемики вокруг него дан в кн.: *Д. Золотницкий.* Зори театрального Октября. Л., 1976, с. 234—239).

Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Впервые — изд. «Посредник», 1887. В основу «Власти тьмы» положено уголовное дело крестьянина Тульской губернии Ефрема Колоскова, которого Толстой посетил в тюрьме. Впоследствии Толстой рассказывал: «Фабула «Власти тьмы» почти целиком взята мною из подлинного уголовного дела, рассматривавшегося в Тульском суде... В деле этом имелось именно такое же, какое приведено и во «Власти тьмы», убийство ребенка, прижитого от падчерицы, причем виновник убийства точно так же каялся всенародно на свадьбе этой падчерицы» (т. 26, с. 706).

Толстой трудился над пьесой напряженно и с увлечением. Он начал работать над ней в конце октября 1886 года. Писатель переделывал каждый акт по нескольку раз. Уже 25 ноября 1886 года драма была сдана в набор. Но и в корректуре Толстой вносил в ее текст поправки.

Еще до того, как пьеса была опубликована, многие знакомые Толстого слышали ее в чтении в доме писателя, и на всех она производила громадное впечатление (см.: *Л. Д. Опульская.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979, с. 65—67). Толстой хотел, чтобы драма была поставлена в народном театре М. В. Лентовского «Скоморох».

Как только в Петербурге стало известно, что Толстой написал пьесу, премьерша петербургского Александринского театра М. Г. Савина просила разрешения писателя поставить «Власть тьмы» в свой бенефис. Толстой ответил согласием. 20 декабря

1886 года Савина благодарила Толстого, просила как можно скорее выслать рукопись, брала на себя все хлопоты в Театрально-литературном комитете и цензуре.

Получив «Власть тьмы» в корректуре, Савина, по ее словам, «пришла в восторг». Она поехала к Толстому посоветоваться относительно предстоящей постановки. «Петербургская газета» сообщала 29 декабря 1886 года: «Большие толки возбуждает эта новая пьеса графа Л. Н. Толстого. Многие уверяют, что реализм нового произведения никак не может примириться с требованиями цензурных условий».

Театральная цензура не пропустила пьесу. Тогда друзья Толстого В. Г. Чертков и А. А. Стахович организовали чтение «Власти тьмы» в известных частных домах, придворных кругах, чтобы популяризировать драму и добиться отмены ее цензурного запрета. Многие деятели культуры: И. Е. Репин, В. В. Стасов, Г. И. Успенский, В. Г. Короленко, В. М. Гаршин, В. И. Немирович-Данченко — высоко оценили пьесу Толстого и добивались ее разрешения для театра. А. А. Стахович читал пьесу у министра императорского двора и уделов в присутствии Александра III. Пьеса царю понравилась, он сам пожелал быть на генеральной репетиции. В феврале — марте 1887 года в Александринском театре шла подготовка к спектаклю.

Хранящиеся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР неопубликованные дневники писательницы С. И. Смирновой, жены актера Александринского театра Н. Ф. Сазонова (он репетировал роль Никиты), свидетельствуют о громадном интересе в столице к готовящемуся спектаклю. 3 марта 1887 года в дневнике записано: «Куда теперь ни покажутся актеры, везде их спрашивают, что «Власть тьмы»?» (ИРЛИ).

Репетируя роль Акима, актер П. М. Свободин обратился к Толстому с письмом, прося дать «несколько указаний относительно этой роли». В письме Свободину от 5 марта 1887 года Толстой изложил свое представление о внешности Акима и дал некоторые советы, как играть эту роль (т. 64, с. 24—25). Свободин писал 4 марта 1887 года своему приятелю, редактору журнала «Русская мысль» В. М. Лаврову: «Мы репетируем «Власть тьмы», я буквально просиживаю ночи, играя Акима, изболел, измадел, как говорится в драме, до истощения сил, а что будет и будет ли? Представлению гр. Толстого у нас в Петербурге я решительно придаю значение целого переворота в театре... целой будущности в судьбе театра уже в том только смысле, что постановка драмы поощрит, заманит Толстого писать для сцены — делать то, чего ему именно недоставало. Такой гениальный писатель никогда до сих пор ничего не делал для театра» (А. Альтшуллер. Павел Свободин. Л., 1976, с. 81—82).

В то время когда работа над «Властью тьмы» была доведена в Александринском театре до генеральной репетиции, начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов послал пьесу обер-прокурору синода К. П. Победоносцеву. Прочитав

пьесу, Победоносцев писал Александру III: «Я только что прочел новую драму Л. Толстого и не могу прийти в себя от ужаса. А меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на императорских театрах и уже разучивают роли... Какое отсутствие, больше того, отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса... День, в который драма Толстого будет представлена на императорских театрах, будет днем решительного падения нашей сцены» (Письма К. П. Победоносцева к Александру III, т. 2, М., 1926, с. 130—132). И подготовленный спектакль был запрещен.

Впервые «Власть тьмы» на русской сцене была разыграна актерами-любителями под руководством актера Александринского театра В. Н. Давыдова 11 января 1890 года в петербургском доме А. В. Приселкова. Этот спектакль стал событием в театральной жизни столицы. Его посетили писатели, актеры, художники. На спектакле присутствовали М. Г. Савина и А. П. Чехов, одобрительно отозвавшиеся о нем.

Между тем «Власть тьмы» с громадным успехом шла на многих сценах Западной Европы. В 1888 году она была показана в Свободном театре А. Антуана в Париже, в 1890-м — в Свободном театре О. Брама в Берлине. Пьесу играли в театрах Италии, Швейцарии, Голландии.

Цензурный запрет на исполнение «Власти тьмы» в казенных и частных театрах продолжался более восьми лет и был снят лишь в 1895 году. «Известие о разрешении на сцену драмы графа Л. Н. Толстого «Власть тьмы» быстро разнеслось по России, и ежедневно получаются в Петербурге телеграммы от провинциальных антрепренеров с просьбой о присылке цензурованных экземпляров драмы графа Л. Н. Толстого» («Новое время», 19 октября 1895 года). В том же 1895 году два казенных театра (Александринский в Петербурге и Малый в Москве) и три частных (петербургский театр Литературно-артистического кружка, московские театры Корша и «Скоморох») каждый по-своему воплотили идеи Толстого. Спектакли Малого театра и театра «Скоморох» посетил автор пьесы.

При несовершенстве первых спектаклей факт появления в театре «Власти тьмы» имел огромное социальное и эстетическое значение. Писатель дал театру образец новой драмы, где многие персонажи могли претендовать на роль главного героя. Драматург видел трагедию в повседневных событиях и таким образом приобщал зрителя к новой театральной эстетике. Обращаясь к совести современников, потрясая их картинами жизни народной, Толстой обогатил русскую драму и подготовил великие реформы в театре (см.: Ю. Рыбакова. Первые постановки «Власти тьмы» в России.— В кн.: Лев Толстой. Проблемы драматургии и сценической интерпретации. Л., 1978, с. 58—79). Среди дореволюционных постановок следует назвать «Власть тьмы» в Московском Художественном театре (1902). К. С. Станиславский трактовал пьесу как современную трагедию из крестьянской жизни (см.:

М. Н. Строева. Режиссерские искания Станиславского. 1898—1917. М., 1973, с. 97—105).

Во «Власти тьмы» в разные годы выступали знаменитые русские и зарубежные актеры — П. А. Стрепетова, О. О. Садовская, Е. М. Шатрова (Матрена), В. Н. Давыдов, А. Р. Артем, А. Антуан, М. Рейнхардт (Аким), Н. Ф. Сазонов, П. П. Гайдебуров, Э. Цаккони (Никита) и другие.

«Власть тьмы» много раз ставилась на советской сцене. Наиболее значительным является спектакль Московского Малого театра (1956, режиссер Б. И. Равенских), в котором потрясающий по глубине и силе образ Акима создал И. В. Ильинский.

[Драматическая обработка легенды об Аггее]. Впервые — «Л. Н. Толстой. Неизданные рассказы и пьесы». Изд. т-ва «Н. П. Карбасников». Париж, 1926. Написана в 1886 году. В основу пьесы положено сказание о гордом царе Аггее. Легенда была известна Л. Толстому по сб. А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (1859).

Плоды просвещения. Впервые — «В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного», 1891.

Толстой начал работать над комедией в ноябре 1886 года, еще не завершив окончательно «Власть тьмы». Затем работа над комедией была приостановлена и возобновлена в 1889 году сначала весной, а потом в конце года, когда молодежь — дети Толстого и их друзья — попросила писателя дать пьесу для домашнего спектакля. «Пьеса создавалась прямо по исполнителям и переделывалась и переписывалась по крайней мере раз двадцать — тридцать, но окончательная отделка ее была произведена уже после спектакля, в январе 1890 года»,— вспоминал учитель детей Толстого А. М. Новиков («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1978, с. 449).

После показа спектакля в Ясной Поляне 30 декабря 1889 года он был повторен в Туле 15 апреля 1890 года. Чтобы познакомиться с пьесой, из Москвы в Тулу специально приезжали А. И. Южин и В. И. Немирович-Данченко, высоко оценившие пьесу и ее постановку.

В 1891 году «Плоды просвещения» показывает Общество искусства и литературы. Ставил спектакль К. С. Станиславский. Это была крупная режиссерская работа в драматическом театре будущего руководителя Московского Художественного театра и реформатора сценического искусства. Станиславский играл роль Звездинцева, В. Ф. Комиссаржевская — Бетси, М. П. Лилина — Таню, А. Р. Артем — старого повара. А. А. Федотов, В. В. Лужский и В. Д. Лопатин играли роли мужиков. Впоследствии Станиславский вспоминал об этой своей режиссерской работе: «Мне хотелось дать как бы три разреза пьесы, три ее этажа: бар, мужиков и прислугу, и притом всех их — не театральных, по установ-

ленному сценическому канону и шаблону, но реальных, верных жизненной, бытовой правде» (см.: Н. Эфрос. К. С. Станиславский. (Опыт характеристики.) Пг., 1918, с. 51).

Первая постановка «Плодов просвещения» на профессиональной сцене состоялась 26 сентября 1891 года в петербургском Александринском театре.

В этом спектакле прославленному русскому актеру В. Н. Давыдову предложили роль Звездинцева, но артист отказался и выбрал роль третьего мужика.

Кроме Давыдова, в спектакле участвовали П. М. Свободин (Звездинцев), А. И. Абаринова (Звездинцева), В. А. Мичурина (Бетси), В. П. Далматов (Василий Леонидыч). Артист К. П. Шкарин, игравший второго мужика, был загримирован под Толстого. Грим для первого мужика, которого играл Н. Ф. Сазонов, был сделан по рисунку И. Е. Репина.

Актеры Александринского театра, изображавшие господ, не нашли сатирических красок для передачи внутреннего опустошения хозяев и гостей дома Звездинцевых. Но исполнение ролей мужиков, и прежде всего Давыдовым роли третьего мужика, во многом определило общественное звучание спектакля.

Присутствовавший на премьере И. Е. Репин на следующий день писал Т. Л. Толстой, дочери Льва Николаевича: «После второго акта стали кричать: автора! И так громко, что должен был выйти господин во фраке и сообщить со сцены, что автора в театре нет. Какая правдивость взгляда на жизнь, какая широта взмаха гениального художника видна во всей этой пьесе! Так освежило после всякой новой дребедени, которую дают последнее время здесь, у нас. Спасибо Льву Николаевичу» (И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Переписка, т. 1. М.— Л., 1949, с. 39).

12 декабря 1891 года состоялась премьера в Московском Малом театре. В спектакле участвовали: К. Н. Рыбаков (Звездинцев), Г. Н. Федотова (Звездинцева), А. П. Ленский (Кругосветлов), О. А. Правдин (Федор Иванович), О. О. Садовская (кухарка), Н. И. Музиль (старый повар), Е. Д. Турчанинова (Таня), П. М. Садовский, В. В. Гетман, В. А. Макшеев (мужики).

Толстой посетил этот спектакль 7 января 1892 года. Среди исполнителей, которые, по мнению писателя, создали наиболее верные характеры, он называл Рыбакова, Ленского, Турчанинову и Садовскую. Писатель был недоволен шаржированным изображением крестьян. «По моему мнению,— сказал Лев Николаевич об актерах, игравших мужиков,— они неестественно исполняют свои роли. И если не глядеть на сцену, а только слушать, что говорят, то нередко можно стать в тупик: чему же смеется публика? Ведь в речах мужиков постоянно звучит жалоба, а иногда и попытка протеста. И их слова, по моему мнению, скорее должны возбуждать сочувствие к безвыходному положению, а уж никак не смех» (см.: П. М. Пчельников. Из дневника.— В кн.: О Толстом. Международный толстовский альманах. М., 1909, с. 274).

«Плоды просвещения» широко ставились на русской дореволюционной и советской сцене. Наиболее значительным был спектакль Московского Художественного театра, поставленный М. Н. Кедровым в 1951 году. Этот спектакль вошел в число лучших постановок классических пьес советского театра. Роли исполняли: В. Я. Станицын (Звездинцев), Л. М. Коренева (Звездинцева), А. О. Степанова (Бетси), П. В. Массальский (Василий Леонидыч), В. О. Топорков (Кругосветлов), Т. А. Забродина (Таня), мужики — А. Н. Грибов, А. В. Жильцов и В. В. Грибков. Подробное описание спектакля см. в кн.: Е. Полякова. Театр Льва Толстого, М., 1978, с. 207—218.

«Плоды просвещения» ставились за рубежом — в Германии, Англии, Франции, Бельгии, Болгарии, Чехословакии и других странах.

Петр Хлебник. Впервые — журн. «Голос Толстого и Единение», 1918, № 1. Написана в 1894 году. Пьеса предназначалась для спектакля в Ясной Поляне с участием детей Толстого и крестьянских детей.

В 1918 году пьеса была поставлена в Александринском театре Петрограда (режиссер — В. Э. Мейерхольд, художник — А. Я. Головин) и в Московском театре К. Н. Незлобина (режиссер — Н. Н. Званцов).

В Ленинградском государственном архиве литературы и искусства (ЛГАЛИ) сохранилось дело «О постановке пьесы-легенды Л. Н. Толстого «Петр Хлебник». В нем содержится ряд документов, связанных со спектаклем Александринского театра.

В одном из них сказано: «На сцене Александринского театра в присутствии специалистов театральной литературы, художников и артистов драматической труппы состоялось чтение легенды гр. Л. Н. Толстого «Петр Хлебник», после которого состоялся обмен мнений о данном произведении, а также и возможности его постановки на сцене Александринского театра. Ввиду того что, по заключению присутствующих на чтении, легенда «Петр Хлебник» признана выдающимся произведением, Временный комитет государственных Александринского и Михайловского театров в заседании своем постановил названную легенду к постановке на сцене Александринского театра принять и войти в сношение с заведующими этим произведением Л. Н. Толстого о тех условиях, на которых возможна постановка этой пьесы в государственных петроградских драматических театрах» (ЛГАЛИ, ф. 4463, оп. 1, д. 69, л. 9).

19 февраля 1918 года Временный комитет получил следующее заявление артиста И. М. Уралова: «Прилагая при сем два экземпляра пьесы-легенды «Петр Хлебник» Л. Н. Толстого, заявляю, что право постановки, печатания и воспроизведения в кинематографе В. Г. Чертковым и А. Л. Толстой предоставлено мне. Я со своей стороны предоставляю это товарищам александринцам, но вынужден Временному комитету оговорить обязательное условие: 10% с каждого валового сбора должны быть представлены

мне, ибо значительная часть их пойдет в фонд издательства произведений Л. Н. Толстого, бывших при самодержавном режиме под запрещением» (ЛГАЛИ, ф. 4463, оп. 1, д. 69, л. 9 об.).

Спектакль Александринского театра «Петр Хлебник» ломал религиозно-мистическую основу драмы. Занятые в нем актеры ярко выраженной бытовой складки создавали сочные жизненные характеры. Это в равной мере относилось и к Петру — И. М. Уралову, и к исполнителям небольших ролей нищих и особенно к появляющейся один раз во втором акте юродивой, роль которой исполняла Е. П. Корчагина-Александровская.

Живой труп. Впервые — газ. «Русское слово», 1911, 23 сентября. Драма написана в 1900 году.

Основой для фабулы пьесы послужило уголовное дело супругов Екатерины и Николая Гимер, о котором писатель узнал в 1897 году (см.: В. А. Жданов. Судебное дело Гимеров и пьеса Л. Н. Толстого «Живой труп».— В кн.: Л. Н. Толстой. Статьи и материалы. Горький, 1966). Но еще до этого у Толстого возникли некоторые идеи и образы, воплотившиеся в драме «Живой труп». В дневниковой записи от 9 февраля 1894 года читаем: «Ясно пришла в голову мысль повести, в которой выставить бы двух человек: одного — распутного, запутавшегося, павшего до презрения только от доброты, другого — внешне чистого, почтенного, уважаемого от холодности, не любви» (т. 52, с. 112). Эту запись исследователи справедливо связывают с творческой историей «Живого трупа». Замысел Толстого противопоставить двух подобных людей воплотится не в повести, как предполагал писатель, а в драме. После того как Толстой посмотрел 24 января 1900 года «Дядю Ваню» А. П. Чехова в Московском Художественном театре, он записал в дневнике: «Ездил смотреть «Дядю Ваню» и возмутился. Захотел написать драму «Труп» (т. 54, с. 10). Об отношении Толстого к пьесам Чехова и развернутый сопоставительный анализ «Дяди Вани» и «Живого трупа» см. в кн.: В. Лакшин. Толстой и Чехов. М., 1975, с. 381—455.

Завершив к концу 1900 года первую редакцию «Живого трупа» и поправив первые действия, Толстой решил оставить работу над пьесой. «Не только не думаю ее теперь кончать и печатать,— писал он В. Г. Черткову,— но очень сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь это сделал» (т. 88, с. 216). В том же году один из руководителей Московского Художественного театра, В. И. Немирович-Данченко, приезжал к Толстому и просил дать эту пьесу для театра. «Когда умру — играйте...» — ответил писатель (см.: журн. «Студия», 1911, № 1, с. 5).

После смерти Толстого его наследники передали право первой постановки «Живого трупа» Московскому Художественному театру. Премьера состоялась 23 сентября 1911 года. Режиссеры — К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. Роли исполняли: Протасов — И. М. Москвин; Лиза — М. Н. Германова,

Каренин — В. И. Качалов, Каренина — М. П. Лилина, Абрезков — К. С. Станиславский, Маша — А. Г. Коонен.

Огромной силой протестующего духа, неприятия фальшивой морали при внешней мягкости характера был наполнен образ Протасова в исполнении Москвина. На сцене был человек тихий и добрый, с кристально чистой душой, органически не приемлющий лжи и фарисейства. Большого успеха добились и исполнители других ролей. «Живой труп» был одним из выдающихся спектаклей Московского Художественного театра.

Через пять дней после премьеры Московского Художественного театра — 28 сентября 1911 года — спектакль был показан в Петербурге в Александринском театре. Режиссеры — В. Э. Мейерхольд и А. Л. Загаров. Роли исполняли: Протасов — Р. Б. Аполлонский, Лиза — И. А. Стравинская, Каренин — Ю. М. Юрьев, Каренина — М. Г. Савина, Абрезков — В. П. Далматов, Маша — Н. И. Комаровская. В творческой палитре Мейерхольда не было красок, близких поэтике Толстого, и это не могло не сказаться на художественном результате спектакля. Но тем не менее встреча с героями Толстого была этапом в постижении Александринским театром духовной жизни человека во всех ее сложных связях и противоречиях.

Громадный и повсеместный интерес к пьесе Толстого вызвал большое количество постановок во многих городах России. В том же 1911 году «Живой труп» был поставлен в Киеве, Харькове, Одессе, Саратове и других городах. Драма часто ставилась на русской дореволюционной, советской и зарубежной сцене. «Живой труп» является одной из самых репертуарных пьес мирового театра. Роль Федора Протасова исполняли многие выдающиеся актеры: Н. Н. Ходотов, П. П. Гайдебуров, И. Н. Певцов, И. Н. Берсенев, Н. К. Симонов, М. Ф. Романов, М. И. Царев, А. В. Баталов, В. К. Папазян, Н. А. Сличенко и другие.

«Живой труп» ставился во многих странах мира — Австрии, Германии, Англии, Франции, США, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Норвегии, Италии, Греции и др. Среди наиболее известных зарубежных исполнителей роли Протасова — итальянский актер де Сантис и немецкий А. Моисси. В 1929 году режиссер Ф. Оцеп поставил фильм с В. Пудовкиным в роли Протасова.

О т н е й в с е к а ч е с т в а. Впервые — «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого» под ред. В. Г. Черткова, т. I, М., 1911. Написана в 1910 году.

Пьеса предназначалась для одного из любительских спектаклей, которые ставила группа молодежи в Телятинках на хуторе В. Г. Черткова, недалеко от Ясной Поляны. Телятинские любители поставили комедию в 1912 году. Пьесу много играли в любительских, народных и профессиональных театрах.

В 1911 году пьеса шла в Москве — в театре Корша, в Петербурге — в Александринском театре и в Общедоступном театре

под руководством П. П. Гайдебурова. В этих спектаклях роль Прохожего играли выдающиеся актеры Б. С. Борисов и П. П. Гайдебуров. В 1913 году «От ней все качества» была поставлена Рабочим театром в Петербурге. Дооктябрьская «Правда» положительно отозвалась об этом спектакле (см.: «Путь правды», 1913, 4 декабря).

В первые послеоктябрьские годы комедия шла в Александринском театре и театре Незлобина в Москве.

Ю. Рыбакова

ХАДЖИ-МУРАТ

Впервые — «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», т. III, М., 1912 — с большими цензурными пропусками: была сильно сокращена глава о Николае I, почти целиком выпущена глава XVII о разоренном ауле, где жил Садо. Полностью повесть опубликована: «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», т. III, Берлин, 1912.

Толстой начал писать повесть в 1896 году. «Татарин на дороге. Хаджи-Мурат»,— отметил Толстой в записной книжке 18 июля 1896 года после прогулки в окрестностях Пирогова, где он гостил у брата С. Н. Толстого. Из этого зерна выросла сжатая первоначальная редакция повести — «Репей».

Образ Хаджи-Мурата в «Репье» в основных своих чертах уже определился. Найден был и важный композиционный ход, оставшийся до последних редакций без изменений: прежде чем описывается гибель Хаджи-Мурата, рассказано, как появляется Каменев с его отрубленной головой.

Однако повесть перерабатывалась в течение нескольких лет. «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности» (т. 73, с. 353),— писал Толстой. Для одного первого наброска «Хаджи-Мурата» он ознакомился с сочинениями, в которых насчитывается около 5000 страниц.

В повести нашли отражение исторические документы, печатные и архивные источники. Толстой читал записки историка кавказских войн А. Л. Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе» (СПб., 1879, ч. I и II); «Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский» (М., 1889—1890, тт. I, II, III); «Хаджи-Мурат. Письма о нем кн. М. С. Воронцова и рассказы кавказцев. 1851—1852» («Русская старина», 1881, № 3); А. И. Андреева «По дебрям Дагестана» («Исторический вестник», 1899, № 10); Е. А. Вердеревского «Плен у Шамиля» (СПб., 1856); «Сборник сведений о кавказских горцах» (вып. I—X. Тифлис, 1869—1881) и многие другие (см. т. 35, с. 631—633 — список источников).

Большинство персонажей повести — действительно существовавшие лица, прежде всего сам Хаджи-Мурат, Николай I, Воронцов, Шамиль, а также генералы русской армии (В. М. Козловский, 1796—1873; П. П. Меллер-Закомельский, 1806—1869; Н. П. Слепцов, 1815—1851), окружение Николая I (военный министр

А. И. Чернышев, 1786—1857; генерал-губернатор Юго-Западного края, затем министр внутренних дел Д. Г. Бибиков, 1792—1870; министр двора и уделов П. М. Волконский, 1776—1852, и т. д.), окружение Шамиля (наставник Шамиля Джемал-Эддин, Зайдет, Аминет), присутствовавшие на обеде князя Воронцова (генерал-штаб-доктор кавказского наместничества Э. С. Андреевский; грузинская княжна Манана Орбелиани; графиня В. Г. Шуазёль, жена адъютанта М. С. Воронцова) и т. д.

Повесть имеет десять редакций с многочисленными вариантами. С 1898 по 1901 год в Дневнике и письмах Толстого нет ни одного упоминания о «Хаджи-Мурате». Но замысел «Кавказской истории» не отпускает Толстого. В 1901 году работа возобновляется. Толстой пишет «то с охотой, то с неохотой и стыдом» (т. 54, с. 134). Он сообщает брату Сергею Николаевичу 29 июня 1902 года: «Я теперь пишу обращение к рабочему народу... Когда кончу, хочу кончить рассказ о Хаджи-Мурате. Это баловство и глупость, но начато и хочется кончить» (т. 73, с. 262).

С 6 августа по 23 сентября 1902 года — самый плодотворный период работы. 11 октября 1902 года Толстой написал В. Г. Черткову: «Кончил Хаджи-Мурата, который в неотделанном вполне виде отложил и при жизни не буду печатать» (т. 88, с. 278). 10 ноября 1902 года повесть читалась вслух в Ясной Поляне приехавшим в этот день М. А. Стаховичем.

Но и после этого «Хаджи-Мурат» продолжал владеть творческим сознанием Толстого. 6 мая 1903 года он пишет М. Л. Оболенской: «Пересматривал «Хаджи-Мурата». Не хочется оставить со всеми промахами и слабостями, а заниматься им на краю гроба, особенно, когда в голове более подходящие к этому положению мысли, совестно. Буду делать от себя потихоньку» (т. 74, с. 124). Переделки и поправки текста были закончены в декабре 1904 года. 26 января 1905 года С. А. Толстая под диктовку Толстого записала отрывок, представляющий собой краткий рассказ о жизни Хаджи-Мурата.

По свидетельству Д. П. Маковицкого, С. А. Толстая прочитала вслух в Ясной Поляне в присутствии Толстого опубликованные в газете «Русское слово» от 6 февраля 1909 года слова А. И. Куприна, высказанные им в беседе с корреспондентом А. Измайловым: «Может быть, держа в своем столе такие свои работы, как «Хаджи-Мурат» и не пуская их в свет, он держит мысль показать нам уже после своей смерти, какая у него была сила, и эти последние вещи его — какой-то там «Круг для чтения», какая-то маленькая мудрость на каждый день, покажутся совершенным пустяком, оттеняющим его настоящее величие в художественной вещи» (У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого.— «Литературное наследство», т. 90, кн. 3, с. 322).

Стр. 286. *...к русскому начальнику, к Воронцову, князю.*— Воронцов Семен Михайлович (1823—1882) — сын наместника

Кавказа М. С. Воронцова, флигель-адъютант, командир Куринского егерского полка.

Стр. 293. *...ротный командир Полторацкий...* — Полторацкий Владимир Алексеевич (1828—1889) — подпоручик, ротный командир Куринского полка, впоследствии генерал. Материал его «Воспоминаний» использован Толстым в работе над «Хаджи-Муратом».

Стр. 317. *Воронцов Михаил Семенович* (1782—1856) — с 1844 по 1854 г. наместник Кавказа.

Стр. 321. *Мюрат* Иоахим (1767—1815) — маршал Наполеона.

Стр. 323. *Клюгенау* Франц Карлович (1791—1851) — генерал-лейтенант, командовал войсками в Северном Дагестане. Переписка Клюгенау с Хаджи-Муратом и его записки («Русская старина», 1876, № 6; документы «Военно-исторического отдела штаба Кавказского округа») использованы Толстым.

Стр. 325. *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825—1888) — адъютант М. С. Воронцова, впоследствии крупный государственный деятель, министр внутренних дел. В гл. XI и XIII «Хаджи-Мурата» отражен записанный Лорис-Меликовым рассказ Хаджи-Мурата о его жизни («Русская старина», 1881, № 3).

Стр. 328. *Кази-Мулла* (1795—1832) — первый имам Чечни и Дагестана, объявивший хазават (священную войну мусульман против «неверных»). В 1832 году был окружен в Гимрах войсками под командованием барона Розена и убит. После него имамом стал Гамзат-Бек (1789—1834). Третьим имамом был Шамиль (1799—1871).

Стр. 331. *Мансур* Хасс Мохамед — мусульманский проповедник на Кавказе.

Стр. 338. *...Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву.* — Толстой приводит в переводе с французского подлинное письмо М. С. Воронцова.

Стр. 343. *...Захара Чернышева...* — Чернышев Захар Григорьевич (1796—1862), граф, декабрист, член Южного тайного общества. В событиях 14 декабря 1825 года непосредственно не участвовал. Однако был приговорен к одному году каторги и затем к ссылке на поселение. Существуют свидетельства современников о том, что этот суровый судебный приговор являлся результатом интриги А. И. Чернышева, ближайшего помощника Николая I по ликвидации заговора декабристов. А. И. Чернышев, однофамилец осужденного в каторжные работы Захара Чернышева, пытался завладеть его наследством (см. об этом: «Записки, статьи, письма И. Д. Якушкина». М., изд-во АН СССР, 1951, с. 110—111).

Стр. 349. *...план Ермолова...* — Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — генерал, с 1816 по 1827 год главноуправляющий в Грузии, «проконсул Кавказа».

Стр. 374. *Барятинский* Александр Иванович (1815—1879), князь, генерал, с 1856 года — наместник Кавказа. В 1859 году

он принудил Шамиля к сдаче. Толстой был лично знаком с А. И. Барятинским.

Стр. 393. *Корганов* Иосиф Иванович — уездный воинский начальник г. Нухи, в доме которого перед побегом жил Хаджи-Мурат. Работая над повестью, Толстой обратился к вдове Корганова с просьбой сообщить все, что она помнит о Хаджи-Мурате, о его бегстве и гибели. Толстого интересовали, например, такие подробности: говорил ли Хаджи-Мурат хоть немного по-русски, чьи были лошади, на которых он хотел бежать, заметно ли он хромал, какие были мюриды, бежавшие с ним (см.: т. 74, с. 10—11).

СЛОВАРЬ ГОРСКИХ СЛОВ

Абрек (*черкесск.*) — беглый горец, разбойник.
Аварцы — самая многочисленная народность, населявшая средний Дагестан.
Адат (*арабск.*) — обычай, освященный давностью.
Айя (*ногайск.*) — да.
Аманат (*арабск.*) — заложник.
Ана (*кумыкск.*) — мать.

Бар (*кумыкск.*) — есть.
Баранчук (*кумыкск.*) — ребенок.
Бу[о]лур (*кумыкск.*) — будет.

Гурда (*чеченск.*) — «Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру Гурда» (*прим. Л. Н. Толстого к «Казакам»*).

Имам (*арабск.*) — мусульманский владыка, соединяющий в своем лице высшую духовную и светскую власть.
Йок (*кумыкск.*) — нет.

Кошкильды или хошгельды (*кумыкск.*) — «Здравия желаем, мир вам» (*прим. Л. Н. Толстого к «Казакам»*).
Кумган (*кумыкск.*) — высокий медный кувшин с носиком и крышкой.
Кунак (*турецк.*) — друг, товарищ.
Курбан-Байрам (*арабск.*) — главный мусульманский праздник.
Курпей (*кумыкск.*) — верх папахи.

Ля илляха иль алла (*арабск.*) — «Нет бога, кроме аллаха» (в такой транскрипции записал Толстой одно из главных мусульманских молитвословий).

Минарет (*арабск.*) — башня при мечети.
Муталим (*арабск.*— мулаттим) — человек, выполняющий мусульманские обряды во время похорон.
Муэдзин (*арабск.*) — служитель мечети, выкрикивающий с высоты минарета призывы к молитве.

Мюрид (*арабск.*) — послушник, «искатель истины». «Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем» (*прим. Л. Н. Толстого к «Набегу»*).
Мюршид (*арабск.*) — религиозный наставник мюрида.

Наиб (*арабск.*) — «Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления» (*прим. Л. Н. Толстого к «Набегу»*).
Намаз (*персидск.*) — повседневная молитва мусульман, совершаемая пять раз в сутки.
Ноговицы — часть обуви, состоящая из голенищ без головок.
Нукер (*персидск.*) — служитель, телохранитель.

Пешкеш (*персидск.*) — подарок.
Пильгиши (*чеченск.*) — пельмени или клецки с начинкой.

Сардарь (*персидск.*) — главнейший правитель, командующий войсками, у горцев — царский наместник Кавказа.
Селям-алейкум (*арабск.*) — привет тебе, здравствуй.
Саубул (*кумыкск.*) — будь здоров.

Тарикат (*арабск.*) — религиозное мусульманское учение о подвижнической жизни.
Той (*кумыкск.*) — пирушка с музыкой, песнями и плясками.
Тулумбасы (*персидск.*) — музыкальный ударный инструмент.

Улан-якши (*кумыкск.*) — молодец парень.

Ходжи (*арабск.*) — звание мусульманина, совершившего паломничество в Мекку и Медину для поклонения священному камню и гробу Магомета; Мурат — дорогой.
Хозыри (*арабск.*) — патроны в гнездах, нашитых на черкеску по обеим сторонам груди.

Чихирь (*кумыкск.*) — молодое вино.

Шарнат (*арабск.*) — мусульманское законодательство, основанное на Коране и других священных мусульманских книгах.
Шейх (*арабск.*) — духовный наставник.

М. Бойко

НЕОКОНЧЕННОЕ

История вчерашнего дня. Впервые — Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. 1, 1928.

В марте 1851 года, когда Дневник полон *правилами*, то есть нравственными требованиями, обращенными к себе самому, уко-

рами в «лени и трусости», «слабости характера», «лени», «привычке спорить», отмечено и намерение «написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями...» (24 марта 1851 г.) (т. 46, с. 55). Непосредственно к содержанию очерка относится тогда же сделанная запись: «У Волконских был неестествен и рассеян, и засиделся до часу» (т а м ж е). Волконские — троюродный брат Л. Н. Толстого князь Александр Алексеевич и его жена Луиза Ивановна, рожденная Трузсон. С. А. Толстая считала Луизу Ивановну прототипом «маленькой княгини», жены Андрея Болконского.

Стр. 398. *...начнутся спекуляции...* — Гегелевский термин, означающий созерцающее мышление, умозрительные построения.

Стр. 399. *Ж.-Ж. Руссо в числе всех тех вещей...* — Ж.-Ж. Руссо в «Исповеди» во избежание празднословия предлагал заниматься лучше в обществе самой пустой игрой, лишь бы зря не болтать.

Стр. 401. *Вертер* — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера».

...брегетовские часы... — дорогие карманные часы с боем («недремлющий брегет» у Пушкина).

Стр. 403. *...как в 5-й фигуре...* — фигура танца, в которой кавалер расходится с дамой и несколько па делает один.

...Наполеону не так больно было видеть... — Для поражения Наполеона при Ватерлоо в 1815 году решающее значение имел переход насильно мобилизованных саксонцев на сторону его врагов.

Стр. 404. *...визжали подрезa* — металлическая нижняя часть полозьев у городских саней.

Стр. 409. *...франклиновский журнал...* — Бенджамин Франклин (1706—1790), американский политический деятель и публицист, вел «журнал своих слабостей» в целях самоусовершенствования. Дальнейший текст, как и Дневник Толстого, содержит такого рода примеры.

Стр. 412. *Помнишь, Saint-Thomas не велел...* — Сен-Тома, гувернер-француз у братьев Толстых; прототип Сен-Жерома в «Отрочестве» и «Юности».

М о я ж и з н ь. Впервые — Сб. «Русским матерям», М., 1892, под названием «Первые воспоминания (Из неизданных автобиографических заметок Л. Н. Толстого)».

Работа над воспоминаниями была начата в мае 1878 года. В Дневнике Толстого 22 мая отмечено: «Начал писать *свою жизнь*» (т. 48, с. 70).

А. Чичерин

З а п и с к и с у м а с ш е д ш е г о. Впервые — «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», т. III, М., 1912.

Впервые о замысле повести Толстой упоминает 30 марта 1884 года в Дневнике: «Пришли в голову «Записки не сумасшедшего». Как живо я их пережил...» (т. 49, с. 75—76). Сохранился автограф отрывка «Записки сумасшедшего», относящийся к апрелю 1884 года. Повесть не была закончена, хотя писатель возвращался к ней в 1887, 1888, 1896 и 1903 годах. В «Записках сумасшедшего» отразились личные переживания Толстого от пребывания в Арзамасе в сентябре 1869 года, когда он ездил в Пензенскую губернию с целью купить имение. О состоянии, испытанном им в то время («арзамасский ужас»), он писал: «...я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал» (т. 83, с. 167).

В. Линков

Воспоминания. Впервые — «Л. Н. Толстой. Биография», изд. «Посредник», т. 1, 1906, отдельными отрывками.

В 1901 году биограф Толстого П. И. Бирюков обратился к нему с просьбой сообщить некоторые факты своей биографии. 14 декабря 1902 года Толстой составил конспект воспоминаний, а в январе 1903 года начал писать их. «Чем старше я становлюсь, тем воспоминания мои становятся живее»,— писал Толстой в Дневнике (т. 55, с. 145).

Работа над «Воспоминаниями» прекратилась в конце 1906 года.

Что я видел во сне. Впервые — «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», т. 1, М., 1911.

Рассказ написан в ноябре 1906 года. Можно предположить, что в основу его сюжета легло событие из жизни брата Толстого, Сергея Николаевича (1826—1904) и его дочери Веры Сергеевны. Это подтверждается некоторыми записями в Дневнике Толстого и его письмами к брату и племяннице 1900—1901 гг., а также воспоминаниями Х. Н. Абрикосова «Двенадцать лет около Толстого» («Летописи Государственного литературного музея. Л. Н. Толстой», т. II, кн. 12, М., 1948). В рассказе нашла выражение излюбленная мысль Толстого, что отношения героев — отца и дочери — «ничем, кроме как любовью, исправлены быть не могут» (т. 73, с. 132).

М. Бойко

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

произведений Л. Н. Толстого, вошедших в 1—12 тт. *Собрания сочинений*

	Том	*Стр.*
Акула	IX	92
Алеша Горшок	XI	378
Альберт	II	204
Анна Каренина (*Части первая — четвертая*)	VII	5
Анна Каренина (*Части пятая — восьмая*)	VIII	5
Архиерей и разбойник	IX	95
Баба и курица	IX	20
Бешеная собака	IX	68
Благодарная почва	XI	511
Бог правду видит, да не скоро скажет	IX	151
Божеское и человеческое	XI	456
Булька	IX	137
Булька и волк	IX	143
Булька и кабан	IX	138
Визирь Абдул	IX	34
Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть»	XII	21
Водяной и жемчужина	IX	88
Война и мир. *Том первый*	III	157
Война и мир. *Том второй*	IV	5
Война и мир. *Том третий*	V	5
Война и мир. *Том четвертый*	VI	5
Война и мир <Первая редакция окончания романа>	VI	364
Волга и Вазуза	IX	76
Волк в пыли	IX	61
Волк и журавль	IX	59
Волк и коза	IX	160
Волк и лук	IX	113

Волк и мужик	IX	168
Волк и старуха	IX	29
Волк и ягненок	IX	175
Вольга-богатырь	IX	162
Воробей и ласточки	IX	90
Ворон и воронята	IX	199
Ворон и лисица	IX	206
Воскресение	X	5
Воспоминания	XII	432
Вражье лепко, а божье крепко	IX	270
Вредный воздух	IX	172
Вторая русская книга для чтения	IX	
Газы. I	IX	189
Газы. II	IX	190
Галка и голуби	IX	19
Галчонок	IX	126
Гальванизм	IX	203
Где любовь, там и бог	IX	259
Голова и хвост змеи	IX	12
Два брата	IX	86
Два брата и золото	IX	252
Два гусара	II	123
Два купца	IX	36
Два старика	IX	288
Два товарища	IX	170
Две лошади	IX	69
Две различные версии истории улья с лубочной крышкой	X	521
Девочка и грибы	IX	50
Девчонки умнее стариков	IX	273
Декабристы	II	479
Дележ наследства	IX	21
Дергач и его самка	IX	194
Детство	I	41
Дикий и ручной осел	IX	108
Для чего ветер?	IX	74
Дойная корова	IX	26
Дорого стоит	X	479
[Драматическая обработка легенды об Аггее]	XII	96
Дуб и орешник	IX	172
Дурень	IX	43
Дурной воздух	IX	174
Дьявол	XI	173
Дяденька Жданов и кавалер Чернов	II	401
Еж и заяц	IX	85
Ермак	IX	96

Живой труп . . . . . XII 207
Жилетка . . . . . IX 52
Журавль и аист . . . . . IX 57

Зайцы . . . . . IX 109
Зайцы и лягушки . . . . . IX 64
Записки маркера . . . . . I 438
Записки сумасшедшего . . . . . XII 421
За что? . . . . . XI 432
Заяц и гончая собака . . . . . IX 109
Золотоволосая царевна . . . . . IX 77

Идиллия («Оно заработки хорошо, да и грех бывает оттого»; «Не играй с огнем — обожжешься») . . . . . II 443
Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн . . . II 180
Из кавказских воспоминаний. Разжалованный . . I 456
Ильяс . . . . . IX 255
Индеец и англичанин . . . . . IX 51
История вчерашнего дня . . . . . XII 398

Кавказский пленник . . . . . IX 207
Казаки . . . . . III 5
Какая бывает роса на траве . . . . . IX 51
Как в городе Париже починили дом . . . . . IX 18
Как волки учат своих детей . . . . . IX 63
Как вор сам себя выдал . . . . . IX 35
Как гуси Рим спасли . . . . . IX 117
Как делают воздушные шары . . . . . IX 195
Как дядя рассказывал про то, как он ездил верхом IX 84
Как дядя Семен рассказывал про то, что с ним в лесу было . . . . . IX 7
Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза . . . . . IX 19
Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город . . . . . IX 17
Как мальчик рассказывал о том, как он дедушке нашел пчелиных маток . . . . . IX 22
Как мальчик рассказывал о том, как он перестал бояться слепых нищих . . . . . IX 26
Как мужик гусей делил . . . . . IX 113
Как мужик убрал камень . . . . . IX 56
Как научились бухарцы разводить шелковичных червей . . . . . IX 31
Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник IX 32
Как тетушка рассказывала о том, как она выучилась шить . . . . . IX 14
Как тетушка рассказывала о том, как у нее был ручной воробей-Живчик . . . . . IX 64

Как умирают русские солдаты (Тревога) . . . II 404
Как ходят деревья . . . IX 193
Как чертенок краюшку выкупал . . . IX 344
Как я в первый раз убил зайца . . . IX 39
Как я выучился ездить верхом . . . IX 127
Камбиз и Псаменит . . . IX 91
Камень . . . IX 12
Камыш и маслина . . . IX 167
Китайская царица Силинчи . . . IX 26
Клопы . . . IX 116
[Князь Федор Щетинин] . . . VIII 473
Комар и лев . . . IX 114
Конец Бульки и Мильтона . . . IX 146
Корней Васильев . . . XI 404
Корова . . . IX 8
Корова и козел . . . IX 198
Косточка . . . IX 36
Котенок . . . IX 30
Кот и мыши . . . IX 134
Крейцерова соната . . . XI 97
Крестник . . . IX 360
Кристаллы . . . IX 158
Кто прав? . . . X 494
Куда девается вода из моря? . . . IX 21
Курица и золотые яйца . . . IX 28
Курица и ласточка . . . IX 51

Лгун . . . IX 17
Лев, волк и лисица . . . IX 176
Лев и лисица . . . IX 120
Лев и мышь . . . IX 15
Лев и собачка . . . IX 70
Лев, медведь и лисица . . . IX 22
Лев, осел и лисица . . . IX 191
Лед, вода и пар . . . IX 134
Липунюшка . . . IX 28
Лисий хвост . . . IX 177
Лисица . . . IX 108
Лисица и виноград . . . IX 53
Лисица и козел . . . IX 56
Лозина . . . IX 62
Лошадь и конюх . . . IX 24
Лошадь и хозяева . . . IX 115
Лягушка и лев . . . IX 25

Магнит . . . IX 81
Мальчик с пальчик . . . IX 40
Мать . . . IX 483
Медведь на повозке . . . IX 61
Метель . . . I 482
Микулушка Селянинович . . . IX 229
Мильтон и Булька . . . IX 141

Много ли человеку земли нужно	IX	347
Море	IX	23
Моя жизнь	XII	416
Мужик и водяной	IX	206
Мужик и лошадь	IX	31
Мужик и огурцы	IX	20
Муравей и голубка	IX	11
Мышь-девочка	IX	27
Мышь под амбаром	IX	63
Набег	I	374
Наседка и цыплята	IX	189
Не играй с огнем — обожжешься (Идиллия)	II	463
Несколько слов по поводу книги «Война и мир»	VI	514
Нет в мире виноватых	XI	518
Ноша	IX	35
Обезьяна	IX	16
Обезьяна и горох	IX	25
Олень	IX	109
Олень и виноградник	IX	123
Олень и ланчук	IX	52
Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того (Идиллия)	II	443
Орел	IX	60
Осел в львиной шкуре	IX	51
Осел и лошадь	IX	18
Основание Рима	IX	150
Осязание и зрение	IX	55
Отец и сыновья	IX	73
Отец Сергий	XI	265
От ней все качества	XII	267
Отрочество	I	140
Отрывки рассказов из деревенской жизни	II	468
Отрывок дневника 1857 года (Путевые записки)	II	408
От скорости сила	IX	15
Отчего бывает ветер?	IX	73
Отчего в морозы трещат деревья?	IX	118
Отчего зло на свете	IX	202
Отчего потеют окна и бывает роса?	IX	93
Охота пуще неволи	IX	182
Первая русская книга для чтения	IX	
Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил	XII	5
Перепелка и перепелята	IX	136
Петр I и мужик	IX	67
Петр Хлебник	XII	198
Плоды просвещения	XII	106
Подкидыш	IX	12

Пожар . . . . . IX 24
Пожарные собаки . . . . . IX 16
Поликрат Самосский . . . . . IX 160
Поликушка . . . . . II 321
После бала . . . . . XI 308
Посмертные записки старца Федора Кузмича . . . XI 384
Праведный судья . . . . . IX 120
Прыжок . . . . . IX 170
Птицы и сети . . . . . IX 147

Работник Емельян и пустой барабан . . . . . IX 376
Работницы и петух . . . . . IX 54
Разная связь частиц . . . . . IX 120
Рассказ аэронавта . . . . . IX 196
Рассказ мужика о том, за что он старшего брата своего любит . . . . . IX 38
Рассказы из «Новой азбуки» IX
Ровное наследство . . . . . IX 71
[Роман о времени Петра I] . . . . . VIII 419
Рубка леса . . . . . I 401
Русак . . . . . IX 111
Рыбак и рыбка . . . . . IX 55

Садовник и сыновья . . . . . IX 58
Самокрутка . . . . . IX 54
Самые лучшие груши . . . . . IX 75
Сан-готардская собака . . . . . IX 37
Свечка . . . . . IX 306
Святогор-богатырь . . . . . IX 48
Святочная ночь . . . . . II 374
Севастополь в августе 1855 года . . . . . II 62
Севастополь в декабре месяце . . . . . II 5
Севастополь в мае . . . . . II 20
Семейное счастие . . . . . II 243
Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах IX 314
Слепой и глухой . . . . . IX 11
Слепой и молоко . . . . . IX 111
Слон . . . . . IX 25
Смерть Ивана Ильича . . . . . XI 42
Собака и волк . . . . . IX 110
Собака и ее тень . . . . . IX 57
Собака, петух и лисица . . . . . IX 23
Собаки и повар . . . . . IX 149
Сова и заяц . . . . . IX 59
Сокол и петух . . . . . IX 78
Солдаткино житье . . . . . IX 129
Солнце — тепло . . . . . IX 200
Сон молодого царя . . . . . X 511
Старик и смерть . . . . . IX 117
Старый дед и внучек . . . . . IX 20

Старый тополь . . . . . IX 192
Сто лет . . . . . VIII 491
Стрекоза и муравьи . . . . . IX 27
Строгое наказание . . . . . IX 108
Судома . . . . . IX 58
Сухман . . . . . IX 103
Сырость. I . . . . . IX 118
Сырость. II . . . . . IX 119

Теленок на льду . . . . . IX 77
Тепло. I . . . . . IX 79
Тепло. II . . . . . IX 79
Тепло. III . . . . . IX 80
Тихон и Маланья . . . . . II 431
Тонкие нитки . . . . . IX 15
Топор и пила . . . . . IX 129
Третья русская книга для чтения IX
Три вора . . . . . IX 72
Три дня в деревне . . . . . XI 491
Три калача и одна баранка . . . . . IX 66
Три медведя . . . . . IX 5
Три смерти . . . . . II 230
Три старца . . . . . IX 338
Труждающиеся и обремененные . . . . . VIII 483
1000 золотых . . . . . IX 66

Удача . . . . . IX 53
Удельный вес . . . . . IX 175
Уж . . . . . IX 88
Упустишь огонь — не потушишь . . . . . IX 275
Утка и месяц . . . . . IX 60
Утро помещика . . . . . I 510
Ученый сын . . . . . IX 31

Фазаны . . . . . IX 140
Фальшивый купон . . . . . XI 318
Филипок . . . . . IX 9
Франсуаза . . . . . X 471

Хаджи-Мурат . . . . . XII 281
Хозяин и работник . . . . . XI 218
Холстомер . . . . . XI 5
Хорек . . . . . IX 14

Цапля, рыбы и рак . . . . . IX 83
Царские братья . . . . . IX 110
Царский сын и его товарищи . . . . . IX 123

Царское новое платье . . . . . IX 177
Царь и рубашка . . . . . IX 167
Царь и слоны . . . . . IX 182
Царь и сокол . . . . . IX 107

Чем люди живы . . . . . IX 232
Черемуха . . . . . IX 193
Черепаха . . . . . IX 142
Черепаха и орел . . . . . IX 11
Четвертая русская книга для чтения IX
Что случилось с Булькой в Пятигорске . . . . . IX 145
Что я видел во сне... . . . . XII 489
Чутье . . . . . IX 148

Шакалы и слон . . . . . IX 81
Шат и Дон . . . . . IX 57
Шелковичный червь . . . . . IX 178

Эскимосы . . . . . IX 13

Юность . . . . . I 218

Яблони . . . . . IX 114
Ягоды . . . . . XI 421

СОДЕРЖАНИЕ

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил 5
Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть» 21
[Драматическая обработка легенды об Аггее] 96
Плоды просвещения 106
Петр Хлебник 198
Живой труп 207
От ней все качества 267
ХАДЖИ-МУРАТ 281

НЕОКОНЧЕННОЕ

История вчерашнего дня 398
Моя жизнь 416
Записки сумасшедшего 421
Воспоминания 432
Что я видел во сне... 489
Примечания 502
Алфавитный указатель произведений Л. Н. Толстого, вошедших в 1—12 тт. Собрания сочинений 518

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

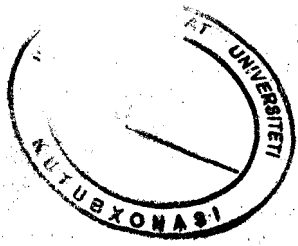
Собрание сочинений
в двенадцати томах

Том XII

Редактор тома
Н. А. Самохвалова

Оформление художника
В. В. Еремина

Технический редактор
В. Н. Веселовская



ИБ 1503

Сдано в набор 05.06.87. Подписано к печати 12.08.87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,14. Уч.-изд. л. 28,15. Усл. кр.-отт. 31,08.
Тираж 1 500 000 экз. (1-й завод: 1—750 000). Изд. № 383.
Заказ № 774. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, ГСП, Москва. А-137 ул. «Правды», 24.

Индекс 70528